

ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

3-72

ОЖ-175532

1942

8

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

АВГУСТ

КНИГА ВОСЬМАЯ

ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН — Народ бессмертен, повесть	3
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Стихи о женщинах Ленинграда	96
В. К. ТРЕНЕВ — Секретная командировка	100
А. ТВАРДОВСКИЙ — Баллада об отречении	122
Ф. КНОРРЕ — Встреча в темноте, рассказ	124
Стихи: ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ, ВАСИЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО	133

С ФРОНТА

Подполковник Н. ДЕНИСОВ — Дневник офицера связи	136
--	-----

НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ

А. В. ГОЛУБЕЗ — Основные этапы первого года Отечественной войны	160
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ЗАМЕНГОФ — Расчеты и просчеты Бенито Муссолини	170
--	-----

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

С. МАРШАК — Наш Горький	175
РЕЦЕНЗИИ: М. ЗЕНКЕВИЧ, ВЛ. НИКОНСВ, В. СЕРГЕЕВ	178
Книжная полка	183

Редакция: *Вс. Вишневский, А. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

Подписано к печати 31/VIII 1942 г. А61287 Печ. л. 11¹/₂ Уч.-авт. л. 16¹/₂
В печ. л. 59 600 экз. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 441.

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

НАРОД БЕССМЕРТЕН

I

Летним вечером 1941 года по дороге к Гомелю шла тяжелая артиллерия. Пушки были так велики, что многоопытные, все видевшие обозные с интересом поглядывали на колоссальные стальные стволы. Пыль висела в вечернем воздухе, лица и одежда артиллеристов были серы, глаза воспалены. Лишь немногие шли пешком, большинство сидело на орудиях. Один из бойцов пил воду из своего стального шлема, капли стекали по его подбородку, увлажненные зубы блестели. Казалось, что номер артиллерийского расчета смеется, но он не смеялся — лицо его было задумчиво и утомлено. «Во-оздух!» — протяжно крикнул шедший впереди лейтенант.

Над дубовым леском в сторону дороги быстро шли два самолета. Люди тревожно следили за их полетом и переговаривались:

— Это наш!

— Нет, немец.

И, как всегда в таких случаях, была произнесена фронтовая острота:

— Наш, наш, где моя каска!

Самолеты шли наперерез дороги, и это значило, что они наши: немецкие машины обычно, завидя колонну, разворачивались на курс, параллельный дороге.

Мощные тягачи волокли орудия по деревенской улице. Среди белых мазаных хаток, маленьких деревенских палисадников, засаженных курчавым золотым шаром и красным, горящим в лучах захода, пионом, среди сидящих на завалинках женщин и белобородых стариков, среди мычания коров и пестрого собачьего лая, странно и необычно выглядели огромные пушки, плывущие по мирной вечерней деревне.

Возле небольшого мостика, стонавшего от страшной, непривычной ему тяжести, стояла легковая машина, переживавшая, пока пройдут пушки. Шофер, привыкший, очевидно, к такого рода остановкам, с улыбкой отглядывал льющего из каски бойца. Сидевший рядом с ним батальонный комиссар то и дело смотрел вперед — виден ли хвост колонны.

— Товарищ Богарев, — сказал шофер с украинским выговором, — може поночуеть здесь, а то стемнеет скоро.

Батальонный комиссар покачал головой.

— Надо спешить, — сказал он, — мне необходимо быть в штабе.

— Все равно ночью не проедем по этим дорогам, в лесу ночевать будем,— сказал шофер.

Батальонный комиссар рассмеялся:

— Что, молока захотелось?

— Пу, и что же, ясное дело, выпить молока, картошки бы жареной поели.

— А то и гусятины,— сказал батальонный комиссар.

— А хитба ж нет?— с веселым энтузиазмом сказал шофер.

— Через три часа мы должны быть в штабе, какие бы ни были дороги и как бы ни было темно.

Вскоре машина выехала на мост. За ней побежали белоголовые ребятишки.

— Дядьки, дядьки,— кричали они,— возьмите огурцов, возьмите помидоров, возьмите грушек,— и они бросали в полуспускаемое окно автомобиля огурцы и твердые недозрелые груши.

Богарев помахал ребятам рукой и почувствовал, что холодок волнения проходит по его груди. Он не мог без одновременно горького и сладкого чувства видеть, как провожали крестьянские ребятишки отступающую Красную Армию.

Сергей Александрович Богарев до войны был профессором по кафедре марксизма-ленинизма в одном из московских вузов. Исследовательская работа увлекала его, он старался поменьше уделять часов чтению лекций; главный интерес Богарева был в исследовании, начатом им тогда два тому назад. Приходя с работы домой и садясь ужинать, он вытаскивал из портфеля рукопись и читал ее. Жена спрашивала его, по вкусу ли ему еда, достаточно ли послонена ячница, он отвечал ей невпопад; она сердилась и смеялась, а он говорил ей: «Знаешь, Лиза, я сегодня испытал подлинное наслаждение — читал несколько писем Маркса, адресованных Лафаргу, их лишь недавно откопали в одном старом архиве». Она слушала, увлекаясь неволью его увлечением и волнением. Она любила его и гордилась им — знала, как уважают его товарищи и с каким восхищением говорят о прозрачной цельности и чистоте его натуры.

И вот Сергей Александрович Богарев — заместитель начальника отдела по работе среди войск противника Политуправления фронта. Иногда ему вспоминаются прохладные залы институтского хранилища рукописей, стол, заваленный бумагами, лампа под абажуром, скрипявшие колесики подвижной лестницы, которую передвигает заведующая библиотекой от одной книжной полки к другой. Иногда в мозгу его всплывают отдельные фразы из недописанной им работы, и он задумывается над вопросами, так живо и горячо волновавшими его.

Машина бежит по фронтовой дороге. Илья темная, кирпичная, пыль желтая, мелкая серая пыль, — от нее лица кажутся мертвыми, тучи пыли стоят над фронтовыми дорогами. Эту пыль поднимают сотни тысяч красноармейских сапог, колеса грузовиков, гусеницы танков, тягачи, орудия, маленькие копытца — овец, свиней, табуны колхозных лошадей, огромные стада коров, колхозные тракторы, скрипящие подводы беженцев, лопты колхозных бригадиров и туфельки девушек, уходящих из Бобруйска, Мозыря, Жлобина, Шепетовки, Бердичева. Пыль стоит над Украиной и Белоруссией, пыль клубится над советской землей. Ночью темное августовское небо багровеет злым румянцем деревенских пожаров. Тяжкий гул разрывов авиабомб прокатывается по темным дубовым и сосновым лесам, по трепетному осиннику, зеленые и красные трассирующие пули прошивают тяжелый бархат неба, как белые искры вспы-

хивают разрывы зенитных снарядов, нудно гудят в высоком мраке «Хейнке-ли», груженные фугасными бомбами, кажется, звук их моторов говорит: «ве-з-зу, ве-з-зу». Старик, старуха, дети в деревнях, хуторах, провожая отступающих бойцов, говорят им: «Молочка выпейте, голубчики... Съешь тво-рожку, пирожок возьми, сынок... Огурчиков на дорогу». Плачут, плачут ста-рушечьи глаза, ищут среди тысяч пыльных, суровых, утомленных лиц лицо сына. И протягивают старухи белые узелки с гостинцами, просят: «Бери, бери, голубчик, все вы в моем сердце, как дети родные».

Немецкие полчища двигались с запада. На германских танках нарисованы черепа с перекрещенными костями, зеленые и красные драконы, волчьи пасти и лисьи хвосты, рогатые олени головы. Каждый немецкий солдат несет в кармане фотографии побежденного Парижа, разрушенной Варшавы, опозоренного Вердена, сожженного Белграда, захваченного Брюсселя и Амстердама, Осло и Нарвика, Афин и Гдыни. В каждом офицерском бумажнике — фотографии немецких девиц и женщин с чолками и локонами, в полосатых пижамных штанах, на каждом офицере амулеты — золотые побрякушки, ниточки кораллов, набивные чучелки с желтыми бисерными глазками. У каждого в кармане русско-германский военный разговорник с простыми фразами: «Руки вверх», «Стой, ни с места», «Где оружие?», «Сдавайся». Каждый немецкий солдат заучил: «Млеко», «Клеб», «Йики», «Боло», «дз-дз» и слово «Давай, давай». Они шли с запада.

И десятки миллионов людей поднимались навстречу им со светлой Оки и широкой Волги, с суровой желтой Камы и пенящегося Иртыша, из степей Казахстана, из Донбасса и Керчи, из Астрахани и Воронежа. Народ поднимал оборону, десятки миллионов верных рабочих рук ковали противотанковые рвы, окопы, блиндажи, ямы; шумные рощи и леса ложились молча тысячами своих стволов поперек шоссе и дорог и тихих проселков, колючая проволока оплетала заводские и фабричные дворы, железо обращалось противотанковыми ежами на площадях и улицах наших малых зеленых городков.

Богарев иногда удивлялся легкости, с какой сумел он внезапно, в течение нескольких часов, отрезать прежнюю свою жизнь; он радовался тому, что сохранял рассудительность в тяжелых положениях, умел действовать решительно и быстро. И, самое главное, он видел, что и здесь, на войне, он сохранил себя и свой внутренний мир, и люди верят ему, уважают его и чувствуют его внутреннюю силу. Он часто говорил себе: «Нет, нет, даром занимался я марксистской философией, революционная диалектика была для меня доброй строевой подготовкой к этой войне, в которой крахнули старейшие культуры Европы». Однако он не был удовлетворен своей работой, ему казалось, что он недостаточно близко стоит к красноармейцам, к стержню войны, и ему хотелось из Политуправления перейти к непосредственной боевой работе.

Часто приходилось ему допрашивать немецких пленных, — большей частью это были ефрейторы и унтер-офицеры. Он замечал, что чувство ненависти к фашизму, томившее его днем и ночью при допросах, сменялось презрением и брезгливостью. В большинстве пленные вели себя трусливо. Быстро и охотно называли они номера частей, вооружение, уверяли, что они рабочие, сочувствовавшие коммунизму, сидевшие некогда в тюрьме за революционные идеи, и все в один голос говорили: «Гитлер капут, капут», хотя было совершенно очевидно, что они внутренне уверены в обратном.

Лишь изредка встречались ему фашисты, находившие мужество в плену

заявлять о своей преданности Гитлеру, о своей вере в главенство германской расы, призванной поработить народы мира. Богарев обычно подробно расспрашивал их, — они ничего не читали, даже фашистских брошюр и романов, не слышали не только о Гете и Бетховене, но и о таких столпах германской государственности, как Бисмарк, либо о знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха Великого, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистической партии. Богарев внимательно изучал приказы германского командования, он отмечал в них необычайную способность к организации: немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных bivаках, умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом тысяч деталей и пунктуально, с математической точностью, выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионов солдатских масс было нечто низменное, не свойственное свободному разуму человека. Это была не культура разума, а цивилизация инстинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных.

За все время Богареву среди огромных масс германских писем и документов пошлось только два письма: одно — от молодой женщины к солдату, другое — не отправленное солдатом домой, где он увидел мысль, лишенную автоматизма, чувство, свободное от тупой мещанской низменности, письма, полные стыда и горечи за преступления, творимые германским народом. Однажды ему пришлось допрашивать пожилого офицера, в прошлом преподавателя литературы, и этот человек тоже оказался мыслящим и искренно ненавидящим гитлеризм.

— Гитлер, — сказал он Богареву, — не создатель народных ценностей, он захватчик. Он захватил трудолюбие, промышленную культуру германского народа, как невежественный бандит, угнавший великолепный автомобиль, построенный доктором технических наук.

«Никогда, никогда, — думал Богарев, — им не победить нашей страны. Чем точней их расчеты в мелочах и деталях, чем арифметичней их движения, тем полней их беспомощность в понимании главного, тем злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но они мыслят в двух измерениях. Законы исторического движения в начатой ими войне не познаны и не могут быть ими познаны, людьми инстинктов и низшей целесообразности».

Машина его бежала среди прохлады темных лесов, по мостикам над извилистыми речушками, по туманным долинам, мимо тихих прудов, отражавших звездное пламя огромного августовского неба. Шофер негромко сказал:

— Товарищ батальонный комиссар, помните, там боец из каски шыл, тот, что на орудии сидел. И вот чувство мне такое пришло — наверное брат мой; теперь понял я, отчего он меня так заинтересовал!

II

Дивизионный комиссар Чередниченко перед заседанием Военного Совета ходил по парку. Он шел медленно, останавливаясь, чтобы набить табаком свою короткую трубку. Пройдя мимо старинного дворца с высокой мрачной башней и остановившимися часами, он спустился к пруду. Над прудом свешивались зеленые пышные космы ветвей. Утреннее солнце ярко освещало плававших в пруду лебедей. Казалось, что движения лебедей так медленны и шею их так

напружены оттого, что темнозеленая вода густа, туга и ее невозможно преодолеть. Чередниченко остановился и, задумавшись, смотрел на белых птнц. Влажный песок скрипел под его сапогами. Мимо по аллее со стороны узла связи шел немолодой майор с темной бородкой. Чередниченко знал его — он работал в оперативном отделе и два раза докладывал дивизионному комиссару обстановку. Поравнявшись с дивизионным комиссаром, майор громко сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ член Военного Совета.

— Давайте, давайте, обращайтесь,— сказал Чередниченко, следя, как лебеди, потревоженные громким голосом майора, отплывали к противоположному берегу шруда.

— Только что получено донесение от командира семьдесят второй эс-де.

— Это от Макарова, что ли?

— Так точно, от Макарова. Сведения весьма важные, товарищ член Военного Совета: вчера около двадцати трех противник начал движение крупными массами танков и мотопехоты. Пленные показали, что они принадлежат к трем различным дивизиям танковой армии Гудериана и что направление движения им было дано на Увечу — Новоград-Северск.

Майор поглядел на лебедей и сказал:

— Танковые дивизии, показывают пленные, не полного комплекта.

— Так,— сказал Чередниченко,— я об этом знал ночью.

Майор пытливо поглядел на его морщинистое лицо с большими узкими глазами. Цвет глаз у дивизионного комиссара был гораздо светлее, чем темная кожа лица, изведавшая ветры и морозы русско-германской войны 1914 года и степные походы гражданской войны. Лицо дивизионного комиссара казалось спокойным и задумчивым.

— Разрешите итти, товарищ член Военного Совета?— спросил майор.

— Доложите последнюю оперсводку с центрального участка.

— Оперсводка с данными на четыре ноль ноль.

— Ну, уж и ноль ноль,— сказал Чередниченко,— а может быть, на три часа пятьдесят семь минут.

— Возможно, товарищ член Военного Совета,— улыбнулся майор.— В ней ничего особенного нет. На остальных участках противник особой активности не проявлял. Лишь западнее переправы он занял деревню Марчихина Буда, понеся при этом потери: до полутора батальонов.

— Какая деревня?— спросил Чередниченко и повернулся к майору.

— Марчихина Буда, товарищ член Военного Совета.

— Точно?— строго и громко спросил Чередниченко.

— Совершенно точно.

Майор на мгновенье задержался и, улыбнувшись, сказал виноватым голосом:

— Красивые лебеди, товарищ член Военного Совета. Их князь Паскевич-Эриванский водил, как мы гусей в деревне заводили. А вчера двух убило во время налета, птенцы остались.

Чередниченко снова раскурил трубку, выпустил облако дыма.

— Разрешите?

Чередниченко кивнул. Майор пристукнул каблучками и пошел в сторону штаба, мимо стоявшего у старого клена порученца Чередниченко. Дивизионный комиссар долго стоял, глядя на лебедей, на яркие пятна света, лежавшие на зеленой поверхности шруда. Потом он сказал низким сильным голосом:

— Что ж, мама, что ж, Леня, увидимся ли с вами?— и закаплял солдатским, трудным кашлем.

Когда он возвращался своей обычной медленной походкой к дворцу, подждавший его порученец спросил:

— Товарищ дивизионный комиссар, прикажете отправить машину за вашей матерью и сыном?

— Нет,— коротко сказал Черднichenко и, поглядев на удивленное лицо порученца, добавил:— Сегодня ночью Марчихина Буда занята немцем.

Военный Совет заседал в высоком сводчатом зале с портьерами на длинных и узких окнах. В полусумраке красная скатерть с кистями, лежавшая на столе, казалась черной. Минут за пятнадцать до начала дежурный секретарь бесшумно прошел по ковру и понотом сказал порученцу:

— Мурзихин, яблоки командирующему принесли?

Порученец скороговоркой ответил:

— Я велел, как всегда, и нарзан и «Северную Пальмиру», да вот уже несут.

В комнату вошел посыльный с тарелкой зеленых яблок и несколькими бутылками нарзана.

— Поставьте вот на тот маленький стол,— сказал секретарь.

— Та хибя ж я не знаю, товарищ батальонный комиссар,— сказал посыльный. Через несколько минут в зал вошел начальник штаба, генерал с недовольным и усталым лицом. Следом за ним шел полковник, начальник оперативного отдела, держа сверток карт. Полковник был худ, высок и краснотлиц, генерал, наоборот, полный и бледный, но они почему-то очень походили один на другого. Генерал спросил у вытянувшегося порученца:

— Где командующий?

— На прямом шводе, товарищ генерал-майор.

— Связь есть?

— Минут двадцать, как восстановили.

— Вот видите, Петр Ефимович,— сказал начальник штаба,— а ваш хваленый Стемехель обещал лишь к полдню.

— Что же, тем лучше, Илья Иванович,— ответил полковник и с принятой в таких случаях строгостью подчиненного добавил:— Когда вы спать ляжете? Не спите ведь уже третью ночь.

— Ну, знаете, обстановка такая, что не о сне думать,— сказал начальник штаба и, подойдя к маленькому столу, взял яблоко. Полковник, расстлавший карты на большом столе, тоже протянул руку за яблоком. Порученец, стоявший навытяжку, и стоявший у библиотечного шкафа секретарь, улыбаясь, перетянулись.

— Да вот оно, это самое,— сказал начальник штаба, наклоняясь над картой и разглядывая толстую синюю стрелу, обозначающую направление движения германской танковой колонны в глубину красного полукружия нашей обороны. Он прищурившись всматривался в карту, потом надкусил яблоко и, сморщившись, сказал:

— Чорт, что за возмутительная кислятина.— Полковник тоже надкусил яблоко и поспешно проговорил:

— Да, доложу я вам, чистый уксус.— Он сердито спросил у порученца:

— Неужели для Военного Совета нельзя лучших яблок достать? Безобразие!

Начальник штаба рассмеялся:— О вкусах не спорят, Петр Ефимович. Это специальный заказ командующего, он любитель кислых яблок.

Они наклонились над столом и негромко заговорили между собой. Полковник сказал:— Угроза ведь главной коммуникационной линии, явно расшифровывается цель движения, вы только посмотрите, ведь это обхват левого фланга.

— Ну, уж и обхват,— сказал генерал,— скажем, потенциальная угроза обхвата. Они положили надкусанные яблоки на стол и одновременно распрямились: в зал вошел командующий фронтом Еремин — высокий, сухощавый, с седеющей, коротко стриженной головой. Он вошел, громко стуча сапогами, шагая не по ковру, как все, а по скрипящему начищенному паркету.

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте,— сказал он. Оглядев начальника штаба, он сказал:— Что это у вас такой вид утомленный, Илья Иванович? Начальник штаба, обычно называвший командующего по имени и отчеству — Виктором Андреевичем, сейчас, перед важным заседанием Военного Совета, громко ответил:

— Чувствую себя превосходно, товарищ генерал-лейтенант,— и спросил:— Разрешите доложить обстановку?

— Что ж, вот и дивизионный комиссар идет,— сказал командующий.

В зал вошел Чередниченко, молча кивнул и сел на крайний стул в углу стола.— Минуточку,— сказал командующий и распахнул окно.— Я ведь просил раскрывать окна,— строго сказал он секретарю.

Обстановка, которую докладывал начальник штаба, была не легкой. Дело относилось к тому периоду войны, когда пробивные клинья немецко-фашистской армии били во фланги наших частей, угрожая им окружением. Части наши отходили к новым рубежам. На каждой речной переправе, на каждом холмистом рубеже шли долгие, кровавые бои. Но враг наступал, а мы отступали. Враг занимал города и обширные земли. Каждый день фашистское радио и газеты сообщали о новых и новых победах. Фашистская пропаганда торжествовала. Были и у нас люди, видевшие лишь вощи, казавшиеся им неопровержимыми: немцы шли вперед, советские войска отступали. И эти люди были подавлены, не ждали хорошего впереди. В «Фелькишер беобахтер» печатались опромные шпальи, набранные красными буквами, в фашистских клубах произносились радостные речи, жены ждали своих мужей домой, казалось, речь идет о днях и неделях.

Обстановка, которую докладывал начальник штаба Военному Совету, была тяжелой. И докладчик, и его помощник полковник, и секретарь, и командующий, и дивизионный комиссар — все видели сильную стрелу, направленную в тело Советской страны. Полковнику она казалась страшной, стремительной, не ведающей усталости в своем движении по разлинованной бумаге. Командующий знал больше других о резервных дивизиях и полках, о находящихся в глубоком тылу соединениях, идущих с востока на запад, он прекрасно чувствовал рубежи боев, он физически ощущал складки местности, шаткость понтонов, наведенных немцами, глубину быстрых речушек, зыбкость болот, где он встретит германские танки. Для него война происходила не только на квадратах карты. Он воевал на русской земле, на земле с дремучими лесами, с утренними туманами, с неверным светом в сумерках, с густой не выбранной коноплей, с высокими хлебами, скирдами, овинами, с деревушками на обрывистых берегах рек, с оврагами, заросшими кустарником. Он чувствовал протяженность сельских большаков и извилистых проселков, он ощущал пыль,

ветры, дожди, взорванные полустанки, разрушенные пути на разъездах. И синяя стрела не пугала и не волновала его. Он был хладнокровный генерал, любивший и знавший свою землю, умевший и любивший воевать. Ему хотелось одного — наступления. Но он отступал, и это мучило его.

Его начальник штаба, профессор Академии, обладал всеми достоинствами ученого военного, знатока тактических приемов и стратегических решений. Начальник штаба был богат опытом военно-исторической науки и любил находить черты сходства и различия в тех операциях, которые проводили армии, с другими сражениями XX и XIX веков. Он обладал умом живым и не склонным к догме. Он высоко оценивал способность германского генералитета к маневру, подвижность фашистской пехоты и умение их авиации взаимодействовать с наземными войсками. Как-то ночью ему снилось, что он экзаменовал в своем штабном кабинете знаменитого Гамелена и топал на него ногами за непонимание особенности маневренной войны. Его удручало отступление наших армий, синяя стрела, казалось ему, была направлена в его собственное сердце русского военного.

Начальник оперативного отдела штаба мыслил категориями военной топографии. Для него единственной реальностью являлись квадраты двухкилометровки, и он всегда точно помнил, сколько листов карты были сменены на его столах, какие дефиле прочерчены синим и красным карандашом. Война, казалось ему, шла на картах, ее вели штабы. Синие стрелы движения германских моторизованных колонн, выходявшие на флажках советских армий, казалось ему, двигались по математическим законам масштабов и скоростей. В этом движении он не видел иных закономерностей, кроме геометрических.

Самым спокойным человеком был молчаливый дивизионный комиссар Чередниченко. «Солдатский Кутузов», — прозвали его. В самые раскаленные часы боев вокруг этого неторопливого, медленного человека с задумчивым, немного грустным лицом создавалась атмосфера необычайного спокойствия. Его насмешливые лаконичные реплики, его острые, крепкие словца часто повторялись и вспоминались. Все хорошо знали его широкоплечую, коренастую фигуру, он часто прогуливался медленно, задумчиво попыхивал трубкой, либо сидел на скамейке и, немного нахмурив лоб, думал, и всякому командиру и бойцу становилось весело и хорошо на душе, когда видели они этого скучастого человека с прищуренными глазами и нахмуренным лбом, с короткой трубкой во рту.

Во время доклада начальника штаба Чередниченко сидел, опустив голову, и нельзя было понять, слушает он внимательно или задумался. Лишь однажды он встал, подошел к начальнику штаба, посмотрел на карту.

После доклада командующий начал задавать вопросы генералу и полковнику и поглядывал на дивизионного комиссара, ожидая, когда он примет участие в обсуждении. Полковник каждый раз вынимал из кармана гимнастерки вечную ручку, пробовал перо на ладони, затем снова прятал ручку, а через мгновение вновь вынимал ее, пробовал острее на ладони. Чередниченко наблюдал за ним. Командующий прохаживался по залу, и паркет скрипел под его тяжелыми шагами. Лицо Еремина хмурилось, движение шемецких танков шло в обход левого фланга одной из его армий.

— Слушай, Виктор Андреевич, — неожиданно сказал дивизионный комиссар, — ты привык с детства к зеленым яблокам, что из соседских садов таскал, так до сих пор этой привычки держишься, а люди, видишь, из-за

тебя страдают.— Все поглядели на лежащие рядком надкусанные яблоки и рассмеялись.

— Надо не только зеленые ставить, действительно конфуз,— сказал Еремин.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант,— улыбаясь, произнес секретарь.

— Что же тут,— произнес Чередниченко и, подойдя к карте, спросил начальника штаба:— вы на этом рубеже предлагаете закрепиться?

— На этом, товарищ дивизионный комиссар, Виктор Андреевич полагает, здесь мы сумеем очень активно и с наибольшим эффектом применить средства нашей обороны.

— Это-то верно,— сказал командующий,— тут начальник штаба предлагает для лучшего проведения маневра произвести контратаку в районе Марчихиной Вуды, вернуть это село. Как ты думаешь, дивизионный?

— Вернуть Марчихину Вуду?— переспросил Чередниченко, и в толпе его было нечто, заставившее всех поглядеть на него. Он раскурил потухшую трубку, выпустил клуб дыма, махнул по этому дыму рукой и долго молча глядел на карту.

— Нет, я против,— проговорил он и, водя мундштуком трубки по карте, стал объяснять, почему он считает эту операцию нецелесообразной.

Командующий продиктовал приказ об усилении войск левого фланга и перегруппировке армейской группы Самарина. Он приказывал двинуть навстречу германским танкам одну из имевшихся в его резерве стрелковых частей.

— Ох, и хорошего комиссара им дам,— сказал Чередниченко, подписывая вслед за командующим приказ.

В это время гулко прокатился разрыв авиабомбы, тотчас за ним второй. Послышалась размеренная пальба малокалиберных зениток и тихий, ноющий звук моторов германских бомбардировщиков. Никто из находившихся в зале не повернул головы в сторону окон. Только начальник штаба сердито сказал полковнику:— А эдак минуты через две в городе дадут сигнал воздушной тревоги. Дивизионный комиссар сказал секретарю:

— Товарищ Орловский, вызовите мне Богарева.

— Он здесь, товарищ дивизионный комиссар, я хотел доложить вам после заседания.

— Хорошо,— сказал дивизионный комиссар и, выходя из зала, спросил Еремина:— значит, условились насчет яблок?

— Да, да, дивизионный, договорились,— сказал командующий.— Яблоки всех сортов.

— То-то,— сказал Чередниченко и пошел к двери, сопровождаемый улыбающимися генералом и полковником. В дверях он мельком сказал полковнику:— Вы, полковник, зря ручку вечную вертели, для чего это вертеть ручку? Разве можно хоть секунду колебаться? Нельзя, нельзя. Побьем немца.

Секретарю Военного Совета Орловскому, считавшему себя знатоком человеческих отношений, всегда казалось непонятным чувство дивизионного комиссара к Богареву. Дивизионный, старый военный, около двадцати лет служивший в войсках, всегда относился с некоторым скептицизмом к командирам и комиссарам, призванным из запаса. Богарев составлял исключение, непонятное секретарю.

Дивизионный, беседуя с Богаревым, совершенно менялся, терял свою молча-

ливость, однажды он просидел с Богаревым в кабинете почти до утра. Секретарь ушам своим не верил: дивизионный говорил горячо, много, громко, задавал вопросы, снова говорил. Когда секретарь вошел в кабинет, оба собеседника были разгорячены, они, видимо, не спорили, но вели разговор необычайно важный для них обоих. Теперь, выйдя из зала заседания, дивизионный комиссар не улыбнулся, как обычно, увидя поднявшегося при его входе и вытянувшегося Богарева, а подошел к нему с суровым выражением и произнес голосом, какого никогда не слышал у него секретарь на самых торжественных смотрах:

— Товарищ Богарев, вы назначены военным комиссаром стрелковой части, которой командование ставит важную задачу.

Богарев сказал:

— Благодарю за доверие.

III

Семен Игнатьев, боец первой стрелковой роты, высокий, могучего телосложения парень, до войны жил в колхозе Тульской области. Повестку из военкомата принесли ему ночью, когда он спал на сеновале. Это было как раз в тот ночной час, когда Богареву сообщили по телефону, что на завтра ему нужно явиться в Главное политическое управление Красной Армии. Игнатьев любил вспоминать с товарищами:— Ох, проводили меня важно. Три брата из Тулы, что на пулеметном заводе, ночью пришли с женами, пришел главный механик с эмтеса, вина выпили кренко, песни пели.— Теперь эти проводы казались ему веселыми и торжественными, но во время прощания нелегко было смотреть Игнатьеву на плачущую мать, на храбрившегося старика-отца.— Смотри, Сенька,— говорил старик,— вот два серебряных георгия, а два золотых еще были, я их на заем свободы отдал, смотри на отца-сапера, полк немецкий с мостом поднял.— И хоть старик храбрился, но, видно, ему хотелось плакать вместе с бабами. Семен был любимым из его пяти сыновей, самым веселым и ласковым.

Семен собирался жениться на дочери председателя колхоза Марусе Песочной. Она училась в городе Одоеве на счетоводных курсах и должна была после первого июля прехать домой. Подруги, и особенно мать, предупреждали ее: очень веселого и легкомысленного нрава казался им Сенька Игнатьев. Песаник, танцор, большой любитель выпить и погулять, он, казалось, не мог серьезно полюбить девушку и долгое время быть ей верным. Но Маруся говорила подругам:— Мне, девочки, все равно, я его так люблю, что посмотрю на него, и руки, ноги у меня стынут, даже страшно делается.

Когда началась война, Маруся попросила отпуск на два дня и прошла за одну ночь тридцать километров пешком, чтобы повидать своего жениха. Она пришла домой на рассвете и узнала, что призванных накануне днем повезли на станцию. Тогда, не отдохнувши, снова прошла Маруся восемнадцать километров до железнодорожной станции, где находился сборный пункт. Там сказали ей, что призванных увезли эшелонам, а куда повезли объяснить отказались.— Это военная тайна,— внушительно сказал ей большой начальник с двумя кубиками на петлицах. Маруся сразу обессилела и едва смогла дойти до квартиры знакомой женщины, работавшей на станции багажным кассиром. Вечером приехал за ней отец и отвез домой.

Семен Игнатьев сразу стал знаменит в роте. Все знали этого могучего, веселого, неутомимого человека. Он был изумительным работником: всякий инструмент в его руках словно играл, веселился. И обладал он удивительным свойством работать так легко, радушно, что человеку, хоть минуту поглядевшему на него, хотелось самому взяться за топор, пилу, лопату, чтобы так же легко и хорошо делать рабочее дело, как делал его Семен Игнатьев. Был у него хороший голос и знал он много старинных песен, выученных от старухи Богачихи. Эта Богачиха была очень нелюдима, никого к себе в хату не пускала, иногда по месяцу ни с кем слова не говорила. Она даже по воду к колодцу ходила ночью, чтобы не встречаться с деревенскими бабами, надоедавшими ей вопросами. И всех удивляло, почему она сразу отличила Сеньку Игнатьева, рассказывала ему сказки и учила песням. Одно время он вместе со старшими братьями работал на знаменитом тульском заводе, но вскоре уволился и вернулся в деревню.— Не могу я без вольного воздуха,— говорил он,— для меня по нашей земле ходить, как хлеб есть и воду пить, а в Туле земля камнем мощена.

Часто ходил он по окрестным полям, в большой лес, на реку. Брал Игнатьев с собой удочку или плохонькое охотничье ружьецо, но делал это больше для вида, чтобы над ним не смеялись. Ходил он обычно быстро,— постоит, послушает птиц, тряхнет головой, вздохнет и пойдет дальше. Либо взберется на высокий заросший орешником холм над рекой и поет песни. И глаза у него бывали веселые, как у пьяного. Его бы посчитали в деревне чудачком и немилуемо стали бы смеяться над этими прогулками с ружьем, но уж очень уважали его за силу, за великолепное умение работать. Мог он подстроить человеку злую, но веселую шутку, мог много выпить и не захмелеть, рассказать интересный случай либо сказку с издевочкой, никогда не жалел табаку для собеседника. В роте он сразу пришелся всем по душе, и хмурый Мордвинов, старшина, говорил ему не то с восхищением, не то с укориной:— Эх, ты, Игнатьев, русская твоя душа.

Особенно подружился он с двумя товарищами: московским слесарем Седовым и рязанским колхозником Родимцевым — коренастым темнолицым бойцом 1905 года рождения. Родимцев дома оставил жену с четырьмя детьми.

В последнее время их часть стояла в резерве в предместьи города. Некоторые бойцы размещались в пустых домах. Таких домов в городе имелось много, так как из ста сорока тысяч населения больше ста тысяч уехало в глубь страны. Выехали из города: завод сельскохозяйственных машин, и вагоноремонтный завод, и большая спичечная фабрика. Печально выглядели тихие заводские корпуса, не дымящие трубы, пустые улицы рабочего поселка, голубые киоски, где недавно торговали мороженым. В одном из таких киосков иногда прятался от дождей боец-регулировщик с пучком цветных флажков. В окнах заколоченных домов, оставленных жильцами, стояли увявшие комнатные цветы — фикусы с опавшими тяжелыми листьями, порывевшие гортензии и флоксы. Под деревьями, росшими вдоль улиц, маскировались фронтные грузовые машины, через пустые детские площадки с кучами нежно-желтого песка ехали броневики, распасанные зеленой и желтой краской; они сигнализали резкими, сверлящими голосами хищных птиц. Окраины сильно пострадали от бомбардировок с воздуха. Все подъезжавшие к городу рассматривали сторевшее складское здание с огромной надписью, закоптившейся от дыма: «Огнеопасно».

В городе продолжали работать столовые, маленький завод фруктовых вод,

парикмахерские. Иногда, после дождя, ярко блестела роса на листьях, весело поблескивали лужи, воздух делался нежным и чистым; людям на несколько мгновений казалось, что нет страшного горя, постигшего страну, что враг не стоит в пятидесяти километрах от обжитого их жилья. Девушки переглядывались с красноармейцами, старики, покряхтывая, сидели на скамейках в садах, дети играли песком, приготовленным для тушения зажигательных бомб.

Игнатьеву нравился этот зеленый полупустой город. Он не чувствовал страшной печали, в которой жили оставшиеся в городе люди. Он не замечал заплаканных старых глаз, с тревогой глядевших в лицо каждому встречному военному. Он не слышал, как тихо плакали старухи, не знал, что по ночам сотни стариков не спят, стоят у окон, всматриваются слезящимися глазами в темноту. Их белые губы шептали молитвы, они подходили к тревожно спавшим, плачущим и вскрикивающим во сне дочерям, к стонущим и мечущимся внучатам, и снова шли к окнам, стараясь угадать, куда двинутся во мраке машины.

В десять часов бойцов подняли по тревоге. В темноте шоферы заводили машины, моторы негромко рокотали. Жители вышли во дворы и молча смотрели на сборы красноармейцев. Похожая на худую девочку, старуха-еврейка, с головой и плечами, покрытыми тяжелым, теплым платком, спрашивала у бойцов:— Товарищи, скажите, уходить нам или оставаться?

— Куда ты пойдешь, мать?— спросил ее веселый Жавелев:— Тебе лет девяносто, ты пешком далеко не уйдешь.— Старуха скорбно кивала головой, соглашаясь с Жавелевым. Она стояла возле грузовика, освещенная синим светом автомобильной фары. Краем своего платка старуха бережно, словно касаясь пасхальной посуды, протерла крыло машины, очищая его от налипшей грязи. Игнатьев заметил это движение старухи, и неожиданная жалость коснулась его молодого сердца. И старуха словно ощутила сочувствие Игнатьева, заплакала:— Что же делать, что же делать, вы уходите, товарищи, да, скажите мне?

Гуденье машин заглушало ее слабый крик, и она, никем не слышимая, тихо говорила:— Муж лежит в параличе, три сына в армии, последний вчера ушел в ополчение, новости уехали с заводом. Что делать, товарищи, как уходить, как уходить?

Лейтенант, выйдя во двор, подозвал к себе Игнатьева и сказал:— Игнатьев, останется три человека до утра для сопровождения комиссара. Вы в том числе.

— Есть, остается для сопровождения комиссара,— весело ответил Игнатьев.

Игнатьеву хотелось эту ночь провести в городе. Ему нравилась молодая беженка Вера, работавшая уборщицей в редакции местной газеты. После одиннадцати она возвращалась с дежурства, и Игнатьев обычно ожидал ее в это время во дворе. Девушка была высока ростом, черноглазая, полногрудая. Сидеть с ней на скамейке очень нравилось Игнатьеву. Он сидел рядом с ней, она вздыхала и рассказывала мягким украинским голосом о том, как жилось ей в Проскурове до войны, как она ночью пешком ушла от немцев, захватив лишь одно платье и мешочек сухариков, оставив дома стариков и маленького брата, как жестоко бомбили мост через Сожь, когда она шла в колонне беженцев. Все разговоры ее были о войне, об убитых на дорогах, о детских смертях, о пожарах в деревнях. В ее черных глазах все время стояло выражение тоски. Когда Игнатьев обнимал ее, она отводила его руки и спрашивала:— Зачем это, пойдешь ты завтра в одну сторону, а я в другую, и ты меня не вспомнишь и я тебя забуду.— Ну и что ж,— говорил он,— а может, не забуду.— Нет, за-

будешь, если раньше ты меня встретил, вот ты бы послушал, как я песни спевала, а теперь не то у меня на сердце. И она все отводила его руку. Но все же Игнатьеву очень нравилось сидеть с ней, и он все надеялся, что она одумается и не откажет ему в любви. О Марусе Песочиной он вспоминал теперь редко, и ему казалось, что раз человек на войне, нет большого греха, если он заведет по доброй охоте любовь с красивой девушкой. Когда Вера рассказывала, он слушал невнимательно и все поглядывал на ее темные брови и глаза и вдыхал запах, шедший от ее кожи.

Машины одна за другой выезжали на улицу, шли в сторону черниговского шоссе. Долго шли машины мимо скамеечки, на которой сидел Игнатьев. И стало вдруг тихо, темно, неподвижно, только в окнах белели седые бороды стариков и белые старушечьи волосы.

Небо было звездным и совершенно мигрным, лишь изредка сверкала падающая звезда, и военным людям казалось, что звезда эта сбита боевым самолетом. Игнатьев дождался Веры и уговорил ее посидеть рядом с ним на скамейке.— Устала я очень, боец,— сказала она.— Да хоть немного посиди,— уговаривал он ее.— Я ведь завтра уеду.— И она присела возле него. Он в темноте всматривался в ее лицо, и она казалась ему такой красивой и желанной, что Игнатьев жалобно вздыхал. Она и в самом деле была очень красива.

IV

Богарев сидел, задумавшись, за столом. Встреча с командиром полка Героем Советского Союза Мерцаловым произвела на него неприятное впечатление. Командир отнесся к нему вежливо, предупредительно, но Богареву не понравился самоуверенный тон его речи.

Богарев прошелся по комнате и постучал в дверь хозяйину квартиры:

— Вы еще не спите?— спросил он.

— Нет, нет, пожалуйста,— ответил торопливый старческий голос.

Хозяином квартиры был старый юрист-пенсционер. Богарев раза два или три беседовал с ним. Старик жил в большой комнате, заставленной книжными полками, заваленной старыми журналами.

— Я к вам проститься, Алексей Алексеевич,— сказал Богарев,— завтра утром уеду.

— Вот оно как,— проговорил старик,— я сожалею. В это грозное время судьба мне подарила собеседника, о котором я мечтал долгие года. Сколько бы ни осталось мне жить, я буду с благодарностью вспоминать наши вечерние беседы.

— Спасибо,— сказал Богарев,— от меня вам презент — пачка китайского чая, вы любитель этого напитка.

Он пожал руку Алексею Алексеевичу и зашел к себе в комнату. За короткое время войны он успел прочесть десяток книг по военным вопросам — много специальных сочинений, обобщающих опыт великих войн прошлого. Читать было для него так же необходимо, как есть и пить.

Но в эту ночь Богарев не стал читать. Ему хотелось написать письмо жене, матери, друзьям. Завтра для него начинался новый этап жизни и он сомневался, удастся ли ему в ближайшее время поддержать переписку с близкими.

«Дорогая моя, милая моя,— начал писать он,— наконец я получил то назначение, о котором мечтал, помнишь, я говорил перед отъездом...»

Он задумался, глядя на написанные строки. Жену, конечно, взволнует и огорчит это назначение, о котором он мечтал. Она не будет спать по ночам. Нужно ли писать ей об этом?

Дверь приоткрылась, на пороге стоял старшина.

— Разрешите обратиться, товарищ батальонный комиссар?— спросил он.

— Да, пожалуйста, в чем дело?

— Значит, осталась полуторка, товарищ комиссар, трое бойцов. Какое ваше приказание?

— Мы поедем в восемь часов утра. Легковая машина стала на ремонт, я поеду полуторкой. К вечеру мы полк нагоним. Теперь так. Никого из людей не отпускать со двора, спать всем вместе. Машину вы лично проверьте.

— Есть, товарищ батальонный комиссар.

Старшина, видимо, хотел еще сказать что-то.

Богарев вопросительно посмотрел на него.

— Так что, товарищ батальонный комиссар, прожектора по всему небу шпуруют, должно, сейчас тревогу дадут.

Старшина вышел во двор и позвал негромко:

— Игнатьев!

— Здесь,— недовольным голосом отозвался Игнатьев и подошел к старшине.

— Чтоб не смел со двора отлучаться.

— Да я безотлучно здесь,— сказал Игнатьев.

— Я не знаю, где ты есть безотлучно, а это тебе приказание комиссара, не отлучаться со двора.

— Есть, товарищ старшина, не отлучаться со двора!

— Теперь, как машина?

— Известно, в порядке.

Старшина поглядел на прекрасное небо, на темные затаившиеся дома и, зевая, сказал:

— Слышь, Игнатьев, если будет чего, ты меня побуди.

— Есть побудить, если чего будет,— сказал Игнатьев и сам подумал: «Вот привязался старшина, хоть бы спать скорее шел, носит его».

Он вернулся обратно к Вере и, быстро обняв ее, шепнул сердито и горячо ей в ухо:

— Ты скажи, для кого ты себя бережешь, для немцев, что ли?

— Ох, какой ты,— ответила она, и он почувствовал, что она не отводит его руку, а сама обнимает его.— Какой ты, не понимаешь ничего,— шопотом сказала она,— я боюсь тебя любить, другого забудешь, а тебя не забудешь. Что же, я думаю, это мне и по тебе еще плакать, нехватит мне слез. Я и так не знала, что столько слез в моем сердце.

Он не знал, что ответить ей, да ей и не нужно было его ответа, и он стал целовать ее.

Далекий прерывистый звук паровозного гудка, за ним другой, третий пронесли в воздухе.

— Тревога, — жалобно сказала она, — тревога, опять тревога, что же это?

И сразу же вдали послышались частые залпы зениток. Лучи прожекторов осторожно, словно боясь разорвать свое тонкое голубоватое тело о звезды, поползли среди неба, и белые яркие разрывы зенитных снарядов засверкали среди звезд.

Придет день, когда суд великих народов откроет свое заседание, когда солнце брезгливо осветит острое лисье лицо Гитлера, его узкий лоб и впалые виски, когда рядом с Гитлером на скамье позора грузно повернется человек с обвисшими жирными щеками, атаман фашистской авиации.

«Смерть им», — скажут старухи со слепыми от слез глазами.

«Смерть им», — скажут дети, чьи матери и отцы погибли в огне.

«Смерть!» — скажут женщины, потерявшие детей. «Смерть им во имя святой любви к жизни».

«Смерть» — скажет оскверненная ими земля. «Смерть» — зашумит пещер под сожженными городами и селами. И с ужасом увидит германский народ на себе взоры презрения и укора, с ужасом и стыдом закричит он: «Смерть, смерть».

Через сто лет со страхом будут разглядывать историки спокойно и методически расписанные приказы, идущие из ставки верховного командования германской армии, к командирам авиационных эскадр и отрядов. Кто писал их? Звери, сумасшедшие, или делалось это не живыми существами, а расписывалось железными пальцами арифмометров и интеграторов?

Налет немецкой авиации начался около двенадцати часов ночи. Первые самолеты-разведчики, шедшие на большой высоте, сбросили осветительные ракеты и несколько кассет зажигательных бомб. Звезды стали исчезать и меркнуть, когда белые шары ракет, подвешенные к парашютам, разгораясь, повисли в воздухе. Мертвый свет спокойно, подробно и внимательно освещал площади города, улицы и переулки. В этом свете встал весь спящий город: белая фигура гипсового мальчика с горном, поднесенным к губам, возле Дворца пионеров, заблестели витрины книжных магазинов, и розовые, синие огоньки зажались в огромных стеклянных шарах, стоявших в окнах аптек. Темная листва высоких кленов в парке вдруг выступила из тьмы каждым резным своим листом, и возбужденно закричали глухие молодые грачи, пораженные внезапному приходу дня. Осветились афиши о спектакле в театре кукол, окна с занавесками и цветочными вазами, колоннада городской больницы, веселая вывеска над рестораном народного питания, сотни садиков, скамеечек, окошек, тысячи маленьких покатых крыш, робко заблестели круглые оконца на чердаках, желтые янтарные пятна поползли по начищенному паркету в читальном зале городской библиотеки. Спящий город стоял в белом свете осветительных ракет, город, в котором жили десятки тысяч стариков, старух, детей, женщин, город, росший девятьсот лет, город, в котором триста лет тому назад построили ученую семинарию и белый костел, город, в котором жили поколения веселых студентов и умелых мастеровых людей. Через этот город шли когда-то длинные обозы чумаков, бородатые плотовщики медленно проплывали мимо его белых домов и крестились, глядя на куполы собора; славный город, заставивший расступиться густые, сырые леса; город, где из столетия в столетие трудились знаменитые медники, краснодеревщики, кожевники, пирожники, портные, маляры, каменщики. Этот красивый старинный город на берегу реки был освещен темной августовской ночью химическим светом ракет.

Сорок двухмоторных бомбардировщиков еще днем были подготовлены к налету. Немецкие техники в музирчиках с аптекарской точностью наполняли баки прозрачной, легкой жидкостью. Черно-оливковые фугасные бомбы и сере-

брыстые зажигательные в пропорции, установленной для бомбежки городов военными учеными, были подвешены к плоскостям. Командир, оберст, знакомился с точным планом полета, данным штабом, метеорологи сообщили достоверные сводки погоды. Летчики жевали шоколад, покуривали сигареты, писали домой шуточные короткие открытки,— все это были холеные мальчики, с модной стрижкой.

С поющим звуком шли самолеты. Их встретил колючий огонь зениток, лучи прожекторов ловили их, и вскоре один из самолетов загорелся; словно испорченная картонная игрушка, кувыркаясь, пошел он к земле, то заворачиваясь в трипицу черного пламени, то выходя из нее. Но летчики уже увидели спящий город, освещенный ракетами.

Один за другим прокатились над городом взрывы, земля дрогнула от них, со звоном полетели стекла, посыпалась штукатурка в домах, сами собой стали открываться окна и двери. Полуодетые женщины, держа на руках детей, бежали к щелям. Игнатев, схватив за руку Веру, побежал с девушкой к окопу, вырытому у забора. Там уже собрались немногочисленные, оставшиеся в доме, жильцы; медленно вышел во двор старичок-юрист, у которого жил на квартире комиссар. Старичок нес в руке пачку книг, перевязанную бечевкой. Игнатев помог ему и Вере спуститься в окоп, а сам побежал к дому. В это время слышался вой лежащей бомбы. Игнатев лег на землю. Весь двор наполнило мглой — то поднялась в воздух тонкая кирпичная пыль от рухнувшего по соседству здания. Женщина крикнула:— Газы!— Какие газы!— сердито сказал Игнатев,— пыль это, сиди в щели.— Он побежал к дому.— Старшина, немец бомбит!— закричал Игнатев. Старшина и бойцы уже проснулись, натягивали сапоги, свет начинавшегося пожара освещал их. Котелки белого металла поблескивали в свете молодого, еще бездымного пламени. Игнатев поглядывал на быстро, молча одевавшихся товарищей, потом на котелки и спросил:— Ужин на меня получали?— Во, брат ты мой,— сказал Седов,— ты там будешь с бабами на скамейке звезды считать, а мы на тебя ужин получай.

— Скорей, скорей собирайся,— сердито крикнул старшина:— а ты, Игнатев, беги к комиссару, побудить его надо.

Игнатев поднялся на второй этаж. Старый дом весь скрипел от гула бомбовых разрывов, поскрипывая, ходили двери, тревожно позванивала посуда в шкафах, и, казалось, весь старый обжитой дом дрожит, как живое существо, видя страшную скорую гибель подобных себе. Комиссар стоял у окна. Он не слышал, как вошел Игнатев. Новый разрыв потряс землю, глухо и тяжело села штукатурка, наполнив комнату сухой пылью. Игнатев чихнул. Комиссар, не слыша, стоял у окна, глядя на город. «Вот он какой, комиссар»,— подумал Игнатев, и невольное чувство восхищения коснулось его. В этой высокой неподвижной фигуре, обращенной к начинавшим гореть пожарам, было что-то сильное, привлекавшее.

Богарев медленно повернулся. Лицо его было угрюмо. Выражение тяжелой упорной думы лежало на всем облике его, худые щеки, темные глаза, сжатые губы — все напряглось в одном большом движении. «Словно икона строгий»,— подумал Игнатев, глядя на лицо комиссара.

— Товарищ комиссар,— сказал он,— надо бы вам уйти отсюда, ведь он совсем рядом кидает; ударит — ничего от дома не останется.

— Как фамилия ваша?— спросил Богарев.

— Игнатев, товарищ комиссар.

— Товарищ Игнатьев, передайте старшине мое приказание: помочь гражданскому населению, слышите, кричат женщины.

— Поможем, товарищ комиссар. Насчет тушения, то мало чего сделаешь, дома больше деревянные, сухие, и он их зажигает согнями сразу, а тушить-то некому — молодой мирный житель эвакуировался либо в ополчение ушел. Старики и ребята остались.

— Запоминайте, товарищ Игнатьев, — вдруг сказал комиссар, — запоминайте все, что вы видите. И эту ночь, и этот город, и этих стариков и детей.

— Разве забудешь, товарищ комиссар.

Игнатьев смотрел на мрачное лицо комиссара и повторял: «Правильно, товарищ комиссар, правильно». Потом он спросил: «Может, разрешите гитару эту взять, что на стене висит, все равно дом сгорит, а бойцам очень нравится, как я на гитаре играю».

— Дом ведь не горит, — строго сказал Богарев.

Игнатьев поглядел на большую гитару, вздохнул и пошел к двери. Богарев начал укладывать бумаги в полевую сумку, надел плащ, фуражку и снова подошел к окну.

Город горел. Курчавый, весь в искрах, красный дым поднимался высоко вверх, темнокирпичное зарево колыхалось над базаром. Тысячи огней белых, оранжевых, нежножелтых, клюквенно-красных, голубоватых огромной мохнатой шапкой поднимались над городом, листва деревьев съживалась и блекла. Голуби, грачи, вороны носились в горячем воздухе, горели и их дома. Железные крыши, нагретые страшным жаром, светились, кровельное железо от жара громыхало и гулко пострадало, дым вырывался из окон, заставленных цветами, — он был то молочно-белым, то смертно-черным, розовым и пепельно-серым, он курчавился, клубился, поднимался тонкими золотистыми струями, рыжими прядями, либо сразу вырывался огромным стремительным облаком, словно внезапно выпущенный из чьей-то огромной груди; пеленой покрывал он город, растекался над рекой и долинами, ключьями цеплялся за деревья в лесу.

Богарев спустился вниз. В этом большом огне, дыму, среди разрывов бомб, криков, детского плача находились люди спокойные и мужественные, — они тушили пожары, засыпали песком авиационные бомбы, спасали из огня стариков. Красноармейцы, пожарники, милиционеры, рабочие и ремесленники всеми силами своими, не обращая внимания на воющую смерть, с лицами, черными от копоти, в дымящейся одежде боролись за свой город, делали все, что могли, чтобы спасти, выручить то, что можно было спасти и выручить. Богарев сразу почувствовал присутствие этих мужественных людей, они появлялись из дыма и огня, связанные великим братством, вместе шли на подвиги, врывались в горящие дома и вновь исчезали в дыму и огне, не называя своих имен, не зная имен тех, кого спасали.

Богарев увидел, как зажигательная бомба упала на крышу двухэтажного дома, искрясь, словно детский фейерверк, начала растекаться ослепительно белым пятном. Он вбежал по лестнице, пробрался на чердак, в духоте, пахнущей дымной глиной, напоминавшей детство, подошел к мутно светившемуся слуховому окну. Руки ему обжигало горячее кровельное железо. Искры садились на его одежду, но он быстро пробрался к тому месту, где лежала бомба, сильным ударом сапога сбросил ее вниз. Она упала на клумбу, осветив на миг пышные головы астр и георгин, зарывшись в рыхлую землю и стала гаснуть. Богарев с крыши увидел, как из соседнего горевшего дома два человека в красноармей-

ской форме вынесли на складной кровати старика. Он узнал бойца Игнатьева, просившего у него гитару, второй, Родимцев, был пониже ростом и пошире в плечах. Старуха-еврейка быстро заговорила, видимо, благодарила Игнатьева за спасение мужа. Игнатьев махнул рукой; в этом жесте, широком, шедром, свободном, словно выразилась вся богатая и добрая натура народа. В это время сильнее застучали зенитки, к их выстрелам присоединилось рокотание пулеметов. Новая волна фашистских бомбардировщиков налетела на горящий город. Снова послышался сверлящий вой отделившихся от самолета бомб.

— По щелям!— закричал кто-то. Но люди, разозленные борьбой, уже не ощущали опасности.

Чувство времени, протяженности и последовательности событий словно оставило Богарева. Он вместе со всеми тушил начинавшиеся пожары, засыпал песком зажигательные бомбы, выносил из огня чьи-то вещи, помогал санитарам, приехавшим с автомобилем скорой помощи, укладывать на носилки раненых, ходил вместе со своими бойцами к загоревшемуся родильному дому, выносил книги из горевшей городской библиотеки. Отдельные картины навечно запомнились ему. Человек выбежал из дома с криком: «Пожар, пожар!» Этот человек, вдруг увидевший вокруг себя один лишь сплошной опромный огонь, сразу успокоился, сел на тротуар и сидел неподвижно; запомнилось ему, как в чад и гари вдруг распространился нежный запах духов,— это загорелся парфюмерный магазин. Запомнилась ему сошедшая с ума молодая женщина; она стояла посреди пустынной площади, освещенная пожаром, и держала на руках труп девочки. Раненая лошадь лежала на углу улицы. Богарев увидел в ее стекленевших, но все еще живших глазах отражение пылавшего города. Темный, плачущий, полный муки зрачек лошади, словно кристальное, живое зеркало, вобрал в себя пламя горящих домов, дым, клубящийся в воздухе, светящиеся раскаленные развалины и этот лес тонких, высоких печных труб, который рос, рос на месте исчезнувших в пламени домов.

И внезапно Богарев подумал, что и он вобрал в себя всю ночную гибель мирного старинного города.

«Пока я живу, пока я дышу, пока мои пальцы имеют силу шевелиться, пока я в силах буду произнести хоть одно слово...— сказал он себе, и медленная, суровая мысль, словно торжественная клятва, проходила в его воспаленном мозгу.— Пусть не будет для меня иного дела, как дело бойца, пусть все силы души и ума своего я положу, чтобы пробуждать ненависть и месть!»

С рассветом пожар стал меркнуть. Солнце смотрело на дымящиеся развалины, на стариков и старух, сидевших на узлах, среди старой посуды, цветочных вазонов, сорванных ночью со стен старых портретов в черных рамках. И это солнце, глядевшее сквозь холодеющий дым пожаров на мертвых детей, было мертвенно-белым, отравленным дымом и гарью. Богарев пошел в штаб за инструкциями и вернулся на квартиру. Во дворе к нему подошел старшина.

— Как машина?— спросил Богарев.

— В порядке,— ответил старшина. Глаза его были воспалены от дыма.

— Надо ехать, собирайте людей.

— Тут, товарищ комиссар, случай произошел,— сказал старшина,— уж под утро немец положил бомбу аккуратно у окопчика, где жители хоронились, и всех почти покалечил, а двоих убило: это старичка, у которого вы на квартире стояли, и девушку тут одну, беженку. Он усмехнулся — Игнатьев с ней все беседы проводил.

— Где же они?— спросил Богарев.

— Раненых — тех увезли, а убитые так и лежат, вот за ними подвода пришла, — сказал старшина.

Богарев пошел в глубь двора, где собрались люди, смотревшие покойников. Старика трудно было узнать. Возле него валялись шорванные, забрызганные кровью книги, выпавшие из вынесенной им пачки. Он, видимо, в момент разрыва бомбы приподнялся, выглядывая из неглубокой щели. «Летошиси. Тацит», — прочел Богарев название книги, лежавшей рядом с телом. А девушка-беженка казалась живой, спящей. Смуглая кожа ее скрывала бледность, черные ресницы прикрывали глаза, она улыбалась лукаво и смущенно, словно стыдясь, что люди обступили ее.

Подошедший возчик взял девушку за ноги и сказал:— Эй, кто-нибудь, помогите, что ли.

— Пусти, — крикнул Игнатъев. Он легко и бережно приподнял тело, перенес его на подводу. Девочка, державшая в руке завядшую астру, положила цветок на пруд покойнице. Богарев помог возчику поднять тело старика. А люди с красными глазами, с перепачканными копотью лицами стояли молча, опустив головы.

Пожилая женщина, глядя на покойницу, произнесла негромко: «Счастливая». Богарев пошел к дому. Стоявшие у подводы люди молчали, и только чей-то сильный голос печально сказал:

— Минск сдали, Бобруйск, Житомир, Шепетовку, разве его остановишь? Видишь, что он делает. За одну ночь город какой сжег и полетел себе.

— Зачем полетел, шестерых наши сбили, — сказал красноармеец.

Вскоре Богарев вышел из квартиры убитого юриста. Он оглядел в последний раз полуразрушенную комнату, пол, засыпанный стеклом, выброшенные силой взрыва из шкафов книги, сдвинутую мебель. Подумав, он снял со стены гитару и снес ее вниз, положил в кузов машины.

Боец Родимцев, протягивая стоявшему у машины Игнатъеву котелок, говорил:— Поешь, Игнатъев, тут макарон белый, мясо вчера я на себя получил.

— Не хочу есть, — сказал Игнатъев, — пить хочу, все зашкелось внутри.

Вскоре они выехали за город. Легнее утро встретило их всей торжественной спокойной прелестью своей. Днем они остановились в лесу. Тугой, чистый ручей, грациозно морщась на камнях, бежал меж деревьев. Прохлада касалась воспаленной кожи, глаза отдыхали в спокойной тени высоких дубов. Богарев увидел в траве семейство белых грибов; они стояли сероголовые, на толстых белых ножках, и ему вспомнилось, с какой страстью он и жена в прошлом году предавались собиранию грибов на даче. Сколько радости было бы — найди они тогда такое скопище белых грибов! Им-то не очень везло на этот счет — большей частью приносили они домой сыроежки и козляты.

Красноармейцы помылись в ручье.

— Пятнадцать минут на обед, — сказал Богарев старшине. Он медленно ходил меж деревьев, радуясь и печалась беспечной красотой мира, шеместу листьев. Внезапно он остановился, прислушался, оглянулся в сторону машины. Игнатъев играл на гитаре, остальные ели хлеб и консервы и слушали.

VI

В штабе собрался командный состав. Командир полка, Герой Советского Союза майор Мерцалов, участник финской войны, сидел за картой с начальником

штаба Кудakovым, лысым мужчиной лет сорока, медленным в движениях и речи.

Командир первого батальона, капитан Бабаджаньян, в день приезда Богарева страдал от зубной боли; днем он, разгорячившись, напился ключевой воды, и ему, как он выражался, «ломало всю челюсть». Командир второго батальона майор Бочетков, добродушный и разговорчивый человек, все посмеивался над Бабаджаньяном. Здесь же был помощник начальника штаба, красивый, плечистый лейтенант Мышанский. Полк получил боевую задачу. Он должен был при поддержке тяжелой артиллерии нанести немцам внезапный удар во фланг, чтобы задержать движение противника в обход нашей армии, и этим дать возможность выйти из мешка частям стрелкового корпуса. Мерцалов знакомил с заданием командиров и комиссаров батальонов. К концу чтения пришел вызванный командир разведывательного взвода Козлов, круглоглазый, веснучатый лейтенант. Здороваясь, он с необычайной лихостью щелкал каблуками и брал под козырек. Рапортовал он командиру полка громко, чеканя каждое слово, но круглые глаза его при этом улыбались лукаво и снисходительно спокойно.

Богарев просидел все заседание молча. Он находился под впечатлением ночного пожара и несколько раз встряхивал головой, словно желая притти в себя. В начале заседания командиры часто оглядывались на Богарева, но затем привыкли и перестали его замечать.

Бабаджаньян, улыбнувшись, словно его оставила зубная боль, сказал обращаясь к Богареву:

— Мне нравится, товарищ комиссар: армия отступает, подумайте, армия целая, а батальон Бабаджаньяна наступать будет. Честное слово, мне нравится!

Приехавший сосед, представитель гаубичного артиллерийского полка, хмурый подполковник, все время писавший в блокнот, сказал:

— Только, товарищи, должен предупредить вас,—расходование снарядов мы будем производить в соответствии с нормой.

— Ну, само собой, это ведь оговорено уставом,—проговорил Кудakov.

Подполковник сказал:

— Да, да, товарищи, нормы есть нормы!

Бабаджаньян весело возразил ему:—Какие нормы! Я знаю одну лишь норму: победа!

После делового обсуждения начался разговор о германской армии. Мышанский рассказывал о немецкой атаке в районе Львова.

— Идут шеренгой плечо к плечу, не менее километра стеночка, представляете, и этак метрах в четырехстах второй ряд такой же, а за вторым третий,—рассказывал Мышанский,—идут в высокой пшенице, у каждого автомат и вот таким вот макаром. Наша полковая артиллерия их косит, а они идут себе да идут, прямо изумительно. Не кричат, не стреляют и не видно, чтобы пьяны — валятся, валятся в пшеницу, а остальные шагают. Ну, я вам доложу, картина!

Он стал вспоминать, как двигались тысячные колонны немецких танков по Львовскому и Проскуровскому шоссе, как ночью при свете зеленых и синих ракет высаживались немецкие парашютные десанты, как отряды мотоциклистов обстреливали один из наших штабов, как взаимодействуют между собой немецкие танки и авиация. Ему доставляло видимое удовольствие рас-

сказывать об отступлении первых дней. «Ох, и драпал же я», — говорил он. И так же правилось ему восхищаться силой немецкой армии.

— Шутите, что с Францией сделали, — говорил он, — в тридцать дней справиться с такой огромной силой — это только при их организации, с их генералитетом, с их военной культурой!

— Да, организация есть, есть, — сказал командир полка.

— Да нет, — сказал Мышанский, — я видел эту махину в действии. Уж что тут говорить. Всю стратегию и тактику перевернули.

— Мудры и непобедимы? — вдруг громко и сердито спросил Богарев.

Мышанский поглядел на него и снисходительно сказал:

— Вы меня простите, товарищ комиссар, но я человек фронтовой, привык говорить, что думаю!

— Да никогда я этого не прощу, ни вам, ни кому другому, — перебил его Богарев. — Понимаете?

— Но недооценивать тоже не следует, — сказал Кочетков, — как бойцы мои говорят: немец трус, но вояка отличный...

— Мы ведь не дети, — сказал Богарев, — мы знаем, что имеем дело с сильнейшей армией в Европе, с техникой, да я вам прямо скажу, превосходящей на данном этапе войны нашу, да и вообще, что говорить, — с немцами имеем дело, этим все сказано. Ну, вот, товарищ Мышанский, я вас тут слушал внимательно, придется прочесть вам маленькую лекцию. Есть в том необходимость. Вы должны научиться презирать фашизм, вы должны понять, что это самое низшее, самое подлое, самое реакционное, что есть на земле. Это гнусная смесь эрзацов и воровства в самом широком смысле этих слов. Сия гнусная идеология лишена абсолютно творческого элемента.

Презирать ее нужно до глубины души, понимаете вы это? Извольте послушать: их социальные идеи — это старинный тупой бред, осмеянный Чернышевским и Энгельсом. Вся военная доктрина фашизма целиком и полностью списана из старых планов германского штаба, разработанных Шлиффеном, — все эти фланговые удары, клинья и прочее рабски копируются. Танки и десанты, которыми фашисты удивили мир, украдены: танки — у англичан, десанты — у нас. Я постоянно изумляюсь чудовищной творческой бесплодности фашизма. Ни одного нового военного приема! Все списано. Ни одного крутого изобретения! Все крадено. Ни одного нового рода оружия! Все взято на прокат. Германская творческая мысль во всех областях стерилизована: фашисты бессильны изобретать, писать книги, музыку, стихи. Они застой, болото. Они внесли лишь один элемент в историю и политику — организованное зверство, бандитизм! Презирать, смеяться над их умственным убожеством нужно, товарищ Мышанский, поняли вы меня или не поняли? Этим духом должна быть проникнута вся Красная Армия от верху и до низу, вся страна. Вам кажется, что вы фронтовик, режете правду-матку, а у вас психика долго отступавшего человека, у вас холуйская нотка в голосе.

Он встал во весь рост и, глядя в упор на Мышанского, грозно сказал:

— Как военный комиссар части, я запрещаю вам произносить слова, недостойные патриота и не отвечающие объективной правде. Понятно вам это?

• • •

Начинать должен был батальон Бабаджаньяна. Атаку назначили на 3 часа ночи. Козлов, ходивший два раза в разведку, подробно рассказывал распо-

жение немцев, в совхозе. Танки и броневые автомобили стояли на площади, солдаты спали в помещении совхозного овощехранилища. Это овощехранилище представляло собой длинный сарай-казарму, протяженным в сорок — пятьдесят метров. Немцы устроились в нем с удобствами, заставили окрестных крестьян свезти туда несколько возов сена, расстелить поверх сена полотно и куски рьяна. Спали немцы в белье, сняв сапоги, свет жгли не затемняя окон. По вечерам они хором пели песни, и разведчики, лежавшие на огородах, отлично слышали немецкое пение. Разведчиков особенно сердило это пение. — Поют, — говорили они, — а наши бойцы молчат, никогда не слышно, чтобы пели.

И действительно, в то время не слышно было в войсках пения, и колонны шли молча, и на привалах не пели, не плясали.

Когда стемнело, выехал на огневые позиции дивизион гаубичного полка. Командир и комиссар дивизиона вскоре зашли в штабную избу и уселись за стол: комиссар разложил шахматную доску, командир вытащил из полевой сумки фигуры, и они оба сразу же пригнулись, задумались. Командир второго батальона Кочетков сказал:

— Вот сколько вижу артиллеристов, и почти все в шахматы играют. — Комиссар дивизиона, не отрывая глаз от доски, сказал:

— А насколько я вижу, в стрелковых частях все в домино играют. — Командир дивизиона, тоже глядя на доску, добавил:

— Точно, обязательно в козла, да еще морского. — Он показал пальцем на доску и добавил: — Так ты, Сережа, проиграешь. Явная потеря ферзя, как в тот раз под Мозырем. — Они наклонились над доской и замерли. Минут через пять, когда Кочетков уже вышел из избы, комиссар дивизиона сказал: — Чепуха, ничего я тут не теряю, — и, глядя на доску, добавил, обращаясь к отсутствующему Кочеткову: — А кавалеристы любят играть в подыдного дурака, верно, товарищ Кочетков?

Сидевший у полевого телефона дежурный связист рассмеялся, но тотчас озабоченно нахмурился и, покрутив ручку аппарата, строго сказал: — Луна, луна, Мединский, ты, проверка.

Командир полка Мерцалов негромко разговаривал с начальником штаба. В избу снова вошел Бабаджаньян, худой, высокий, возбужденный. В полутьме черные глаза его блестели. Он заговорил быстро и горячо, тыча рукой в карту: — Это исключительный случай, разведка совершенно точно доносит, где стоят танки. Если выдвинуть артиллерию на этот холм, мы их расстреляем прямой наводкой. Честное слово! Как можно упускать, ну, как на ладони, подумайте, как на ладони! — и он показал свою худую смуглую руку, постукал ладонью по столу.

Мерцалов посмотрел на Бабаджаньяна и сказал:

— Согласен, бить так бить. Долго рассуждать я не люблю.

Он подошел к артиллеристам.

— Товарищи шахматисты, придется вас оторвать. Пожалуйста-ка сюда.

Они вместе склонились над картой.

— Ясно, они хотят перерезать шоссе — тут ведь не больше сорока километров — и выйти в тыл армии.

— В этом все значение нашей операции, — сказал начальник штаба, — имейте в виду, что командующий армией лично за всем этим делом следит.

— Вчера по радио немцы кричали: сдавайтесь, красноармейцы, сюда при-

были наши огнеметные танки, мы сожжем всех, а кто сдастся, пойдет домой,— сказал командир дивизиона Румянцев.

— Нагло ведут себя,— сказал Мерцалов,— до обидного нагло: спят раздетые, а я вот уже какие сутки сапог не снимаю, ездят, собаки, по фронтовым дорогам с зажженными фарами.

Он задумался и сказал:

— А комиссар какой у нас, его слова меня прямо, знаете, ну как...

— Крут уж очень,— сказал начальник штаба,— Мышанского сильно обложил.

— А мне понравилось,— смеясь сказал Мерцалов,— я прямо по себе скажу, на меня вы оба действуете, Мышанский вот своими рассказами, а вы все насчет формы, да нормы. Я ведь человек простой, строевой, слова больше, чем пули, боюсь.

Он посмотрел на начальника штаба и весело сказал:

— Хорош комиссар. Я с ним вместе воевать буду.

VII

Батальон Бабаджаньяна расположился в лесу. Бойцы сидели и лежали под деревьями в маленьких шалашах из ветвей с увядшими шуршащими листьями. Сквозь листву проглядывали звезды, воздух был тих и тепел. Богарев вместе с Бабаджаньяном шли по едва белевшей тропинке.

— Стой, приставить ногу!— крикнул часовой и быстро произнес:— один ко мне, остальные на месте.

— Остальные — тоже один,— смеясь, сказал Бабаджаньян и подошел к часовому, шепнул ему пропуск. Они пошли дальше. Возле одной из лиственных палаток они остановились, прислушались к нетрогкому разговору красноармейцев.

— Вот скажи мне, как ты думаешь,— оставим мы Германию после войны или как ее?— спросил спокойный, задумчивый голос.

— А кто его знает,— ответил второй,— там посмотрим.

— Вот хороший разговор во время большого отступления!— весело сказал Богарев.

Бабаджаньян посмотрел на светящийся циферблат часов.

Игнатьев, Родимцев и Седов не успели выспаться после бессонной ночи в горящем городе. Их разбудил старшина и велел пойти за ужином. Походная кухня тускло светила в лесной тьме своим красным квадратным глазом. Возле нее, сдержанно шумя, позвякивая котелками, толпились красноармейцы. Все уже знали о предстоящем ночном выступлении.

Трое бойцов, сталкиваясь ложками, черпали суп и неторопливо разговаривали между собой. Родимцев, участвовавший уже в шести атаках, медленно объяснял товарищам:

— В первый раз, конечно, страшно. Непонятно, ну, и страшно. Откуда что, ну, и не знаешь. Я вам скажу — автомата неопытные бойцы очень опасаются, а они совсем бесцельно бьют. Пулемет, скажем, тоже не очень в цель бьет. От него залег в овражек, за холмик ли, ну, и высматривай себе место для перебежки. Вот миномет у него самый сильный, отвратительный, я прямо скажу,— меня до сих пор от него в тоску кидает. От него одно спасение — вперед идти. Если залажешь или назад пойдешь, накроет.

— Ох, жалко мне эту Веру,— сказал Игнатъев,— стоит, как живая. Ну, прямо не знаю.

— Нет, я теперь о бабах не думаю,— сказал Родимцев.— Я в этой войне к бабам чутье потерял. Вот ребятишек повидать очень хочется. Хоть бы денек с ними. А бабы что, я не немецкий кобель.

— Эх, ты,— сказал Игнатъев,— не понимаешь. Жалко мне ее просто. За что это ее — молодая, мирная. За что он ее убил?

— Да, уж ты пожалей,— сказал Родимцев,— Целый день в машине на гитаре играл.

— Это ничего не значит,— проговорил москвич Седов,— у него натура, у Игнатъева, такая, никакого значения не имеет. И, глядя в звездное небо, узором выступающее меж черной молодой листвы, медленно произнес:

— Животные и растения борются за существование, а немец вот борется за господство.

— Правильно, Седов,— сказал Родимцев, любивший непонятные, ученые слова,— это ты правильно сказал,— и продолжал рассказывать:

— Дома я воротного скрипа боялся, ночью лесом ходить опасался, а тут ничего не боюсь. Почему такое стало? Привык я что-ли или сердце у меня в этой войне другое сделалось,— заеклось? Вот я вижу, есть такие, боятся сильно, а я ну, вот что хочешь мне сделай, не боюсь и все,— и ведь мирный был человек, семейный, никогда про войну эту и не думал. Не дрался отродясь, и мальчишкой был не дрался, и пьяным бывало напьюсь, не то что в драку, а еще плакать начинаю, всех людей мне жалко делается.

— Это у тебя оттого, что насмотрелся,— сказал Седов,— послушаешь жителей, увидишь вот такое дело, как вчерашний пожар, тут чорта перестанешь бояться.

— Кто его знает,— сказал Родимцев,— есть ведь очень боятся. Но у нас уж так завел командир батальона: что держим — не отдаем. Горько ли, тошно ли — стоим.

— Да, командир прочный,— сказал Седов,— а бывает и горько, бывает и тошно.

— Ну ясно, командир хороший: и опять же не заводит куда не нужно, бережет кровь своего бойца. А главное хорошо — трудности все с нами выносят. Это я помню, больной он совсем был, а целый день в болоте по грудь простоял, кровью стал харкать, это вас еще не было. Когда танки шли на Новоград-Волынский. Вышел в лесок сушиться. А он лежит, ослабел совсем. Подошел я к нему, говорю: «Товарищ капитан, поешьте, вот у меня колбаса да хлеб». А он глаза не открывает, по голосу только меня узнал: «Нет, говорит, товарищ Родимцев, спасибо, есть мне не хочется. Мне, говорят, хочется письмо от жены и детей получить, с самого начала потерял их». И так он это сказал, что прямо ей богу. Отшел от него и думаю: да, брат ты мой, это да.

Игнатъев поднялся во весь рост, расправил руки, врякнул.

— Вот чорт здоровый,— сказал Родимцев.

— А чего? — спросил Игнатъев одновременно сердито и весело.

— Чего? Ничего. Ясное дело. Пицца хорошая.— Ну а работа — в деревне тоже работал. Ясно будет здоровый.

— Да, брат,— сказал из темноты чей-то насмешливый голос,— на войне работа не тяжелая, вот залепит тебе осколок кило на полтора в кишки, будешь тогда знать, где тяже,— дома или здесь.

— Это уж курский соловей задел,— сказал Седов и, обращаясь к невидимому во тьме человеку, спросил:

— Не любишь, чорт, когда немцы стреляют?

— Ладно, ладно,— ответил сердитый голос,— лишь бы ты очень любил.

Вскоре батальон выступил. Люди шли молча, лишь негромко раздавались голоса командиров, да то и дело ругался кто-нибудь, споткнувшись о переполавший лесную дорогу корень. Шли узкой просекой, прорубленной среди дубового леса. Деревья молчали, листва не шевелилась, лес стоял высокий, черный, недвижимый, словно литой. Бойцы выходили на широкие лесные поляны, звездное небо вдруг разливалось над ними черное до синевы, и сердце тревожилось, когда падала стремительная ясная звезда. А вскоре снова лес смыкался вокруг них и в глазах стояла золотая звездная каша, перемежаемая толстыми лапами дубовых ветвей, и смутно белела во мраке песчаная дорога. Лес кончился, и они вышли на широкую равнину. Они шли по несжатому полю и во мраке по пороху осыпавшегося зерна, по скрипу соломы под ногой, по шуршанию стеблей, цеплявшихся за их гимнастерки, узнавали пшеницу, жито, гречку, овес. И это движение в тяжелых солдатских сапогах по нежному телу несжатого урожая, это шуршащее, как грустный дождь, зерно, которое они ощупывали во мраке, говорило многим деревенским сердцам о войне, о кровавом нашествии ярче и громче, чем пылавшие на горизонте пожары, чем красные шпуровые трассы пуль, медленно ползущие к звездам, чем голубоватые столбы прожекторов, качавшихся на небе, чем далекие глухие раскаты разрывающихся бомб. Это была невиданная война: враг топтал всю жизнь народа, он сбивал кресты на кладбищах, где похоронены матери и отцы, он жег детские книжки, он ступал по тем садам, где деды сажали антоновку и черную черешню, он наступал на горло старым бабкам, рассказывавшим детям сказки о петушке-золотом гребешке, он вешал деревенских бондарей, кузнецов, ворчливых дедов — сторожей. Такого не знала Украина, Белоруссия, Россия. Такого не было никогда на советской земле. И красноармейцы шли ночью, топчя сапогами свою родную пшеницу и гречу, подходили к совхозу, где среди белых хат стояли черные танки с нарисованными на них хвостатыми драконами. И добрый, тихий человек, Иван Родимцев, говорил:— Нет уж, миловать его не за что.

Еще до того, как первый снаряд ударил, вблизи сарая, где лежали немецкие пехотинцы и танкисты, красноармеец, фамилия которого никто не запомнил, пробрался через провололочное заграждение, незаметно прошел меж хатami в сады, перелез через забор на площадь, начал ползти к стогам сена, свезенного накануне немцами. Его заметил часовой и окликнул. Красноармеец молча продолжал ползти к стогам. Часового настолько озадачило бесстрашие этого человека, что он замешкался. Когда часовой дал очередь из автомата, красноармеец уже находился в нескольких метрах от сложеного сена. Красноармеец успел бросить бутылку горючей жидкости в один из стогов и упал мертвым. Немецкие танки, броневики и танкетки, стоявшие на площади, осветились красно-желтым пламенем горевшего сена. И тотчас же с дистанции шестисот метров открыли огонь гаубицы. Артиллеристы видели, как из длинного сарая-казармы выбегали немецкие солдаты.

— Эх, пехота запаздывает,— сердито сказал Румянцев комиссару дивизиона Невтулову.

Но вскоре красная ракета дала сигнал атаки. Сразу же умолкли пушки. Был миг тишины, когда лежавшие люди вставали с земли, и по темной роще, по несжатой пшенице пронеслось протяжное, негромкое, прерывистое «ура». Это пошли в атаку роты Бабаджаньяна. Зарыкали станковые пулеметы, рассыпчато разносился треск винтовочных выстрелов.

Бабаджаньян взял из рук связиста телефонную трубку. До слуха дошел идущий из боя голос командира первой роты:

— Ворвался на окраину деревни, противник бежит.

Бабаджаньян подошел к Богареву, и комиссар увидел в черных пламенных глазах командира батальона слезы.

— Бежит противник, противник бежит, товарищ комиссар,— сказал он с придыханием.— Эх, отрезать бы их можно было, мерзавцев!— закричал он,— не туда Мерцалов кочетковский батальон поставил! Зачем в затылок, во фланг надо бы.

С наблюдательного пункта они видели, как немцы бсжали с окраины в сторону площади. Многие из них были не одеты, несли в руках оружие и свертки одежды. Длинный сарай-казарма пылал весь, пылали стоявшие на площади танки, огромный высокий дымный костер живой, красной башней поднимался над автоцистернами с горючим. Среди солдат можно было заметить фигуры офицеров, кричавших, прозивших револьверами, тоже бегущих.

— Вот она, внезапность,— думал Богарев, всматриваясь в толпы солдат, мечущихся среди построек.

— Пулеметы, пулеметы вперед!— закричал Мерцалов и побежал в сторону стоявшей в резерве роты. Вместе с пулеметчиками он вошел в деревню.

Немцы отходили по большаку в сторону деревни Марчихина Буда, находившейся в десяти километрах от совхоза. Многие танки и броневики ушли, раненых и убитых немцы успели унести.

Уже рассвело. Богарев осматривал сторевающие немецкие машины, пахнущие жженой краской и маслом, щупал еще не остывший мертвый металл.

Красноармейцы улыбались, смеялись. Смеялись и шутили командиры, даже раненые возбужденно рассказывали друг другу бескровными губами о ночном бое.

Богарев понимал, что этот внезапный торопливо подготовленный налет из совхоз — маленький эпизод в нашем долгом отступлении. Он чувствовал душой громадность потерянного нами пространства, всю тяжесть потерь больших городов, промышленных районов, трагедию миллионов людей, оказавшихся под властью фашистов. Он знал, что за эти месяцы нами потеряны десятки тысяч деревень, и в эту ночь возвращена лишь одна. Но он испытывал безмерную радость, ведь он видел своими глазами, как немцы бежали во все стороны, он видел их кричащих, перепуганных офицеров. Он слышал громкую веселую речь красноармейцев, он видел слезы радости га глазах командира из далекой Армении, когда бойцы отбили у немцев деревушку на границе Украины и Белоруссии. Это было крошечное зерно великого дерева победы.

Пожалуй, он единственный в полку по-настоящему знал положение, в котором находились войска, произведшие ночной налет. Напутствуя его, дивизионный комиссар сказал:

— Надо держать, держать до последнего.— Он видел карту в штабе фрон-

та и ясно представлял себе задачу полка: держать большак, проходящий у совхоза, и не давать немецким частям пробиться к шоссе к дороге в тыл отходящей армии. Он знал, что полку предстоит нелегкая судьба.

В семь часов утра налетели немецкие бомбардировщики.

Они появились внезапно из-за леса. «Воздух!» — закричали часовые. Пикировщики, нарушив строй звеньев, построились в кильватерную колонну, затем замкнули круг так, что ведущий самолет вышел в хвост последнему ведомому, и, медленно, внимательно рассматривая землю, «каруселью» закружились над совхозом. Это томительное и страшное кружение длилось минуты полторы. Люди на земле, точно во время игры в прятки, притгнувшись, перебегали из одного укрытия в другое. «Лежать, не бегать!» — кричали командиры. Внезапно ведущий самолет перешел в пики, за ним другой, третий, завали бомбы, чугунно-потрясающе ударили разрывы. Черный дым, разорванная в клочья земля, пыль заполняли воздух. Лежащие старались плотней прижаться к земле, используя каждое углубление почвы, их словно вдавливало в землю визгом бомб, прохотом разрывов, воем моторов, выходящих из пики самолетов.

Один из лежащих на земле бойцов приподнялся и начал стрелять по пикировавшим машинам из автомата. Это был Игнатьев.

— Что ты делаешь, какого чорта демаскируешь нас, прекратить немедленно! — кричал сидевший в щели Мышанский.

Но боец, не слыша, продолжал стрелять. — Я приказываю прекратить стрельбу, — крикнул Мышанский. Совсем близко от него застрочил второй автомат. — Кто там еще, какого чорта... — крикнул Мышанский, оглядываясь, и внезапно заикнулся. Стрелял комиссар Богарев...

— Бомбежка ничего не дала немцам, — говорил начальник штаба полка, — подумайте: утюжили тридцать пять минут, — скинули с полсотни бомб, результат — двое легко раненых да разбитый станковый пулемет.

Богарев вздохнул, когда начальник штаба сказал о ничтожных результатах бомбежки. «Нет, — подумал он, — результат не так уж ничтожен, — опять люди говорят негромко, опять глаза скучные, тревожные, то драгоценное настроение исчезло».

В это время подошел Козлов. Лицо его словно похудело и было покрыто тем темным налетом, который носят на лицах люди, выходящие из боевого некла. Копоть ли это пожаров, дым ли разрывов, мелкая ли пыль, поднимаемая волной воздуха и смешанная с трудовым потом битвы, — бог его ведает. Но после боя лица всегда худеют и темнеют, становятся строже, глаза спокойней и глубже.

— Товарищ командир полка, — доложил он, — пришел Зайцев из разведки. В Марчихину Буду прибыли германские танки, насчитал он штук до ста. Машины в большинстве средние, но есть процент тяжелых.

Мерцалов поглядел на нахмурившиеся лица командиров и сказал:

— Вот видите, товарищи, как мы удачно стали немцу, что называется, поперек горла.

И он ушел в сторону совхозной площади.

Красноармейцы копали окопы вдоль дороги, рыли ямы для истребителей танков.

Красивый и нагловатый Жавелев негромко спросил у Родимцева:

— Верно, Родимцев, ты первый на склад немецкий ворвался, там, говорят, часов сто дожжи было?

— Да, уж добра, не то, что внукам, правнукам бы хватило,— сказал Родимцев.

— Взял на память чего-нибудь?— подмигнул ему Жавелев.

— Что ты, ей богу,— испуганно сказал Родимцев,— мне натура не позволяет, мне отвратительно к его вещам прикоснуться. Да и зачем брать — я веду свой смертный бой.

Он оглянулся и сказал:

— **▲** Игнатъев-то, Игнатъев — мы раз ударили лопатой, он три. Мы вдвоем один окоп, а он один два выкопал.

— И поет еще, сублин сын,— сказал Седов,— и ведь двое суток не спал.

Родимцев прислушался, поднял лопатку:

— Ей богу, поет,— весело сказал он,— что ты скажешь.

VIII

Мария Тимофеевна Чередниченко, мать дивизионного комиссара, темполицая семидесятилетняя старуха, уезжала из родной деревни. Соседи звали ее ехать днем, но Марья Тимофеевна пекла на дорогу хлеб, и он должен был поспеть лишь к ночи следующего дня. А утром уезжал председатель колхоза, и она решила ехать с ним. Внук, одиннадцатилетний Леня, приехал гостить к ней в деревню, после окончания занятий в киевской школе, недели за три до войны. С начала войны она не получала писем от сына и решила вести внука в Ворошиловград, к родителям его покойной матери, умершей три года тому назад. Дивизионный комиссар уже несколько раз просил мать приехать к нему,— в большой киевской квартире ей бы жилось удобней и легче. Она ежегодно ездила к нему гостить, но обычно проводила у сына не больше месяца. Сын возил ее кататься по городу, она была два раза в Историческом музее и любила театр. Посетители театра с интересом и почтением смотрели на высокую строгую старуху-крестьянку с морщинистыми трудовыми руками, сидящую в первом ряду партера. Сын приезжал обычно перед последним действием, он освобождался очень поздно. Они шли по фойе рядом, и все расступались, давая им дорогу — прямой строгой старухе с черным платком на плечах и такому же темполицеу, строгому, похожему на нее лицом, военному в высоком звании дивизионного комиссара. «Мать и сын»,— негромко говорили женщины, оглядываясь.

В 1940 году Мария Тимофеевна болела и не приехала к сыну; он в июле, по дороге на маневры, заехал к ней на два дня. И при этой встрече сын просил Марию Тимофеевну переехать в Киев. После смерти жены жилось ему одиноко, и он все боялся, что Леня растет без женской ласки. Да и огорчал его, что мать в свои семьдесят лет продолжает работать в колхозе, носит от дальнего колодца воду, сама рубит дрова.

Она молча слушала его рассуждения, пила его чаем в саду под яблоней, которую при нем посадил отец, а перед вечером пошла с ним на кладбище к могиле отца. На кладбище она сказала:

— Разве я могу отсюда уехать? Тут я и умру. Ты уже прости меня, сынок.

И вот она собралась уходить из родного села. Накануне отъезда она пошла

к знакомой старухе. Внук пошел вместе с ней. Они подошли к хате и увидели, что ворота настежь открыты, во дворе стоял одноглазый старик Василий Карпович, колхозный пастух. Возле него, опустив хвост, юлила рыжая хозяйская собачка.

— Та, Тимофеевна, уже уехали,— сказал Василий Карпович.— Вони думали вы с утра поехали.

— Нет, мы завтра поедем,— сказал Ляня.— Нам председатель дал лошадей.

Солнце заката освещало начавшие розоветь помидоры, сложенные заботливой рукой хозяйки на подоконнике. Пышные цветы, радовавшиеся в палисаднике, фруктовые деревья, обмазанные белым, с подпорочками под ветвями. На перекладине забора лежала аккуратно выструганная рогулька, которой запирались ворота, в огороде среди зеленой ботвы желтели гарбузы, виднелись созревшие початки кукурузы, стручки бобов и гороха, кругло смотрел черноглазый подсолнух.

Мария Тимофеевна прошла в покинутый дом. И здесь все носило следы мирной жизни, любви хозяев к чистоте и к цветам: на подоконниках стояли курчавые розочки, в углу — большой темнolistвенный фикус, на камоде — лимон и два вазона с тоненькими ростками финиковой пальмы. И все, все в доме: и кухонный стол с черными круглыми следами горячих чугунов, зеленый подвесной умывальник с нарисованной на нем белой ромашкой, буфетик с чашечками, из которых никто никогда не пил, темные картины на стенах — все, все говорило о долгой жизни, шедшей в этой брошенной хате, о деде, бабке, о детях, оставивших на столе учебник «Родная литература», о тихих зимних и летних вечерах. И тысячи таких белых украинских хат стояли пустыми, и хозяева, строившие их, взрастившие вокруг них деревья, шли хмурясь, пыля сапогами, по дорогам, ведущим на восток.

— Дедушка, а собаку оставили? — спросил Ляня.

— Не захотели его взять, я его буду годовать,— сказал старик и заплакал.

— Ну, чего плакать? — спросила Мария Тимофеевна.

— А, чего, чего,— сказал старик и махнул рукой.

И этим тяжелым движением руки с черными, изуродованными трудом ногтями выразил он, как рухнула вся жизнь.

Мария Тимофеевна, торопясь, пошла к дому, и бледный худенький Ляня едва поспевал за ней и спрашивал:

— Бабушка, а как ты думаешь, есть у курицы позвоночный столб?

— Цыть, Леничка, цыть,— говорила она.

Как горько казалось ей проходить по этой деревенской улице! Ведь по этой улице везли ее когда-то венчаться в церковь. По этой улице шла она за гробом отца, матери, мужа. И завтра ей предстояло сесть на подводу среди узлов с торопливо собранным скарбом, покинуть дом, где прожила она хозяйкой пятьдесят лет, где растила детей, куда приехал к ней тихий, понятливый и жалостливый внучек.

А в деревне, освещенной теплым вечерним солнцем, в белых хатах среди цветников и в милых садах шопотом говорили о том, что красных войск нет до самой реки и что старик Котенко, уехавший во время коллективизации в Донбасс, а затем вновь вернувшийся, велел своей старухе мазать белой крейдой хату, как перед Пасхой. И ядовитая бабка Гуленевская стояла у колодца и всем говорила:

— Кажуть, вин полоски наризають, кажуть люди, вин в бога вилуе.

И слухи, темные, печистые, пошли по деревне. Старички, выйдя на улицу, смотрели в сторону, откуда каждый вечер в розовой пыли заката возвращалось с выпаса стадо; оттуда, из-за дальнего леса, из дубовой рощи, где обычно много было грибов, должен был появиться герман. Бабы, плача, всхлипывая, рыли в садах и под домами ямы, укладывали туда бедное свое добро — одеяла, валенки, посуду — и оглядывались на запад. Запад был ясен и тих.

Председатель колхоза Грищенко зашел к старику Котенко взять четыре мешка, которые Котенко взял у него займы месяц тому назад.

Котенко, высокий, плечистый старик, лет шестидесяти пяти, с густой бородой, сидел за столом и смотрел, как старуха его мазала хату.

— Здравствуйте, — сказал Грищенко, — пришел к вам мешки свои взять.

Котенко насмешливо спросил:

— В дорогу ты собрался, председатель колхоза?

— А как же, надо ехать, — сказал Грищенко и зло поглядел на старика. Тот словно выпрямился за эти дни, речь стала насмешливой, неторопливой, и обратился он к Грищенко на «ты».

— Да, да, ехать надо, — говорил ему старик, — как же тебе не ехать, председатель сельсовета уехал, из конторы все уехали, счетовод уехал, почти все ваши уехали, почтальон и тот уехал, все бригадиры уехали.

Он рассмеялся.

— Видишь, какое дело. А мешков я тебе отдать не могу: понимаешь, взял их зять и повез в них зерно в Белый Колодец, только послезавтра обратно будет.

Грищенко кивнул головой и сказал спокойно:

— Ладно, пусть пропадает. А чего это вы хату задумали мазать?

— Хату мазать? — переспросил старик. Ему хотелось сказать председателю, для чего он мажет хату. Но осторожный, скрытный, привыкший таиться, он и сейчас любоялся. «Кто его знает, возьмет да и застрелит!» — подумал он. Он словно пьянел от радости, и ему хотелось сейчас, хотя запад еще пуст, хотя председатель колхоза еще ходит по хатам, высказать все, что лежит в его душе, все, что думал он в зимние ночи, о чем не говорил даже со своей старухой. Когда-то, лет сорок тому назад, ездил он к дяде своему, батрачившему у богатого кулака-эстонца. Словно поэма, навек пресвучавшая для него, вошли ему в сердце и душу воспоминания о красивом скотном дворе, где моют с мылом цементный пол, о паровой мельнице, о самом хозяине, плотном, бородатом старике в красном тулупчике, обшитом мехом. Он тысячи раз вспоминал красивые, расписанные яркими цветами санки, молотью, горячую и в то же время послушную лошадь, подкатившую к светлому, чистому крыльцу, и хозяина в его знаменитом тулупчике, в высокой дорогой шапке, в расшитых рукавицах, в мягких, теплых валеночках. Ему помнилось, как объезжая лес, где пилили дрова батраки, хозяин вынул из кармана бутылочку, отвинтил затейливую пробку и выпил глоток водки, настоянной на коричнево-красных ягодах. Это не был кушеч, это не был помещик-дворянин, нет, это был мужик, настоящий мужик, но мужик богатый, сильный. И вот стать таким богатым мужиком, имеющим красивых, красных коров, стада овец, сотни больших розовых свиней, мужиком, в чьем хозяйстве работают десятки крепких послушных батраков, стало мечтой, жизнью, дыханием Котенко. Он шел к осуществлению своей мечты жестоко, неутомимо,

умно. В 1915 году у него было 60 десятин земли, он построил паровую кру- порушку. Революция отняла у него мечту, смысл его жизни. Двое из его сыновей ушли в Красную Армию и погибли на фронтах гражданской войны. Котенко не позволил жене повесить их фотографии на стену. Котенко надеялся, молился. В 1931 году он ушел в Донбасс и 8 лет проработал на шахте. А поэма кулацкой жизни не хотела, не могла умереть.

И сейчас, казалось ему, пришло время осуществления этой мечты.

Все годы мучила его зависть к старухе Черевиченко. Котенко видел, что почет, который он хочет получить при царской власти, она получила в трудовой жизни после революции. Ее возили в город, и она говорила речи в театре. Котенко не мог спокойно смотреть на ее фотографию, напечатанную в районной газете,— старуха с тонкими губами, в черном платье на плечах, смотрела умными недобрыми глазами и, казалось ему, насмехалась над ним. «Эх, Котенко, не так ты жил»,— говорило ее лицо. И ненависть охватывала его, когда видел он эту старуху, спокойно идущую работать в поле, когда соседи говорили:

— А Тимофеевна в Биев к сыну поехала, лейтенант за ней на машине голубой приезжал.

Но теперь Котенко встал: не зря ждал он, даром оказался он, а не она. Недаром он отпустил себе такую же бороду, какую носил кулак-эстонец, недаром ждал он, недаром надеялся.

И, глядя на председателя, пылливо смотревшего на него, он сдерживал и успокаивал себя: «Подожди, подожди, ты дольше ждал, теперь ведь денег ждешь, один лишь только денек».

— Кто его знает,— зевая сказал он,— кто его знает, вот пришло бабе в голову мазать хату в такое время, а уже если баба захочет, разве сделаешь с ней что.

Он вышел проводить председателя, долго смотрел на пустую дорогу, и в голове его весело, возбужденно шевелились мысли:

— Черевиченко хату на моей земле построил, значит, хата моя будет, а захочет Черевиченко остаться в этой хате, аренду станет мне платить золотыми деньгами... Колхозная конюшня на моей земле поставлена, значит, моя будет конюшня... Колхозный сад на моей земле посажен, значит, мои будут черешни и яблони... И пасека колхозная моей будет, докажу, что эти ульи у меня в революцию забрали...

Дорога стояла спокойная, пустая, не пылила, деревья не шелхнулись вдоль этой дороги. Красное, сытое, спокойное солнце опускалось в землю.

«Ну, вот и дождался»,— думал Котенко.

IX

Леня спросил:

— Бабушка, мы успеем уехать?

— Успеем, Леничка,— ответила Мария Тимофеевна.

— Бабушка, а почему мы отступаем все время: разве немцы сильнее?

— Ты спи, Леничка,— сказала Мария Тимофеевна,— завтра поедем, только светать начнет. И я на часок прилягу, отдохну, а потом собираться буду. Дышать мне трудно, словно камень на грудь положили. Снять его хочется и нет сил снять его.

— А дапу же убили, бабушка?

— Что ты, Ляня, твоего папу не убьют. Он сильный.

— Сильней Гитлера?

— Сильней, Леничка. Он мужиком был, как дедушка наш, а теперь генерал. Он умный, знаешь, какой умный.

— А папа все молчит, бабушка. Посадит меня на колени и молчит. А раз мы с ним вместе песни пели.

— Спи, Ляня, спи.

— А корова пойдет с нами?

Никогда Мария Тимофеевна не испытывала такой слабости, как в этот день. Дела было много, а сила вдруг вся ушла, и почувствовала она себя дряхлой, слабой.

Она постелила на лавку ватное одеяло, положила подушку и легла. Было жарко от печи. И горячие хлебы, вынутые из печки, золотые, словно солнце, пахли приятно, сладко, и от них шло тепло. Неужели в последний раз вынула она из своей печи хлебы, неужели не будет она больше есть хлеб из своей пшеницы? Мысли путались в ее голове.

Вот в детстве так лежала она на теплой печи, на отцовском мохнатом козухе, и смотрела на поляныщи, вынутые матерью из печи. — Манька! Сидаты иды, — звал ее дед. Где сын теперь? Жив ли он? Как добираться? — Манька, а Манька, — позвала ее сестра, и она босыми, худыми ножками пробежала по прохладному глиняному полу. Портреты все нужно взять, фотографии снять со стены. Цветы останутся. Деревья фруктовые останутся. И могилы все останутся. Не пошла она на кладбище проститься. И кошка останется. Рассказывают колхозники, что в сожженных деревнях остаются одни лишь кошки. Собаки уходят с хозяевами, а кошки — привычные к дому, не хотят уходить. Ох, как жарко, как трудно дышать, какая тяжесть в руках. Руки точно сейчас почувствовали ту великую работу, которую старуха сделала в свою семидесятилетнюю жизнь. Слезы текут по щекам, а руку тяжело поднять, и слезы текут, текут. Вот так она плакала, когда лисица утащила из стада самую жирную гусыню. Вечером она пришла домой и мать сказала печально:

— Манька, а где гуска наша?

Она плакала, и слезы текли по щекам, и отец, суровый, всегда молчаливый, подошел к ней, погладил по голове, сказал: — Не плачь, доню, не плачь. И ей казалось, что и сейчас она плачет от сладкого счастья, когда почувствовала на своих волосах ласковую шершавую руку отца. В этот горький последний вечер ее жизни словно исчезло время, и в хату, которую она должна была покинуть, вновь пришло ее детство, и девичество, и первые годы замужней жизни. Она слышала плач своих грудных детей, и веселый хитрый попят подруг, она видела сильного молодого черноволосого мужа, он угощал за столом гостей, и она слышала звяканье вилок, хруст соленых огурцов, крепких, как яблоки. Это бабка научила ее солить огурцы. Гости заехали, и она подтягивала им молодым своим голосом и чувствовала на себе взгляды мужиков, и муж гордился ею и, ласково покачивая головой, старик Афанасий говорил: — Ой, то Марья..

Должно быть она заснула. Потом ее разбудил шум необычайный, дикий, такого шума никогда не было в ее родном селе. Проснувшийся Ляня звал ее: — Бабушка, бабушка, вставай скорей! Бабушка, я тебя очень прошу, не

нужно спать. Быстро подошла она к окошечку, отодвинула занавеску, посмотрела.

Ночь ли то была или пришел новый страшный день? Все стало красно-розовым, словно всю деревню — и низенькие хаты, и стволы берез, и сады, и заборы — облило кровавой водой. Слышались выстрелы, гудение автомобильных моторов, слышались крики. Немцы ворвались в деревню. Вошла орда... Так вошла орда, пришедшая с запада, — с совершенными радиопередатчиками, с аппаратурой из никеля, стекла, вольфрама, молибдена, с шинами на машинах, сделанными на заводах синтетического каучука. И, словно стыдясь совершенных машин, созданных, вопреки им, европейской наукой и трудом, фашисты намалевали на них символы своей жестокой дикости — медведей, волков, лис, драконов, человеческие черепа с перекрещенными костями.

Мария Тимофеевна поняла, что пришла ее смерть.

— Леня, — сказала она, — беги к пастуху, к Василию Карповичу, — он тебя выведет, он пройдет с тобой к папе.

Она помогла внуку одеться.

— Где моя шапочка? — спросил он.

— Теперь тепло, пойди без шапочки, — сказала она.

Он, словно взрослый, сразу понял, почему не нужно надевать матросскую курточку с золотыми пуговицами.

— Наган и рыболовные крючки можно взять? — тихо спросил он.

— Бери, бери, — и она передала ему игрушечный черный револьвер.

Мария Тимофеевна обняла внука и поцеловала его в губы. Она сказала ему:

— Иди, Ленчик, скажи отцу: кланялась тебе маты, низко, до самой земли, а ты, внучек, помни бабу, не забывай меня.

Он выбежал из хаты в тот момент, когда немцы шли к их двору.

— Огородами беги, огородами, — крикнула ему вслед бабушка.

Он бежал, и, казалось, слова ее прощания навеки утонули в смятенной детской душе. И не знал он, что слова эти вновь возникнут в памяти и никогда уже не забудутся им.

Мария Тимофеевна встретила немцев на пороге хаты. Она увидела, что за спиной у них стоит старик Котенко. И даже в эту страшную минуту Марию Тимофеевну поразили глаза старика: жадно, пылливо смотрели они на нее, искали в лице ее растерянности, страха.

Высокий, худой немец с запыленным, грязным и потным лицом спросил ее по-русски, старательно, словно печатая крупными азбучными буквами:

— Вы мать комиссара?

И она, чуя смерть, еще больше выпрямила свой прямой стан, сказала протяжно и тихо:

— Я его маты.

Немец посмотрел медленно и внимательно ей в лицо, посмотрел на портрет Ленина, потом поглядел на печь, на разобранную постель. Стоявшие за его спиной солдаты оглядывали хату, и старуха обострившимся до прозрения взором ловила их быстрые, деловые взгляды, обращенные к крышке молока на столе, к вышитым красными петухами полотенцам, к пшеничным хлебам, к куску сала, наполовину завернутому в чистую холщевую тряпицу, к бутылке вишневой наливки, торевшей рубиновыми искрами на подоконнике.

Один из солдат сказал что-то негромко и добродушно, остальные рассмея-

лись. И опять Мария Тимофеевна поняла своим обострившимся до святого прозрения чутьем, о чем говорили солдаты. Это была простая солдатская шутка по поводу хорошей еды, попавшейся им. И старуха содрогнулась, вдрог поняв то страшное равнодушие, которое немцы испытывали к ней. Их не интересовала, не трогала, не волновала великая беда семидесятилетней женщины, готовой принять смерть. Просто старуха стояла перед хлебом, салом, полотенцами, полотном, а им хотелось есть и пить. Она не возбуждала в них ненависти, ибо она не была для них опасна. Они смотрели на нее так, как смотрят люди на кошку, телянка. Она стояла перед ними, ненужная старуха, для чего-то существовавшая на жизненно необходимом для немцев пространстве.

Нет и не было на земле ничего страшней, чем такое равнодушие к людям. Немцы двигались вперед, отмечая на картах маршруты, записывая в дневники количество съеденного меда, описывая дожди, купания в реках, лунные ночи, беседы с товарищами. Очень немногие из них писали об убийствах в бесчисленных деревнях с трудными, быстро забываемыми названиями. Это казалось законным и скучным делом.

— Где сын комиссара?— спросил немец.

— А ты с дитмы тоже воюешь, гад?— спросила Мария Тимофеевна.

Она осталась лежать на пороге хаты, и немецкие танкисты старательно переступали через лужу черной крови, ходили взад и вперед, вынося вещи, оживленно толкая между собой:— Хлеб совсем еще теплый.— Если бы ты был порядочным парнем, то из пяти полотенец хотя бы одно дал мне. А? Как ты считаешь? У меня ведь нет ни одного такого, с петухами.

• • •

Носреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью. На столе были мед, сметана, украинская домашняя колбаса, шингованная салом и чесноком, большие темные кринки с молоком. На столе кипел самовар.

Сергей Иванович Котенко в черном пиджаке, поблескивающим от нафталиновых чешуек, в черном жилете, в белой, дорогого тонкого полотна, вышитой рубахе, принимал немецких гостей — майора, командира танкового отряда и смуглого пожилого офицера в золотых очках с белым черепом на рукаве мундира. Офицеры устали после долгого ночного перехода, лица их были бледны.

Майор выпил стакан темнокоричневого томленого молока и, зевая, сказал:— Это молоко мне очень нравится, оно напоминает шоколад.

Сергей Иванович, придвигая гостям тарелки, говорил:

— Кушайте, пожалуйста. Что же вы ничего не кушаете?

Но уставшим офицерам не хотелось есть, они зевали, вяло поворачивали вилками колечки колбасы на тарелках.

— Надо бы выставить этого старца, да и супругу его,— сказал офицер в очках,— я буквально задыхаюсь от запаха нафталина, в пору надеть противогаз.

Майор рассмеялся.

— Попробуйте меда,— сказал он,— жена мне пишет: ешь побольше украинского меда.

— Мальчишку не нашли?— спросил офицер в очках.

— Нет, пока нет.

Майор взял маленький кусочек хлеба, покрыл глыбкой масла, затем нащупал ложкой засахарившийся ком меда и взгромоздил его на хлебный кусочек, быстро проглотил и запил несколькими глотками молока.

— Серьезно нешлох,— сказал он,— уверяю вас.

Ботенко очень хотелось спросить, кому нужно заявить о своих правах на дома, колхозную конюшню, ульи, сад. Но непонятное чувство робости охватило его. Раньше, казалось ему, он сразу же с приходом немцев почувствует себя легко и свободно, он будет сидеть с ними за столом, беседовать, рассказывать. Но они не пригласили его сесть, в их насмешливых зевающих лицах видел он равнодушие и скуку. Разговаривая с ним, они нетерпеливо морщились, его настороженное ухо ловило непонятные немецкие слова, видимо, сказанные с насмешкой и презрением о нем, о жене его.

Офицеры встали из-за стола, пробормотали одно и то же невнятное слово, должно быть, означавшее ленивое приветствие, и вышли на улицу, направились к школе, куда денщики принесли им постели.

Уже рассвело, догоравшие пожары дымились.

— Ну, што, Мотря, спать ляжешь?— спросил Сергей Иванович.

— Не могу я спать,— сказала жена.

Чувство тревоги, страха все больше охватывало Ботенку. Он отглядел стол, нетронутую еду. Он ведь так мечтал о веселом торжественном пиршестве, о прочувствованном слове, которое скажет при начале новой, богатой жизни.

Он лег на постель, но долго не мог уснуть. В голову лезли мысли о сыновьях, погибших в Красной Армии, о старухе Чередниченко. Он не видел ее последних минут; когда она замахнулась на офицера, Сергей Иванович выбежал во двор, стал у забора. Он услышал выстрел из хаты, и зубы у него застучали от волнения. Но офицер, вышедший к нему, был так спокоен, солдаты, тащившие вещи из хаты, так добродушно и деловито переговаривались, что Сергей Иванович успокоился. «Совсем одурела старуха,— подумал он,— офицера по лицу бить надумала». Он закричал, повернулся на бок. Запах нафталина мучил его. Голова стала от этого запаха тяжелой, сильно ложило в висках. Он тихо приподнялся, подошел к сундуку, где лежала зимняя одежда, и вынул спрятанные женой фотографии сыновей в буденновках, с саблями на боку. Мельком поглядев на пристально, с любопытством глядевших на него с портретов скуластых круглоглазых парней, он начал рвать фотографии и обрывки бросил под печку. После этого он снова лег. Ему сразу отчего-то стало грустно, спокойно. «Теперь все так и будет, как хотел»,— подумал он и уснул.

Проснулся он в десятом часу и вышел на улицу. Деревня была полна пыли. Все новые огромные грузовики с пехотой въезжали на деревенскую улицу. Солдаты толпами бродили по хатам. Их худые, загоревшие лица глядели подозрительно и чуждо.

«Вот это сила»,— подумал Сергей Иванович. Он услышал крики со стороны колодца и оглянулся. Дочка Черевиченко Ганна торопясь шла с ведрами к своему дому, ее большими шагами нагонял высокий малый в желтых буцах на толстой подошве.— Ой, люди добрые, наша хата горить, зажгли, проклятые, и тушить не дают!— плача кричала она.

Высокий солдат нагнал ее, заставил поставить ведра, что-то быстро заговорил, взял за руку, стал заглядывать в заплаканные глаза. Подошли еще два

солдата и смеясь стали говорить, растопырили руки, чтобы не дать девушке дороги. А соломенная крыша пылала ярким желтым огнем, веселым, живым, беспечным, как утреннее летнее солнце. Пыль застилала улицу, пыль ложилась на лица людей, запах гари наполнял воздух, над прогоревшими пожарищами кадили белые дымки, тонкие и высокие печные трубы печальными памятниками стояли над погибшим жильем. В некоторых печах стояли горшки, чугуны. Бабы и дети, с красными от дыма глазами, копались в пожарищах, вытаскивали обгоревшую утварь, сковороды, уцелевшую чугунную посуду. Сергей Иванович увидел двух немцев, готовившихся доить корову, один подносил корове на тарелочке посоленную, мелко нарезанную картошку. Коровы недоверчиво подбирали лакомство мокрой губой и косились на второго немца, приспособившего эмалированное ведро под ее вымя. Возле пруда слышалась оживленная немецкая речь, испуганный крик гусей. Несколько солдат, прыгая по-лягушачьи, расставив руки, ловили гусей, которых выгоняли из пруда двое совершенно одинаковых рыжих парней, стоявших по пояс в воде. Рыжие вышли из воды и нагибом подошли к старухе-учительнице Анне Петровне, шедшей через площадь. Они скорчили рожи и стали приплясывать. Солдаты хохотали, глядя на этот танец.

Сергей Иванович пошел к школе; там на качелях, где во время перемены играли дети, висел председатель колхоза Грищенко. Босые ноги его вот-вот собирались коснуться земли — живые ноги с мозолями, кривыми пальцами. Его потемневшее лицо, налитое ступившейся кровью, смотрело прямо на Сергея Ивановича, и Сергей Иванович ахнул: Грищенко смеялся над ним. Страшным, диким взором смотрел он, высовывая язык, склонивши тяжелую голову, спрашивал: «Что, Котенко, дождался немцев?»

Помутилось в голове у Сергея Ивановича. Он хотел крикнуть, но не мог, махнул рукой, повернулся и пошел. «Вот она, моя конюшня», — вслух сказал он, внимательно разглядывая черные следы пожарища — торчащие балки, стропила, столбы. Он пошел на пасеку и издали увидел разоренные, перевернутые ульи, услышал тугое гуденье пчел, словно охранявших тело молодого пчеловода, лежащее под ясенем. «Вот она, моя пасека, — сказал он, — вот она, моя пасека». И он стоял, смотрел на темную кучу пчел, вившихся над мертвым телом пчеловода. Он пошел посмотреть колхозный сад, — ни одного яблока, ни одной груши не было на ветвях. Солдаты пилили фруктовые деревья, рубили их топорами, ругая упорные волокнистые шпеленя. «Грушу и вишню тяжелее всего рубать, — подумал Сергей Иванович, — у них волокно перекручено».

Кухни дымилась в колхозном саду. Повара щипали гусей, счищали бритвами щетину с зарезанных молодых кабанчиков, чистили картофель, морковь, бурачки, принесенные из колхозного огорода. Под деревьями лежали, сидели десятки, сотни солдат и жевали, жевали, громко чавкая, прычмокивая, глотая сок белых антоновских яблок, сахарных рассыпчатых груш. И это чавканье, казалось Сергею Ивановичу, заглушало все звуки: и гудки подъезжавших все новых и новых машин, гудение моторов, крик, протяжное мычанье коров, птичий гомон. И, казалось, раздайся с неба гром — и его бы заглушило это могучее торопливое чавканье сотен мерно, весело жующих немецких солдат.

И все мутилось, мутилось в голове у Сергея Ивановича. Он бродил по деревне, не зная, куда и для чего идет. Бабы, видя его, шарахались в сторону, дети забегали во дворы, прятались в густой траве у заборов, мужчины смотрели на него слепыми, невидящими глазами, проходили мимо него, не отвечая на

его вопросы; старухи, не боящиеся смерти, грозили ему сухими коричневыми кулаками и ругали поганым, тяжелым словом. Он шел по деревне и смотрел по сторонам. Черный пиджак его покрывался слоем пыли, потное лицо стало грязным, голова мучительно болела. И ему казалось, что так ломит в висках от тяжелого, крепкого запаха нафталина, все ползущего в его ноздри, что шумит в ушах от дружного веселого чавканья.

А черные машины все шли, шли в желтой и серой пыли, все новые худые немцы соскакивали через высокие черные борта на землю, не дожидаясь, пока откроют задний борт с лесенкой, и разбежались по белым хаткам, лезли в огороды, сады, сараи, птичники.

Сергей Иванович пришел домой и остановился на пороге. Пышный стол, приготовленный им с вечера, был загажен, заблеван, на нем валялись опрокинутые пустые бутылки. Шьяные немцы, шатаясь, бродили по комнатам; один кочергой шупал черное чрево печи, другой, стоя на табуретке, снимал с иконы новые вышитые полотенца, повешенные накануне вечером. Увидя Сергея Ивановича, он подмигнул и быстро произнес длинную немецкую фразу. А из кухни шло громкое, быстрое, веселое чавканье: немцы ели сало, яблоки, хлеб. Сергей Иванович вышел в сени, там в темном углу, возле кадучки с водой, стояла жена.

Страшная боль сжала ему сердце. Вот она, молчаливая, покорная, послушная жена его, ни разу в жизни не перечившая ему, ни разу в жизни не сказавшая ему громкого, грубого слова.

— Мотря, бедная моя Мотря,— тихо произнес он и вдруг замолчал. На него глядели ярко, молодые глаза.

— Карточки сынов моих хотила унести,— сказала она, и он не узнал ее голоса,— а ты ночью их порвал и кинув под печку.— И она навсегда вышла из опоганенного дома.

А Котенко остался в полутемных сенях. Перед ним мелькнул кулак-эстонец в красном обшитом мехом полушубке, зачавкал сочно, весело, громко... И, словно в светлом лунном круге, вдруг увидел он Марию Чередниченко, с седыми выбившимися волосами, освещенную пламенем пожара. Жгучая зависть к ней вновь поднялась в нем. Он теперь завидовал не жизни ее, он завидовал ее чистой смерти... На миг открылась ему страшная пропасть, в которую упала его душа.

Он начал шарить рукой, отыскивая ведро с веревкой. Ведро по-знакомому грохотнуло, но веревки не было на нем. Ее унесли немцы.

— Нет, брешешь,— пробормотал он и, сняв со штанов тонкий, крепкий ремешок, стал тут же, в темноте сеней, ладить петлю, крепить ее к крюку, вбитому над кадучкой.

Х

Ночью на командном пункте полка Мерцалов и Богарев ужинали. Они ели мясные консервы из маленьких банок. Мерцалов, поднося ко рту кусок мяса с белым застывшим салом, сказал:

— Некоторые их разогревают, но, по-моему, холодными вкусней.

После консервов поели хлеба с сыром, потом начали пить чай. Мерцалов разбил тыльной частью штыка, служившего им ножом для открывания консервов, большую тлыбу сахара. Маленькие осколки сахара летели во все сто-

роны, и начальник штаба тревожно закричал, — несколько острых кусочков попали ему в лицо.

— Да, забыл совершенно, — сказал Мерцалов, — у нас ведь есть малиновое варенье. Как вы относитесь к этому делу, товарищ комиссар?

— Отношусь весьма положительно, кстати, мое любимое варенье.

— Ну, вот замечательно. А я-то как раз предпочитаю вишневое. Вот это уж варенье!

Они взяли в руки большой жестяной чайник.

— Осторожней, осторожней. Он весь черный, должно быть кипятили его на костре.

— Кипятили-то его на кухне полевой, а вот подогревал Проскуров на костре, — улыбаясь сказал Мерцалов.

— Да, опыт полевой жизни у вас, товарищ Мерцалов, раз в семьдесят больше моего. Куда варенье? Прямо в кружку, проще всего.

Они оба одновременно шумно отхлебнули чай, одновременно подняли головы, глянули друг на друга и улыбнулись.

Эти несколько дней сблизили их; вообще фронтная жизнь сближает людей стремительно. Пожил с человеком сутки, и уж кажется, все знаешь о нем: привычки его в еде, и на каком боку он любит спать, и не скрипит ли он, упаси бог, во сне зубами, и куда эвакуирована его жена, а подчас узнаешь такое, что в мирное время и за десять лет не разглядишь в самом близком своем приятеле. Крепка дружба, скрепленная кровью и потом боев. Попивая чай, Богарев завел разговор на важную тему.

— Как вы считаете, товарищ Мерцалов, удачен ли был наш ночной налет на совхоз, где стояли немецкие танки? — спросил он.

— Ну, как ответить, — усмехаясь сказал Мерцалов, — ночью внезапно ворвались, противник бежал, мы заняли населенный пункт. Нам ордена за это дело полагаются. А вы считаете неудачным, товарищ комиссар? — улыбаясь спросил он.

— Конечно, неудачным, — сказал Богарев, — совершенно неудачным.

Мерцалов приблизился к нему и проговорил:

— Почему?

— Как почему? Танки ушли. Шутка ли: наладь мы получше взаимодействие, ни один танк бы не ушел. А получилось: каждый командир батальона действовал сам по себе, не зная о соседе. Ну, и не получился удар по центру, где танки сосредоточились. Это раз. Теперь второе — немцы начали отступать. Надо было перенести огонь артиллерии на дорогу, по которой они отход совершали, мы бы их там уйму положили, а артиллерия наша после огневого налета замолчала, оказывается, связь с ней порвалась, ну, и не получила новой задачи. Мы их разбить должны были, уничтожить, а они ускользнули.

— Именно, — продолжал Богарев, отсчитывая на пальцах, — тут еще много упущений. Например, надо было часть пулеметов заслать в тыл к ним, ведь вот она роща, прямо для них приготовлена; они бы встретили отступающих, а мы все в лоб, в лоб жали, во фланги по-настоящему не зашли.

— Действительно, — сказал Мерцалов, — они выставили заслончик из автоматов, задержали ваш огонь.

— За что же тут ордена давать? — спросил Богарев и рассмеялся. — Разве за то, что командир полка, известный товарищ Мерцалов, в самый сложный момент, вместо того, чтобы управлять огнем и движением винтовок, пулеметов,

автоматов, тяжелых и легких пушек, ротных и полковых минометов, сам схватил винтовку и побежал впереди роты? А? А дело было необычайно сложное, тут командиру полка не бегать бы с винтовкой, а думать так, чтобы пот на лбу выступил, принимать быстрые, ясные решения.

Мерцалов отодвинул кружку и обиженно спросил:

— Ну, что еще думаете, товарищ комиссар?

— Думаю я многое,— усмехнулся Богарев.— Оказывается, под Могилевом примерно такая же картина была: батальоны действовали каждый порознь, а командир полка шел в атаку с разведывательной ротой.

— Так, что же еще?— медленно спросил Мерцалов.

— Что же, вывод ясен, в полку нет должного взаимодействия; подразделения, как правило, с запозданием вступают в бой, вообще движется полк медленно, неповоротливо, связь во время боя работает скверно, из рук вон скверно. Наступающий батальон не знает, кто у него справа,— сосед или противник. Замечательное оружие используется плохо. Минометы, к примеру, вообще в бой не вводятся, их всюду таскают с собой, но, оказывается, многие из них вообще огня не ведут. Полк не применяет фланговых заходов, не стремится в тыл противнику. Жмет в лоб и баста.

— Так, так. Это прямо интересно,— проговорил Мерцалов.— Какой же вывод из всего этого?

— Какой же вывод,— сказал с раздражением Богарев,— вывод, что полк дерется плохо, хуже, чем ему положено.

— Так, так. А вывод, вывод, самый, так сказать, основной?— спрашивал все настойчивей Мерцалов.

Ему, видимо, казалось, что комиссар не захочет сказать последнее слово.

Но Богарев спокойно проговорил:

— Вы человек смелый, не жалеющий своей жизни, но плохо командуете полком. Ну да. Война сложная. Участвуют в ней авиация, танки, масса огневых средств, все это быстро движется, взаимодействует, на поле боя каждый раз возникают комбинации и задачи посложней шахматных, их решать надо, а вы все же уклоняетесь от их решения.

— Значит, не годится Мерцалов?

— Уверен, что годится. Но я не хочу, чтобы Мерцалов думал, что все в порядке, что нечему больше учиться. Если Мерцаловы так будут думать, они немцев не победят. В этой битве народов мало знать арифметику войны; чтобы лупить немцев, надо знать высшую математику.

Мерцалов молчал. Богарев добродушно проговорил:

— Почему же вы чай не пьете?

Мерцалов отодвинул чашку.

— Не хочу,— сказал он мрачно.

Богарев рассмеялся.

— Видите,— сказал он.— У нас сразу установились товарищеские отношения. Я очень был рад этому. Сейчас мы пили чай с чудесным машинным вареньем. Я вам наговорил разных кислых, противных слов, сорвал, так сказать, чаепитие. Ну вот, думаете, мне приятно, что вы сердитесь, на меня обижены, вероятно, кроете меня самыми крепкими словами? Неприятно. И все же я доволен, от души доволен, что все это происходит. Нам ведь не только дружить, нам побеждать надо. Сердитесь, Мерцалов, это дело ваше, но помните,— я вам говорил серьезные вещи, правду я вам говорил.

Он поднялся и вышел из блиндажа.

Мерцалов хмуро глядел ему вслед, потом вдруг вскочил, закричал, обращаясь к проснувшемуся начальнику штаба:

— Товарищ майор, слышал, как он меня отчитывал? А? Кто я ему? А? Подумай только! Я Героя Советского Союза получил, у меня четыре ранения в грудь.

Начальник штаба, зевая, сказал:

— Человек он тяжелый, я это сразу определил.

Мерцалов, не слушая его, произнес:

— Нет, это подумать надо. Пьет чай с малиновым вареньем и спокойно так говорит:— Вывод какой? Очень простой: вы, говорят, плохо полком командуете. Ну, что ты ему скажешь? Я даже растерялся, до того неожиданно. Это мне-то, Мерцалову...

XI

Ночью Мерцалова вызвал по телефону командир дивизии полковник Петров. Разговаривать было очень трудно, связь все время нарушалась, слышимость была на редкость северной. Под конец разговора связь порвалась окончательно. Мерцалов понял из слов полковника, что обстановка на участке дивизии в последние часы резко ухудшилась. Он приказал разбудить Мышанского и велел ему поехать в штаб дивизии. До штаба было 12 километров. Мышанский вернулся через час с письменным приказанием командира дивизии. Немецкая танковая колонна с большим количеством мотопехоты вошла в тыл дивизии, воспользовавшись тем, что болото восточней большого лиственного леса высохло за жаркие и сухие дни августа. Немцы вышли к шоссе, минуя большак, который оборонялся полком Мерцалова. В связи с новой обстановкой дивизия получила приказ занять рубеж обороны южнее занимаемого ею сейчас пункта. Полу Мерцалова с приданным ему гаубичным дивизионом приказано было отходить, прикрывать большак. Мышанский рассказал, что при нем в штабе дивизии уже сматывали связь, снимали шестовку и грузили вещи на машины, что два стрелковых полка, дивизионная артиллерия и гаубичный полк в десять часов вечера уже вытянулись походным порядком, что медсанбат ушел в шесть часов вечера.

— Значит, Анички не видел?— спросил лейтенант Козлов.

— Какая Аничка,— сказал Мышанский,— при мне приехали делегаты связи, один из штаба армии, второй от правого соседа, майор Беляев, я с ним еще в Бресте встречался, говорит, на их участке день и ночь кровавые бои. Наша артиллерия что-то страшное наворотила, а они прут и прут.

— Да, положение создается крепкое,— сказал начальник штаба.

Мышанский нагнулся к нему и проговорил негромко:

— Это можно одним словом выразить — «окружение».

Мерцалов сердито сказал:

— Бросьте вы об окружении говорить, действовать надо, согласно боевому приказу.— Он обратился к дежурному:— Вызвать командиров батальонов и командира гаубичного дивизиона. Где комиссар?— спросил он.

— Комиссар у таперов,— ответил начальник штаба.

— Попросите его на КП.

Ночь была темной, тихой и очень тревожной. Тревога была в дрожащем

свете звезд, тревога тихо шуршала под ногами часовых, тревога темными тенями стояла среди ночных неподвижных деревьев, тревога, поскрипывая сучьями, шла с разветчиками и не оставляла их, когда, пройдя мимо боевого охранения, они подходили к штабу полка. Тревога плескала и журчала в темной воде у мельничной плотины, тревога была всюду — в небе, на земле, на воде. Наступили минуты, когда на каждого входящего в штаб смотрели пугливо, ожидая недоброй вести, когда далекие зарницы заставляли настораживаться, и от пустого шороха часовые вскидывали винтовки и кричали:— Стой, стреляю! И в эти минуты Богарев с молчаливым восхищением наблюдал за Мерцаловым, командиром стрелкового полка. Он один говорил весело, уверенно, громко. Он смеялся и шутил. В эти часы ночной тяжелой опасности вся великая ответственность за тысячи людей, за пушки, за землю лежала на нем. Он не томился этой ответственностью. Сколько драгоценных свойств человеческого духа зреют, крепнут за одну такую ночь в душе человека. И тысячи лейтенантов, майоров, полковников, генералов и комиссаров переживали на протяжении огромного фронта часы, недели, ночи, месяцы этой великой закаляющей и умудряющей тяжелой ответственности.

А Мерцалов растолковывал задачу окружавшим его командирам. Казалось, множество прочных связей устанавливалось между ним и людьми, лежавшими в темном лесу, стоявшими в боевом охранении, дежурившими на огневых позициях у пушек, глядящими во мрак ночи с передовых наблюдательных пунктов. Он был весел, спокоен, прост, этот тридцатипятилетний майор с рыжеватыми волосами, скуластым загорелым лицом, со светлыми, казышными то серыми, то голубыми глазами.

— Поднимем по тревоге батальоны?— спросил начальник штаба.

— Пусть еще час поспят ребята. Проснуться бойцу недолго,— сказал Мерцалов.— Спят-то, небось, в сапогах.

Он посмотрел на Богарева и проговорил:

— Прочтите приказ от командира дивизии.

Богарев прочел приказ, указывавший полку направление движения и задачу — до вечера сдерживать одним батальоном движение немцев по большаку, а остальными силами держать переправу через речку Уж.

— Да, вот еще что,— сказал Мерцалов, словно вспомнив о каком-то пустяке. Он вытер платком лоб.— Ну и жара, может быть выйдем, воздухом подышим?

Несколько мгновений они простояли молча в темноте. Мерцалов сказал негромко:

— Вот какая штука. Минут через пятнадцать после того, как Мышанский проехал, немцы перерезали дорогу. Связи со штабом дивизии у меня нет, с соседями тоже. В общем полк в окружении. Я принял решение. Полку идти к переправе, выполнить задачу, а затем пробиваться на соединение, а батальон Бабаджаньяна с гаубицами остается на лесном участке дороги, чтобы сдерживать противника.

Они помолчали.

— Черти, все время трассирующими з небо пускают,— сказал Мерцалов.

— Что же, решение ваше правильное,— сказал Богарев.

— Ну вот,— Мерцалов посмотрел на небо,— ракета зеленая. С батальоном я останусь... Вот еще ракету запустили.

— Ни в коем случае, ни в коем случае,— сказал живо Богарев,— с ба-

Тальоном должен остаться я, и я вам докажу, почему должен остаться я, а вы должны вести полк.

И он доказал это Мерцалову. Они простились в темноте, Богарев не видел лица Мерцалова, но он чувствовал, что тот помнит тяжелый разговор за чаепитием.

Через час потянулись полковые обозы, лошади бесшумно шагали по дороге, негромко фыркали, точно понимали, что нельзя нарушать тишину тайного ночного движения. Красноармейцы шли молча из темноты и вновь уходили в темноту. Из темноты на них молча глядели те, кто оставался. В этом молчаливом прощании батальонов была великая торжественность и великая печаль.

До рассвета выехали на огневые позиции орудия гаубичного дивизиона. Артиллеристы рыли щели землянки, тащили из леса ветви для маскировки орудий. Командир дивизиона Румянцев и комиссар Невтулов руководили устройством складов боеприпасов. Они выбирали танкоопасные направления и, пытаясь угадать внезапности надвигающегося боя, устанавливали орудия, прокладывали ходы сообщения, указывали места для рытья окопов. В их налаженном хозяйстве имелись запасы бутылок с горючей жидкостью и тяжелые, как утюги, противотанковые гранаты. Богарев познакомил их с предстоящей задачей.

— Задача тяжелая, — сказал Румянцев, — но бывали у нас и такие задачи.

Он заговорил о тактике немецких танковых атак, о сильных и слабых сторонах немецких пикировщиков и истребителей, об особенностях германской артиллерии.

— У меня есть мины, — сказал Румянцев, — может заминируем дорогу, товарищ комиссар?

— Тут прямо идеальное место для минирования в километре от совхоза: с одной стороны — овраг, с другой — густая рощица, объездов у противника не будет, — кашляя, добавил Невтулов.

Богарев согласился с ними.

— Сколько вам лет? — спросил он внезапно Румянцева.

— Двадцать четыре, — ответил Румянцев и, как бы оправдываясь, добавил: — но я воюю с двадцать второго июня.

— Ну, и как воевали? — спросил Богарев.

— Могу дать справку, — сказал Невтулов, — если имеете свободных три минуты, товарищ комиссар.

— Да, да, ты прочти, Сережа. Он ведь у нас ведет такой дневник с первого дня, — сказал Румянцев.

Невтулов вынул из полевой сумки тетрадку. При свете электрического фонарика Богарев увидел, что обложка тетради украшена затейливо вырезанными накладными буквами из цветной бумаги.

Невтулов начал читать: «Двадцать второго июня полк получил приказ выступить на защиту родины, и в 15.00 первый дивизион капитана Румянцева дал мощный залп врагу. Двенадцать стошятидесятидвухмиллиметровых гаубиц каждую минуту выбрасывали на фашистские головы полторы тонны металла...»

— Хорошо пишет Сережа, — с убеждением сказал Румянцев.

— Читайте дальше, — попросил Богарев.

«Двадцать третьего полк уничтожил две артиллерийских батареи, три минометных батареи и более полка пехоты, фашисты отступили на 18 километров.

В этот день гаубичный полк израсходовал тысячу триста восемьдесят снарядов. Двадцать пятого июня дивизион капитана Румянцева вел огонь по переправе Каменный Брод. Переправа разбита, уничтожены рота мотоциклистов и две роты пехоты...

— Ну, и в том же духе изо дня в день,— сказал капитан Румянцев,— неправда ли, он хорошо пишет, товарищ комиссар?

— Воюете вы неплохо, это бесспорно,— сказал Богарев.

— Нет, серьезно, у Сережи литературное дарование,— сказал Румянцев,— он ведь перед войной рассказ целый напечатал в «Смене».

«Здесь порядок,— подумал Богарев,— пойду к Бабаджаньяну».

Когда он отходил, осторожно щупая погой дорожку, ничего не видя после яркого света фонарика, до него дошел голос Румянцева:

— Бесспорно также то, что завтра нам в шахматки не играть.

— Куда вы тягачи поставили, Румянцев?— спросил, остановившись, Богарев.

— Все тягачи, грузовики и горючее в лесу, товарищ комиссар, они смогут подъехать к огневым по дорожке, не простреливаемой противником,— ответил в темноту Румянцев.

Богарев встретился с Бабаджаньяном на командном пункте. Бабаджаньян рассказал о подготовке батальона к обороне. Богарев, слушая его, поглядывал на черные блестящие глаза, на впалые смуглые щеки командира батальона.

— Почему у вас такие печальные глаза сегодня?— спросил Богарев.

Бабаджаньян махнул рукой.

— Я с начала войны, товарищ комиссар, писем не получал от жены и детей, оставил их в Коломне, в шести километрах от румынской границы.— Он грустно улыбнулся и сказал:— Вот я себе вбил в голову, что завтра день рождения жены и я получу обязательно письмо. Ну, не письмо, то хотя бы какое-нибудь известие. Ждал, ждал этого дня, целый месяц ждал, а сегодня полк в окружение попал. А наша полковая почта плохо работала, когда хорошая связь была. А теперь крест надо ставить, писем долго не будет.

— Да, завтра письма вам не будет,— сказал Богарев задумчиво.

— Интересно,— вдруг сказал он,— мне приходилось часто видеть теперь, что люди семейные, очень любящие своих детей, жен, матерей, воюют как-то особенно хорошо.

— Это верно,— сказал Бабаджаньян,— я вам в батальоне у себя докажу это. Вот один из лучших моих бойцов Родиццев, и много таких.

— Я знаю еще один пример в вашем батальоне,— сказал Богарев.

— Ну, что вы, товарищ комиссар,— смутился Бабаджаньян и оживленно добавил:— а понять это можно — отечественная война!

XII

Немцы пошли с рассветом. Танкисты, открыв верхние люки, жевали яблоки, поглядывали на восходящее солнце. Некоторые из них были в трусах и спортивных рубашках с широкими короткими рукавами, не доходящими до локтей. Головной тяжелый танк шел несколько впереди, командир машины, пышнотелый немец с красной ниточкой мораллов, перетягивающей у локтя его пухлую белую руку, повернул свое большое лицо с крупными веснушками в сторону солнца и зевал. Из-под берета у него выбилась длинная прядь светлых волос.

Он сидел на танке, словно идол солдатской самоуверенности, словно бог неправедной войны. Его танк уже отошел не меньше шести километров от Марчикиной Буди, а железный хвост колонны, еще не успев развернуться, погромыхивал, медленно разворачиваясь на деревенской площади. Быстро, словно стая стремительных шучек, вдруг прыгнувших меж тяжелых карпов, промчались, обгоняя танки, мотоциклисты. Объезжая танки, они не сбавляли скорости, и их сильно подбрасывало на неровностях дороги, темно-зеленые коляски мотались, тряслись, стараясь оторваться от мотоциклов. Проезжая мимо головного танка, согнувшись, худые, темнотищые мотоциклисты, загоревшие от езды под солнцем, быстро, не поворачивая головы, поднимали для приветствия руку и вновь прилеплялись к рулевому управлению. Толстяк ленивым движением пухлой руки отвечал на приветствия мотоциклистов. Рота мотоциклистов промчалась вперед, увлекая за собой белые холщевые хвосты пыли. Восходящее солнце окрасило эту пыль в розовый цвет, она колебаясь повисала над дорогой, и головной танк, деловито жужжа, въезжал в легкое пыльное облако. В высоте, тонко свистя, прошли «Мессершмитты-109». Тонкие стрекозы тела мессеров двигались то вправо, то влево, поднимались вверх, стремительно шли вниз; иногда, обогнав голову танковой колонны, они возвращались назад, быстро делая крутые виражи. Их свист был так пронзительно тонок, что его не могло заглушить низкое могучее рокотание танков. Мессеры снижались над каждой рощицей, обирая, обшаривали участки поля с несжатой пшеницей. Вслед за танками, фыркая, выезжали на дорогу черные трехосные грузовики с мотопехотой. Солдаты сидели рядами на откидных скамьях, все в шилотках набекрень, с черными автоматами в руках. Их машины шли в облаках пыли такой густой, что даже могучее летнее солнце не могло пробить ее. Пыль широким и длинным облаком неслась над полем и рощами, деревья тонули в густом мглистом тумане, и, казалось, земля горит в чадном сухом дыму.

Это было классическое движение моторизованных колонн немцев, разработанное и проверенное. Толстяк в берете точно так же сидел на танке, когда в пять часов утра десятого мая 1940 года его головная тяжелая машина пошла по округло обвивавшем холмы шоссе, меж каменных изгородей среди зеленых виноградников Франции. Так же мимо него на точно засеченной минуте пронеслись мотоциклисты, также рыскали по небу Франции самолеты из отряда прикрытия. Ранним ясным утром 1 сентября 1939 года шла его машина мимо пограничного знака на польской дороге, среди высоких буковых стволов, и тысячи быстрых солнечных пятен бесшумно прыгали по черной броне. Так всей тяжестью въехала колонна танков на белградское шоссе, и смуглое тело Сербии хрустнуло, забилось под быстрыми гусеницами. Так вырвался он первым из прохладного полутемного ущелья и увидел ярко-синее пятно Салоникского залива, скалистого берега... И он позевывал, привычный ко всему, этот идол неправедной войны, чьи фотографии печатались во всех мюнхенских, берлинских, лейпцигских иллюстрированных газетах и журналах.

С восходом солнца командиры поднялись на вершину холма. Бабаджаньян попросил у Румянцева бинокль и внимательно оглядел дорогу. Богарев смотрел на картину утренней радости мира, вставшего после ночи в прохлате, росе, легком тумане, среди коротких, робких стрекотавий кузнечиков. Деловито и хмуро прошел, увязая в песке, черный жук, шли на работу муравьи, стайка птиц прыснула с ветвей дерева и, попробовав выкупаться в едва нагретейшей от первых прикосновений солнца пыли, с криком полетела к ручью.

Необычайно сильны впечатления войны для человека. Вечный мир природы меркнет перед образами, порожденными войной, и людям на холме казалось, что легкие облачка в небе — это следы разрывов зенитных снарядов; что далекие тополи — высокие черные столбы дыма и земли, поднятые тяжелыми авиабомбами, что косяки журавлей, идущие по небу, — это строгий строй боевых эскадрилий, что туман в долине — это дым горящих деревень, что кустарники, растущие вдоль дороги, — это замаскированная ветвями автомобильная колонна, ждущая сигнала к отправлению. Не раз приходилось Богареву слушать во время воздушных налетов в вечерних сумерках: — Смотрите, ракету красную немец сбросил, — и насмешливый ответ: — Да нет, какая ракета, это вечерняя звезда. Не раз далекие зарницы в душные летние вечера принимались за вспышки орудийной пальбы... И сейчас, когда с восточной стороны неба прямо с вершин деревьев понеслись стремительные черные галки, показалось, что это самолеты идут, рассыпав строй. — Чорт их знает, — сказал Невтулов, — надо бы галкам запретить летать перед немецкой атакой.

А через несколько секунд, словно сорвавшиеся с вершин деревьев птицы, показались самолеты. Они шли низко над землей, окрашенные в темный цвет, стремительно быстрые, вдруг заполнившие воздух своим тугим гудением.

И по склону холмов, где расположились в блиндажах и окопах красноармейцы, замахали приветственно пилотками, руками: батальон увидел красные звезды на крыльях машин.

— Наши, наши штурмовики! — сказал Бабаджанын.

— Идут илы, на штурмовку, — сказал Румянцев, — глядите, глядите, ведущий покачивает крыльями, — говорит: вижу противника, иду в атаку.

Хороша и сильна дружба оружия. Ее испытали и проверили люди фронта. Сладок и радостен грохот артиллерии, поддерживающей в бою свою пехоту, вой снарядов, летящих в ту сторону, куда идут атакующие войска. Это поддержка не только силой, это поддержка души и дружбы.

Но в этот день, кроме утреннего привета самолетов, не пришлось батальону иметь поддержки. Он был один на поле сражения...

* * *

В поле, метрах в десяти от большака, среди придорожного бурьяна, вырыты ямы. В этих ямах по грудь в земле стоят люди в серо-зеленых гимнастерках, в пилотках с красными звездами. На дне ямы установлены хрупкие стеклянные бутылки, к краю ямы прислонены винтовки. В карманах брюк у красноармейцев — красные кисеты с махрой, смятые во время сна коробки спичек, сухарики и куски сахара, в карманах гимнастерок — потертые листки деревенских писем от жен, огрызки карандашей, завернутые в обрывки армейской газеты, запалы для гранат. На боку у людей, стоящих по грудь в земле, — брезентовые сумочки, в этих сумочках гранаты. Если помотришь, как рылись эти ямы, то увидишь: вот два друга жались один к другому, вот пять земляков, стараясь быть поближе, выкопали свои ямки одна к одной. И хоть сержант говорил: — Не лепитесь, ребята, так близко, не полагается, — но ведь в грозный час германской танковой атаки сладко увидеть рядом потное лицо друга, крикнуть: — Не бросай бычка, я дотяну, — и почувствовать вместе с горячим дымом тепло и влагу смятой губами, надкусанной самокрутки.

Они стоят по грудь в земле, перед ними пустое поле и пустая дорога; вот

пройдет двадцать минут, и стремительные, весящие две тысячи пудов, пушечные танки вырвутся со скрежетом, в крутящихся облаках пыли.— Идут!— крикнет сержант.— Идут, ребята, смотри!

За их спиной, на склоне холма,—пулеметчики в блиндажах, еще выше и дальше, за спиной пулеметчиков, в окопах сидят стрелки, дальше, за их спиной,—огневые позиции артиллерии, а там, дальше,—командный пункт, медсанбат... А дальше, все дальше за их спиной,—штабы, аэродромы, резервы, дороги, заставы, леса, затемненные ночью города и станции, там Москва, и еще дальше, все за их спиной,—Волга, освещенные ночью ярким электрическим светом тыловые заводы, стекла без бумажных полос, освещенные белые пароходы на Каме. Вся великая земля за их спиной. Они стоят в своих ямах, и нет никого впереди них. Они курят самокрутки из армейской газеты, они проводят ладонью по карманам гимнастеров и ощущивают мятые, стертые на сгибах листки писем. Облака над ними, пролетит птица и скроется, они стоят по пруду в земле и ждут, всматриваются. Им отражать натиск танков. Их глаза уже не видят друзей, их глаза ждут врага. Пусть же те, кто сегодня стоят позади них, вспомнят, когда придет день победы и мира, об истребителях танков, о людях в зеленых гимнастёрках с хрупкими бутылками горючей жидкости, с брезентовыми сумочками для гранат на боку... Пусть уступят им место на лавке в зеленом вагоне, пусть поделятся с ними кипятком в дороге.

Слева широкий противотанковый ров, укрепленный толстыми бревнами, тянется от заболоченной речки к дороге, справа от дороги — лес.

Родимцев, Игнатьев, московский комсомолец Седов стоят в земле, смотрят на дорогу. Их ямы близко одна от другой. Справа от них через дорогу стоит Жавелев, старшина Морев, младший политрук Вретик — начальник группы добровольцев, истребителей танков. За их спиной два пулеметных расчета, Глаголова и Кордахица. Если всмотреться, то видны пулеметы, глядящие из темной древесно-земляной пещеры на дорогу; правее и сзади — артиллеристы-наблюдатели, шуршащие среди начавших увядать дубовых ветвей, вкопанных в землю.

— Эй, истребители, пошли рыбу ловить, с утра клюет хорошо,— кричит артиллерист-наблюдатель.

Но истребители не поворачивают к нему головы, ему, конечно, веселей, чем им: перед ним противотанковый ров, слева между ним и дорогой — широкие спины истребителей в обесцвеченных соленым потом гимнастёрках. Глядя на эти спины, загоревшие черно-красные затылки, наблюдатель шутит.

— Покурим, что ли?— спрашивает Седов.

— Можно, пожалуй,— говорит Игнатьев.

— Возьми моего, элей,— предлагает Родимцев и бросает Игнатьеву плоскую бутылочку из-под одеколона, наполовину заполненную махоркой.

— А ты что, не будешь?— спрашивает у него Игнатьев.

— Горько во рту, накурился, я лучше сухарика пожую. Дай-ка твоего, белей.

Игнатьев кидает ему сухарь, Родимцев тщательно сдувает с сухаря мелкий песок и табачную пыль и начинает жевать.

— Хоть бы скорей,— говорит Седов и затягивается,— хуже нет, как ждать.

— Наскучил?..— спрашивает Игнатьев,— гитару я забыл взять.

— Брось шутить-то,— сердито говорит Родимцев.

— А ведь страшно, ребята,— говорит Седов,— дорога эта стоит белая, мертвая, не шелохнется. Вот сколько жить буду, забыть не смогу.

Игнатьев молчит и смотрит вперед, слегка приподнявшись, опершись руками о края своей ямы.

— Я в прошлом году, как раз в это время, в дом отдыха ездил,— говорит Седов и сердито плюет. Его раздражает молчание товарищей. Он видит, что Родимцев, совершенно так же, как Игнатьев, смотрит, слегка вытянув шею.

— Старшина, немцы!— протяжно кричит Родимцев.

— Идут!— говорит Седов и негромко вздыхает.

— Ну, пылица,— бормочет Родимцев,— как от тыщи быков.

— А мы их бутылками,— кричит Седов и смеется, плюет, матерится. Нервы его напряжены до предела, сердце колотится бешено, ладони покрываются теплым потом. Он их вытирает о шершавый край песчаной ямы.

Игнатьев молчал и смотрел на вздыбившуюся над дорогой пыль.

На командном пункте залищал телефон. Румянцев взял трубку. Говорил наблюдатель: передовой отряд немецких мотоциклистов напоролся на минированный участок дороги. Несколько машин взорвались на правом и левом обьездах, но сейчас немцы снова движутся по дороге.

— Вот они, смотрите!— сказал Бабаджаньян.— Сейчас мы их встретим.— Он вызвал к телефону командира пулверты лейтенанта Косюка и приказал, подпустив мотоциклы на близкую дистанцию, открыть огонь из станковых пулеметов.

— Сколько метров?— спросил Косюк.

— Зачем вам метры,— сказал Бабаджаньян,— до сухого дерева, с правой стороны дороги.

— До сухого дерева,— сказал Косюк.

Через три минуты пулеметы открыли огонь. Первая очередь дала недолет — по дороге поднялись быстрые пыльные облачка, словно длинная стая воробьев торопливо купалась в пыли. Немцы с хода открыли огонь, они не видели цели, но плотность этого неприцельного огня была очень велика,— воздух зазвучал, заполнился невидимыми смертными струнами, пылевые дымки, сливаясь в стелющееся облако, поползли вдоль холма. Сидевшие в окопах и блиндажах красноармейцы пригнулись, опасливо поглядывая на поющий над ними голубой воздух.

В это время станковые пулеметы послали очереди точно по мчавшимся мотоциклистам. Мгновенье тому назад казалось, что нет силы, могущей остановить этот грохочущий выстрелами летучий отряд. А сейчас отряд на глазах превращался в прах, машины останавливались, валялись набок, по инерции колеса разбитых мотоциклов продолжали вертеться, подымая пыль. Уцелевшие мотоциклисты повернули в поле.

— Ну, что?— спрашивал Бабаджаньян у Румянцева,— ну, что, товарищи артиллеристы, плохие у нас, скажете, пулеметчики?

Вслед мотоциклистам неслась частая винтовочная стрельба. Молодой немец, припадая на раненую, либо ушибленную ногу, выбрался из-под опрокинутой машины и поднял руки. Стрельба прекратилась. Он стоял в порванном мундире, с выражением страдания и ужаса на грязном, испаранном в кровь лице и вытягивал, вытягивал руки кверху, точно яблоки хотел сорвать с высокой ветки. Потом он закричал и, медленно ковыляя, шевеля поднятыми руками, побрел в сторону наших окопов. Он шел и кричал, и постепенно хохот перекачивался от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу. С командного пункта была хорошо видна фигура немца с поднятыми руками, и командиры не могли

понять, почему поднялся хохот среди бойцов. В это время позвонил телефон, и с передового НП объяснили причину внезапной веселости.

— Товарищ командир батальона,— жалобно, от душившего его смеха, сказал в трубку командир пулеметной роты Косюк.— Той немец ковыляе и крычить, як оглашенный:— Русь, здавайся!— а сам руки подтяв... Он со страху уси руськи слова перещував.

Богарев, смеясь вместе с другими, подумал: «Это все здорово хорошо, такой смех, когда приближаются танки, это хорошо»,— и спросил Румянцева:

— Все ли у вас готово, товарищ капитан?

Румянцев ответил:

— Все готово, товарищ комиссар. Данные заранее подготовлены, орудия заряжены, мы покроем сосредоточенным огнем весь сектор, по которому пойдут танки.

— Воздух!— протяжно прокричали сразу несколько человек.

И одновременно запищали два телефонных аппарата.

— Идут, головной в двух тысячах метрах от нас,— сказал, растягивая слова, Румянцев. Глаза его стали строги, серьезны, а рот все еще продолжал смеяться.

XIII

Самолеты и танки показались почти одновременно. Низко над землей шла шестерка «Мессершмиттов-109», над ними — два звена бомбардировщиков, еще выше, примерно на высоте полутора тысяч метров,— звено «Мессершмиттов».

— Классическое построение перед бомбежкой,— пробормотал Невтулов,— нижние мессеры прикрывают выход из пики, верхние прикрывают входение в пику. Сейчас дадут нам жизни.

— Придется демаскироваться,— сказал Румянцев,— ничего не попишешь, но мы им крепко дадим прикурить.— И он приказал командирам батарей открыть огонь.

Богарев снял телефонную трубку. Параллельное включение позволило ему слушать переговоры между командирами батарей и наблюдательными пунктами.— Огонь!— послышалась далекая команда, и на несколько мгновений все звуки утасли, и лишь грохотали в ушах оглушительные молоты залпов. И сразу поднялся пронзительный шелестящий ветер пошедших к цели снарядов. Казалось, что целые рощи высоких тополей, осин, берез зашелестели, зашумели миллионами молодых листьев, гнутся, раскачиваются от могучего, налетевшего на них ветра. Казалось, ветер рвет свою крепкую, гибкую ткань на тонких ветвях, казалось, в своем стремительном ходе поднятый стальной ветер увлечет за собой и людей, и саму землю. Издали послышались разрывы. Один, второй, несколько слитных, потом еще один.

Богарев услышал в трубку далекий голос, называвший данные для стрельбы. В интонациях этих протяжных голосов, говоривших одни лишь цифры, выражалась вся страсть битвы. Цифры торжествовали, цифры неистовствовали — цифры ожившие, цепкие. И вдруг голос, произносивший данные для стрельбы, сменился другим.— Лозенко, ты в землянци брав почтагу пачку махорки?— Ну, брав, а ты хйба не брав у мене?— И снова командирский голос, выкрикивавший данные, и второй, повторяющий их.

А в это время бомбардировщики кружились, высискивая цели. Невтулов побежал на огневые позиции.

— Огня не прекращать при любых условиях,— крикнул он командиру первой батареи.

— Есть, не прекращать огня,— ответил лейтенант, командовавший батареей.

Два «Юнкерса» над огневыми позициями перешли в пики. Зенитные учетверенные пулеметы пускали по ним очередь за очередь.

— Смело пикируют,— сказал Невтулов,— ничего не скажешь.

— Огонь!— закричал лейтенант.

Трехорудийная батарея дала залп. Грохот залпа смешался с грохотом разорвавшихся бомб. Тучи земли и песка прикрыли артиллеристов.

Утирая потные и грязные лица, они уже вновь зарядили орудие.

— Морозов, цел? — крикнул лейтенант.

— Вполне цел, товарищ лейтенант,— ответил наводчик Морозов,— наша веселей, товарищ лейтенант.

— Огонь! — скомандовал лейтенант.

Остальные самолеты кружили над передним краем, отсюда слышались пулеметные очереди и частые разрывы бомб.

Артиллеристы-огневики работали со злым упорством, со стремительной страстью: в их слаженных движениях, объединенных братством помысла и усилий, выражалась торжественная мощь общего труда. Тут уже работали не отдельные люди — худой грузин — досылающий, плечистый, низкорослый татарин — подносчик, еврей — правильный, черноглазый украинец — заряжающий, прославленный мастер-наводчик Морозов. Здесь работал один человек. Он мельком глядел на выпешдших из пики «Юнкерсов», делающих боевой разворот и вновь идущих на бомбежку батареи, он утирал пот, усмехался, ухал вместе с пушкой, опять делал свое умное, сложное дело, сторукий, быстрый, неустойчивый, смывший благородным трудовым потом все следы боязни с своего лица. Он, этот человек, работал и на втором, третьем орудии первой батареи и на орудиях второй батареи. Он не останавливался, не ложился, не бежал к блиндажу, когда выли бомбы, он не переставал трудиться под чугунными ударами разрывов, он не останавливался радостно глазеть, когда закричали бойцы, лежавшие в резерве третьей роты: — Подбили зенитчики, пошел книзу, горит! — Он не терял времени, он работал. Для всех этих слитых воедино людей было лишь одно слово: «огонь!» И это слово, соединенное с их трудом, рождало огонь.

И наводчик Морозов, вихрастый, веснушчатый, кричал: — Наша веселей! — А управленцы, выдавшие сокрушительную работу огневиков, все сыпали в этот огонь цифры и цифры.

Снаряды начали рваться среди танковой колонны совершенно неожиданно для немцев. Первый снаряд попал в башню тяжелого тапка и разнес ее. С наблюдательного пункта видно было в бинокль, как танкисты, высунувшиеся из люков, быстро и юрко прятались в машины.

— Словно сусляки в норы лезут, товарищ лейтенант,— сказал разведчик, сидевший на артиллерийском НП.

— Да, действительно похоже,— сказал лейтенант и кивнул телефонисту: — Огуреченко, крути четвертый.

Лишь толстяк, сидевший на головном танке, не спрятался в люк. Он помазал рукой, перетянутой красной ниткой кораллов, словно подбадривал машины, идущие сзади. Потом он достал из кармана яблоко и надкусил. Колонна, не нарушая строя, двигалась дальше. Лишь в тех местах, где подбитые машины

становились поперек дороги, водители объезжали горящие и разбитые танки. Часть машин, не возвращаясь на дорогу, шла полем.

В двух километрах от укрепленного рубежа танки рассыпали походный порядок и пошли развернутым строем. Стыснутые справа лесом, слева рекой, они шли довольно плотной массой в несколько рядов. На дороге горело около двадцати машин.

Огонь русской артиллерии широким веером ложился на поле, танки начали отвечать, первые снаряды пронеслись над истребителями и взорвались в расположении пехоты, окопавшейся на склоне холма. Затем немцы перенесли огонь выше — очевидно, пытались подавить русскую артиллерию. Большая часть танков остановилась. В воздухе появился «горбач» — корректировщик. Он установил радиосвязь с танками. Радист на командном пункте произнес, жалуясь:

— Словно молоток мне, товарищи, в уши стучит немец: гут, гут, гут.
— Ничего, ничего, — сказал Богарев, — гут, да не очень.

Бабаджаньян негромко сказал Богареву:

— Сейчас танки пойдут в атаку, товарищ комиссар, я уже эту тактику знаю, в третий раз вижу. — Он приказал по телефону ввести в бой минометы и добавил: — Вот вам и полевая почта в день рождения жены.

— На случай прорыва следовало бы отвести артиллерию, — сказал лейтенант-артиллерист.

Но Румянцев раздраженно проговорил:

— Если мы начнем отводить орудия, то немцы наверное прорвутся и погубят дивизион. Разрешите, товарищ комиссар, выдвинуть вперед две батареи и открыть огонь прямой наводкой.

— И немедленно, не теряя секунды, — волнуясь проговорил Богарев. Он понимал, что наступила решающая минута.

Немцы, очевидно, связали прекращение огня с отходом артиллерии и усилили обстрел. Через несколько минут танки по всей линии перешли в атаку. Они шли на больших скоростях, стреляя с хода из пушек и пулеметов.

Несколько красноармейцев, пригнувшись, побежали от верхнего блиндажа, один из них упал, пораженный случайной пулей, остальные, еще ниже пригнувшись, бежали мимо командного пункта.

Бабаджаньян вышел к ним навстречу.

— Куда, куда? — закричал он.

— Танки, товарищ капитан! — задыхаясь, проговорил красноармеец.

— Что у вас, живот болит? Зачем согнулись? — злобно закричал Бабаджаньян, — выше голову! Идут танки, их надо встречать, а не бегать, как зайцы. Назад, шагом марш!

В это время гаубицы открыли огонь. Лишь теперь огневики увидели врага. Удары тяжелых снарядов были потрясающе сильны. От прямых попаданий танки расплозались, металы корчялся, пламя вырывалось из люков, столбами поднималось над машинами. Но не только прямые попадания, тяжелые осколки могучих снарядов пробивали броню, калечили гусеницы, машины жужжали, вертелись вокруг своей оси.

— Неплохая у нас артиллерия, — кричал на ухо командиру батальона Румянцев, — а, товарищ Бабаджаньян, неплохая?!

На всем поле атака танков была приостановлена. Но в той полосе, где проходил большак, немцам удалось продвинуться вперед. Тяжелый головной танк,

стреляя из пушки и строча всеми своими пулеметами, ворвался на участок, где засел отряд истребителей. За ним стремительно шли четыре машины.

Огонь артиллерии ослабел: два орудия были подбиты и не могли вести стрельбы, третье прямым попаданием снаряда было совершенно искорежено, санитары унесли тяжело раненных артиллеристов. Тела убитых сохранили в себе устремление боевого труда — люди погибли, работая до последнего вздоха.

— Ну, ребята, пришло время... Горько ли, тошно, — стой на месте! — закричал Родимцев.

Они трое взялись за бутылки с горючей жидкостью.

Седов первым поднялся из ямы. Головной танк шел прямо на него. Пулеметная очередь попала Седову в грудь, голову, и он рухнул на дно ямы.

Игнатьев видел гибель товарища. Над головой его с воем промчалась пулеметная очередь, врезалась в землю, танк пропел совсем близко, он отшатнулся ладже; на мгновение мелькнуло у него воспоминание, как он мальчишкой стоит на станции, куда с отцом возили пассажира, и мимо, обдав теплом, запахом горячего масла, с грохотом промчался паровоз курьерского поезда. Он распрямился, бросил бутылку и сам подумал почти с отчаянием: «Ну, что ты паровозу литровой сделаешь?» Бутылка угодила в башню; легкое, подвижное пламя сразу же взвыло, подхваченное ветром. В этот миг Родимцев бросил связку гранат под гусеницы второй машины. Игнатьев снова бросил бутылку. «Этот поменьше будет, — мелькнула у него хмельная мысль. — В такой и поллитром можно!»

Огромный головной танк вышел из строя. Очевидно, водитель пытался его развернуть, но из-за пожара не успел этого сделать. Верхний люк открылся, поспешно полезли немцы с автоматами, прикрывая от пламени лица, начали прыгать на землю.

Словно инстинкт подсказал Игнатьеву: «Вот этот убил Седова».

— Стой! — закричал он и, схватив винтовку, выскочил из ямы.

Огромный, плечистый и толстый немец, с рукой, перехваченной ниткой кораллов, один остался в поле. Остальные члены его экипажа, согнувшись, бежали по заросшему бурьяном кювету. Немец один остался стоять во весь свой большой рост. Увидев Игнатьева, бежавшего к нему с винтовкой, он приложил автомат к пузу и застрочил. Почти вся очередь прошла мимо Игнатьева, но последние пули ударили по винтовке, расщепили приклад. На мгновение Игнатьев остановился, потом бросился к немцу. Немец пытался перезарядить автомат, но увидал, что не успеет этого сделать; он не струсил, по всему видно было, что он не трус, — одновременно тяжелым и легким шагом пошел он на Игнатьева.

У Игнатьева потемнело в глазах, — но этот человек убил Седова, он сжег в одну ночь большой город, он убил красавицу девушку-украинку, он топтал поля, рушил белые хаты, он нес позор и смерть народу.

— Эй, Игнатьев! — послышался откуда-то издали голос старшины.

Немец верил в свою силу и храбрость, он проходил многолетнюю гимнастическую тренировку, он знал жестокие и быстрые приемы борьбы.

— Ком, ком, Иван! — говорил он.

Он словно пьянел от величия своей позы, один среди горящих танков, под грохот разрывов он стоял монументом на завоеванной земле, он, прошедший по Бельгии, Франции, топтавший землю Белграда и Афин, он, чью грудь сам Гитлер украсил железным крестом.

Словно возродились древние времена поединков, и десятки глаз смотрели на этих двух людей, сошедшихся на исковерканной битвой земле. Туляк Игнатьев поднял руку; страшен и прост был удар русского солдата: не в грудь ударил он врага, он поступил так, как велело ему сердце. Он ударил врага кулаком по лицу.

— Гад, с девчатами воюешь!— хрипло закричал Игнатьев.

Коротко и сухо треснул винтовочный выстрел. Это стрелял Родимцев.

Немецкая атака была отбита. Четыре раза переходили немецкие танки и мотопехота в атаку. Четыре раза поднимал Бабаджаньян батальон против немцев, бойцы шли с гранатами и с бутылками горючей жидкости.

Хрипло кричали команду артиллерийские начальники, но реже и реже гремели голоса пушек.

Просто умирали люди на поле сражения.

— Не играть нам с тобой, Вася, больше,— сказал политрук Невтулов. Крупнокалиберная пуля попала ему в грудь, кровь текла при каждом вздохе изо рта. Румянцев поцеловал его и заплакал.

— Огонь!— закричал командир батареи, и в грохоте пушек потонул последний шепот Невтулова.

Смертельно был ранен в живот Бабаджаньян во время четвертой атаки немецких танков. Бойцы положили его на плащ-палатку и хотели вынести из боя.

— У меня еще есть голос, чтобы командовать — сказал он.

И пока не была отбита атака, его голос слышали бойцы. Он умирал на руках у Богарева.

— Не забывай меня, комиссар,— сказал он,— за эти дни ты для меня стал другом.

Умирали бойцы. Кто расскажет об их подвигах? Лишь быстрые облака видели, как бился до последнего патрона боец Рябоконов, как, уложив десять врагов, взорвал себя холодеющей рукой политрук Еретик, как, окруженный немцами, стрелял до последнего вдоха красноармеец Глушков, как, истекая кровью, бились пулеметчики Глаголев и Кардахин, пока слабеющие пальцы могли нажимать на спусковой крючок, пока меркнувший взор в знойном тумане видел боевую цель.

Напрасно поэты пишут песни о том, что имена и фамилии погибших будут жить в веках, напрасно пишут они стихи, заверяя мертвых героев, что они не умерли, а продолжают жить, что вечна их память и имена. Напрасно пишут об этом в книгах писатели, обещают сражающемуся народу то, чего он не просит.

Не может человеческая память удержать сотни, тысячи имен. Тот, кто мертв, тот мертв. Это знают хорошо идущие на смерть. Миллионный народ идет умирать за свою свободу так же, как шел на тяжелый труд. Велик народ, чьи сыновья умирают свято, просто и сурово на необозримых полях сражения. О них знают небо и звезды, их последние вдохи слышала земля, их подвиги видела несжатая рожь и придорожные рощи. Они спят в земле, над ними небо, солнце и облака.

Они спят крепко, спят вечным сном, как спят их отцы и деды, всю жизнь трудившиеся плотники, землекопы, шахтеры, ткачи, крестьяне великой земли. Много пота, много тяжелого, подчас непосильного, труда отдали они этой земле. Пришел грозный час войны, и они отдали ей свою кровь и свою жизнь.

Пусть же эта земля славится трудом, разумом, честью и свободой. Пусть не будет слова величайшей и святей чем слово — народ!

Ночью, после похорон погибших, Богарев пошел в блиндаж.

— Товарищ комиссар, — сказал дежуривший у блиндажа красноармеец, — посыльный пришел.

— Какой посыльный? — удивленно спросил Богарев, — откуда?

Вошел небольшого роста красноармеец с сумкой и винтовкой.

— Откуда вы, товарищ боец?

— Из штаба дивизии, почту принес.

— Как же вы прошли, ведь дорога отрезана?

— Пробрался, товарищ комиссар, километра четыре на пузе полз, через речку переправился ночью, немца-часового застрелил, вот погон с него принес.

— Страшно было пробираться? — спросил Богарев.

— Да чего мне бояться, — усмехаясь сказал красноармеец, — у меня душа хешева, как балалайка, я за нее не боюсь, я ей цену положил — пять копеек. Чего же за нее бояться?

— Будто так? — серьезно спросил Богарев, — будто так?

Красноармеец, усмехаясь, молчал.

Первое письмо было из Еревана — Бабаджаньяну. Богарев посмотрел на обратный адрес — письмо пришло от жены Бабаджаньяна.

Командиры роты Овчинников и Шулейкин, политрук Махоткин, быстро перебирая письма, негромко говорили: — Этот есть, убит... убит... этот есть... убит... — и откладывали письма убитым в отдельную стопку.

Богарев взял письмо Бабаджаньяну и пошел к его могиле. Он положил письмо на могильный холм, прикрыл его землей, придавил сверху осколком снаряда.

Долго простоял он над могилой комбата.

— Когда же мне придет твое письмо, Лиза? — спросил он вслух.

В три часа утра пришла коротенькая шифровка по радио. Командующий армией благодарил бойцов и командиров за мужество. Потери, нанесенные ими немецким танкам, огромны, они блестяще выполняли задачу и задержали движение мощной колонны. Остаткам батальона и артиллерии предложено было отходить.

Богарев знал, что отходить некуда, разведка донесла о ночном движении немцев по проселочным дорогам, пересекающим большак.

С тревожными вопросами подходили к нему командиры. — Мы в окружении, — говорили они.

После гибели Бабаджаньяна он один должен был решать. Фразу, которую часто любят говорить на фронте: «Я ознакомился с обстановкой и принял решение», даже в тех случаях, когда речь идет о ночевке или обеде, теперь, впервые торжественно произнес Богарев, обращаясь к командирам и политрукам, собравшимся в блиндаже.

Он внутренне подвинулся, проговорив эти слова, и подумал: «Вот бы Лиза меня увидела». Да, часто хотелось ему, чтобы Лиза посмотрела на него.

— Товарищи командиры, решение мое таково, — сказал Богарев, — мы отходим в лес. Там мы отдохнем, организуемся и с боем пробьемся к реке для переправы на восточный берег. Своим заместителем назначаю капитана Румянцева. Выступаем мы ровно через час.

Он оглядел утомленные лица командиров, суровое, постаревшее лицо Румян-

цева и совсем другим голосом, напомнившим ему самому довоенную Москву, сказал:

— Друзья мои, так кровью и огнем бьется наша победа. Почти вставляем погибших в сегодняшнем бою наших верных друзей — красноармейцев, политработников и командиров.

XIV

Штаб фронта стоял в лесу. В шалашах и крытых зеленью землянках жили сотрудники оперативного, разведывательного отделов, Политуправления и фронтowego интендантства. Под густым орешником стояли канцелярские столы, посыльные ходили сказочными тропинками, покрытыми жолудями, и наливали в чернильницы чернила; по утрам треск пишущих машинок под влажной росой листвой заглушал пение птиц; меж густых зарослей видны были белокурые женские головы, слышался женский смех и мрачные голоса канцеляристов. В сумрачном высоком шалаше стояли огромные столы с картами, вокруг шалаша ходили часовые, караульный у входа накалывал разовые пропуска на гвоздик, прибитый к старой дуплистой осине. Ночью гнилые пни светились голубоватым светом. Штаб всегда жил своей неизменной жизнью, помещался ли он в старинных залах польского вельможи, или в избах большого села, или в лесу. А лес жил своей жизнью: белки делали зимние запасы и, озуруя, роняли на головы машинисток жолуди, дятлы долбили древесину, выколачивая червей, коршуны прочесывали вершины дубов, осип, лип, молодые птицы пробовали силу своих крыльев, многомиллионный мир рыжих и черных муравьев, жуков-носорогов, жужелиц спел и работал.

Иногда в ясном небе появлялись «Мессершмитты», они кружили над лесным массивом, высматривая войска и штабы.

— Во-о-оздух! — кричали тогда часовые. Машинистки убрали со столов бумаги, накидывали на голову темные платочки, командиры снимали фуражки, чтобы блеск козырьков не был заметен, штабной парикмахер торопливо сворачивал белую простыню и стирал мыльную пену с недобритой щеки клиента, официантки ветвями прикрывали тарелки, приготовленные к обеду. Становилось тихо, слышно было лишь гудение моторов, да из сосновой рощи на песчаном пригорке, где находилось артиллерийское управление, раздавался сочный веселый голос розовощекого артиллерийского генерала, матерившего своих подчиненных.

И так же, как в полутемном сводчатом зале дворца, в лиственный шалаш, где заседал Военный Совет, приносили тарелку зеленых яблок для командующего и коробки «Северной Пальмиры» для участников заседания.

День и ночь шумело в орешнике динамо, питавшее радиостанцию, десятки проводов тянулись по шестовкам из леса через поля, стучали телеграфные аппараты, бодистики стучали по клавишам, — волны воздушной связи, телефон, телеграф соединяли лиственный шалаш с штабами армий, дивизий, танковых бригад, кавалерийских корпусов, авиационных соединений. На низеньком пеньке, обросшем грибом-наростом, стоял обычный московский телефонный аппарат, звонил он совсем по-московскому. А когда раздавался его звонок, все в шалаше умолкало, порученцы у входа вытягивались, словно по команде «смирно», а командующий, никогда не делавший торопливых движений, поспешно вставал, шел к телефону: это был аппарат ВЧ, соединявший Еремина со ставкой.

Штаб фронта находился в сорока километрах от передовых позиций. По вечерам, когда стихал ветер и переставали гудеть вершины деревьев, ясно слышна была в лесу артиллерийская стрельба. Начальник штаба считал, что штаб надо отвести по крайней мере на 70—80 километров вглубь, но командующий медлил, — ему правилась близость к фронту, он много выезжал в дивизии и полки, мог непосредственно наблюдать ход боя, а через сорок минут находиться в штабе, у большой карты с обстановкой.

В этот день в штабе с утра тревожились. Немецкие танковые колонны подошли к реке. Среди штабных прошел слух, что по эту сторону реки видели мотоциклистов, они, очевидно, переправились на больших плоскодонных лодках и проехали до опушки леса, в котором стоял штаб. Когда комиссар штаба доложил об этом командующему, Еремин стоял у орехового куста и обирал спелые орехи.

Пришедшие с комиссаром штабные командиры пытливо и тревожно наблюдали за лицом командующего, но известие не произвело на Еремина впечатления. Он кивнул в знак того, что слышал слова комиссара штаба, и сказал своему адъютанту:

— Лазарев, пригни-ка эту ветку, видишь, на ней десятка три орехов уселось.

Стоявшие вокруг командиры внимательно наблюдали, как трудолюбиво Еремин обирал орехи с ветки. Глаза, видимо, были у него хороши — он не пропустил ни одного орешка, даже из тех, что хитро и умело прятались в своих зеленых ячейках меж шершавых листьев орешника. Этот урок спокойствия длился довольно долго.

Затем командующий быстро подошел к ожидавшим его начальникам отделов и сказал:

— Знаю, знаю зачем сюда пришли. Штаб остается на месте, никуда передвигаться не будет. Извольте впредь являться лишь по моему вызову.

Смущенные начальники ушли. Через несколько минут адъютант доложил, что у телефона командующий армейской группы Самарин.

Еремин пошел в шалаш.

Он слушал, что говорит Самарин, и повторял время от времени: — Так, так. — И тем же голосом, которым говорил это «так, так», произнес:

— Вот что, Самарин, убыль в частях — сама собой, а задачу я вам поставил, и если вы останетесь один, то все равно задачу вы выполните. Поняли?

Командующий сказал:

— Очень хорошо, что поняли, — и повесил трубку.

Чередниченко, слушавший этот разговор, сказал:

— Самарину, видно, трудно. Он зря не станет говорить.

— Да, Самарин железный человек, — сказал командующий.

— Это верно, железный, но я все-таки к нему завтра съезжу, к железному.

— А денек-то, денек какой! — сказал командующий. — Орехов не хочешь? Сам собирал.

— Я видел, — усмехнувшись, сказал Чередниченко и взял горсть орехов.

— Видел? — оживленно сказал командующий. — Услышали про мотоциклистов и решили, что я буду штаб с места снимать.

— Ничего, ничего,— проговорил Чередниченко,— я с две сотни людей в памяти держу и вижу: придет представляться — гимнастерка новенькая, лицо белое, руки белые, и глаза неустойчивые; сидел, вижу, в академии или еще где-нибудь. А с каждым днем меняется: нос лупится, а дальше загорят руки, гимнастерка уже не топорщится, лицо от солнца закалится, даже брови выгорят. Ну, смотришь человека, пробуешь и видишь: кожа от солнца и ветра потемнела и внутри он закалкой взят...

— Да, да,— сказал командующий,— все это очень хорошо. Но я, сознаться, даже не ставлю людям в заслугу, что они воевать научились, закаляются, привыкли. Что за заслуга такая? Военные, чорт возьми, люди!

Он спросил адъютанта: — Обед скоро будет?

— Сейчас накрывают,— сказал дежурный порученец.

— Вот хорошо,— сказал Еремин,— ты орешков не грызи перед обедом. — Он пожал плечами. — Мне мало, когда командир закалится, стал опытен, мудрость приобрел. Командир должен полной жизнью жить на войне, спать хорошо, есть хорошо, книжку читать, веселым быть, спокойным, стричься по моде, как ему больше идет, и лупить по авиации противника и танки, что в обход пошли, уничтожать, и мотоциклы, и автоматчиков, и кого там хочешь. И от этой драки ему только лучше и спокойней на свете жить. Вот — военный человек. Помнишь, как мы с тобой вареники со сметаной ели в одном полку?

Чередниченко усмехнулся:

— Это, когда повар жаловался: «Шкиривает и пикирует, не дает, гад, лепить!»

— Вот, вот, шкиривает, не даёт, гад, лепить... А вареники хороши были! — Он подумал и сказал: — Все это так, свое дело любить надо, а наше с тобой дело — война.

Чередниченко подошел к Еремину и тихо проговорил:

— Мы его будем бить. Побежит он, увидишь побежит,— и день этот проклянет двадцать второго июня, и час этот — четыре часа утра — проклянет, и сыновья его и внуки и правнуки проклянут.

В течение дня воздушная разведка подтвердила сведения, принесенные предшлемником из окружения раненым лейтенантом: в районе Гореловец происходила концентрация шедших разными путями германских танковых колонн. Лейтенант по карте указал низменную местность, поросшую редким ельником, где шла концентрация немцев. Аэрофотосъемка точно подтвердила это. Пастухи, переправившиеся через реку, сообщили разведчикам, что после того, как бабы сходили на полдник доить коров, в район сосредоточения прибыли две колонны мотопехоты. Место концентрации немцев находилось в 22 километрах от реки. Зная слабость нашей авиации на этом участке фронта, немцы чувствовали себя спокойно. Боевые и грузовые машины размещались плотно одна к другой, некоторые, когда спустились сумерки, зажгли фары; и у светящихся фар шовара чистили овощи к завтрашнему утру.

Командующий фронтом вызвал начальника артиллерии.

— Достанете? — спросил он, указав отмеченный на двухверстке овал.

— Накрою, товарищ генерал-лейтенант,— сказал начальник артиллерии.

В распоряжении командующего находились орудия тяжелой артиллерии резерва главного командования. Это были те 'стальные чудовища, которые встретил Богарев в день своего приезда в штаб. Многие в штабе опасались, что громадные пушки не удастся благополучно переправить через реку,— требова-

лась постройка особо прочной переправы. Богарев не знал, что бой у совхоза и разгром танковой колонны дал время саперам построить переправу для могучих орудий.

— В двадцать два обрушится всей мощью огня, — сказал командующий начальнику артиллерии.

Начальник артиллерии, розовощекий, почти всегда улыбающийся генерал любил свою жену, старушку-мать, дочерей, сына. Он любил много вещей в жизни: и охоту, и веселую беседу, и грузинское вино, и хорошую книгу. Но больше всего на свете любил он дальнобойную артиллерию. Он был ее слугой и поклонником. Он переживал гибель каждого тяжелого орудия как личную утрату. Он огорчался, что дальнобойной артиллерии не приходится развернуть всю свою мощь в нынешней войне быстрого маневра. Когда в районе штаба сконцентрировались большие массы тяжелой артиллерии, генерал волновался, одновременно радовался и печалился — удастся ли применить ее?

И тот миг, когда Еремьян сказал: «...обрушится всей массой огня», был, вероятно, самым торжественным и счастливым во всей жизни начальника артиллерии.

Вечером на поляне заседал Центральный Комитет белорусской коммунистической партии. Светлое вечернее небо просвечивало сквозь листву. Сухие серые листья, словно положенные заботливой рукой хозяйки, прикрывали нарядный, пружинящийся темнозеленый мох.

Кто передат суровую простоту этого заседания на последнем свободном клочке белорусского леса! Ветер, пришедший из Белоруссии, шумел печально и торжественно, и, казалось, миллионный шопот людских голосов звучал в дубовой листве. Народные комиссары и члены ЦК, с утомленными, загоревшими лицами, одетые в военные гимнастерки, говорили коротко. И словно тысячи связей тянулись от этой лесной поляны к Гомелю и Могилеву, Минску, Бобруйску, к Рогачеву и Смоленичам, к деревням и местечкам, садам, пчельникам, полям и болотам Белоруссии... А вечерний ветер звучал в темной листве сумеречным, печальным и спокойным голосом народа, знавшего, что ему либо умереть в рабстве, либо бороться за свободу.

Степсело. Артиллерия открыла огонь. Долгие зарницы осветили темный запад. Стволы дубов вышли из тьмы, словно весь тысячествольный лес шагнул разом и остановился, освещенный трепетным белым светом. То не были отдельные залпы и прохот пушечной пальбы. Так гудел воздух над землей в далекие периоды доархейской эры, когда с океанского дна поднимались горные цепи нынешней Азии и Европы.

Два военных журналиста и фоторепортер сидели на поваленном стволе, невдалеке от шалаша Военного Совета. Они молча наблюдали эту потрясающую картину.

Из лиственного шалаша послышался голос командующего:

— А помните, между прочим, товарищи, у Пушкина в «Путешествии в Арзрум» замечательно там описано...

Журналисты не услышали окончания фразы.

Через несколько мгновений они опять уловили спокойные, медленные слова и по интонации голоса узнали дивизионного комиссара Чередничевко:

— Я люблю, знаешь, Гаршина, вот правдиво сказал про солдатскую жизнь.

В 22 часа 50 минут командующий фронтом и начальник артиллерии пролетели на боевом самолете над долиной, где сконцентрировались панцирные

колонны немцев. То, что увидели они, навсегда наполнило гордостью сердце артиллерийского генерала.

XV

Генерал-майор Самарин, командовавший армейской группой, имел одной из своих задач удерживать переправы через реку. Штаб, тылы, редакция армейской газеты — словом, и второй и первый эшелоны находились на восточном берегу реки. Переловой КН Самарин вынес на западный берег, в небольшую деревушку, стоящую на краю большого нежатого поля. С ним были лишь майор Гаран из оперативного отдела штаба, седой полковник Набашидзе, начальник артиллерии, полевая рация, телеграф да обычные полевые телефоны, связывавшие его с командирами частей. Самарин стоял в просторной светлой избе, там он работал, принимал командиров, обедал. Спать он уходил на сеновал, так как не выносил духоты.

В избе на походных кроватях спали: курносый, с очень красными щеками и очень черными круглыми глазами, адъютант Самарина — Лядов, мелахольник повар, певший перед сном «Синенький скромный платочек», и шофер зеленого вездехода Ключин, возивший с собой в машине с первого дня войны роман Диккенса «Давид Копперфильд». Он прочел к 22 июня всего лишь четырнадцать страниц и за месяц войны не продвинулся в чтении, так как Самарин давал людям мало отдыха. Как-то повар спросил, интересна ли эта толстая книга. «Стоячая, — сказал Ключин, — из еврейской жизни».

На рассвете с сеновала спускался Самарин, и Лядов шел к нему навстречу с кувшином и полотенцем. Он лил холодную колодезную воду на моросшую рыжим пухом шею маленького генерала и спрашивал:

— Хорошо спали, товарищ генерал-майор? Сегодня ночью немец все бил трассирующими из леса.

Самарин был неразговорчивый и суровый человек. Он не знал страха на войне и часто приводил в отчаяние Лядова, отигравшись на самые опасные боевые участки. Он ездил по полям сражений с хозяйской неторопливой уверенностью, появляясь на командных пунктах полков и батальонов в тяжелые минуты боев. Он ходил со всеми орденами и с золотой звездой на груди среди рвущихся мин и снарядов. Приезжая в дерущийся полк, он сразу же в хаосе звуков разрывов и стрельбы, в дыму горящих изб и сараев, в пестрой путанице перебежек, движения наших и вражеских танков улавливал стержень боевой обстановки. Командиры дивизий, полков, батальонов хорошо знали его отрывистый голос, не знавшее улыбки, часто казавшееся мрачным и недобрый, большеносое лицо. Он сразу же, появившись в полку, заслонял собой и грохот орудий, и огонь пожаров, вбирал в себя на минуту все напряжение боя. Он недолго оставался на командном пункте, но его посещение отпечатывалось на всем движении боевых событий, словно спокойный холодный взгляд командарма проливался смотреть на лица командиров. Видя плохое руководство боем, он не колеблясь отстранял начальников. Был случай, когда он послал майора, командира полка, рядовым бойцом в атаку — искупать свою вину за нерешительность и боязнь подвергаться опасности, принимать ответственное решение. Он сурово и без жалости карал смертью на поле сражения трусов.

Его ненависть и отвращение к противнику были неукротимы. Когда он проходил по горящим улицам подожженных немцами деревень, лицо его ста-

новилось страшно. Бойцы рассказывали, как Самарин, высквав на броневике в самое пекло боя, увидел раненого красноармейца и посадил его на свое место, а сам шел пешком следом за броневиком под ураганным огнем немцев. Рассказывали, как он, подняв в бою брошенную бойцом винтовку, запачканную в зловонной грязи, перед строем роты старательно и любовно обтер ее и молча передал обмершему от стыда красноармейцу. И люди, которых вел он в бой, верили ему, прощая ему суровость и жестокость.

Лядов хорошо знал своего генерала. Не раз, подбегая к передовой линии, Лядов спрашивал дорогу у встречных командиров и, возвращаясь к машине, докладывал:

— Товарищ генерал-майор, машиной проехать нельзя, тут никто не ездит, дорога под обстрелом минометов, а в рощице, говорят, автоматчики засели,— надо искать объезда.

Самарин разминал толстую папиросу и, закуривая, говорил:

— Автоматчики? Ничего, езжай прямо.

И Лядов млея от тошного страха, сидя за спиной у своего генерала. Как многие нехрабрые люди, Лядов навесил на себя много грозного оружия: на нем были автомат, маузер, наган, браунинг, в карманах — еще один маузер и трофейный парабеллум. Однажды ездил он в тыл по поручению генерала и своими рассказами и грозным видом восхищал женщин в вагонах, коммандантов железнодорожных станций. Но он, кажется, ни разу не стрелял из своих многочисленных револьверов и пистолетов.

Весь день Самарин провел на передовой. Давление немцев усиливалось на всех участках. Бои шли днем и ночью. Красноармейцы, измученные жаркой и душной погодой, часто отказывались от горячей пищи, которую подвозили к окопам.

Самарин, вернувшись на КП, позвонил по телефону Еремиину, просил разрешения отойти на восточный берег реки. Еремин резко отказал ему. После разговора с Ереминым у генерал-майора сделалось скверное настроение. Когда майор Гаран принес очередную оперсводку, Самарин не стал читать ее, а равнодушно сказал:

— Я знаю положение без вашей сводки... — И сердито спросил у повара:— Обедать я буду когда-нибудь?

— Готов обед, товарищ генерал-майор,— ответил повар и так старательно приставил ногу, повернулся направо, что белый халат его затрепетал. Хозяйка пзбы, старая колхозница Ольга Дмитриевна Горбачева, неодобрительно ухмылинулась. Она была сердита на повара, насмешливо относившегося к деревенской страшне.

— Ну, скажи мне, Дмитриевна, как бы ты стала готовить котлету де-воляй или, скажем, картошку-пай жарить, а? — спрашивал ее повар.

— Да провались ты,— отвечала она,— станешь меня, старуху, учить картошку жарить.

— Да не по-деревенскому, а вот как я в Пензе в ресторане до войны готовил. Вот прикажет тебе генерал-майор, как ты ему скажешь, а?

Невестка Фрося и больной внучек внимательно слушали этот длившийся уже несколько дней спор. Старуху сердило, что она не умеет готовить блюд с глупыми названиями и что тощий верзилка повар ловче ее управляет в кухонных делах.

«Тимка, одно слово Тимка»,— говорила она, зная, что повар не любил даже когда его называли по фамилии и улыбался лишь при обращении «Тимофей Маркович». Так величал его Лядов, когда хотел перекусить еще до того, как генерал садился обедать.

Самарин был доволен своим поваром и никогда не терпелся на него. Но теперь, садясь обедать, он сказал:

— Повар, сколько раз нужно повторять, чтобы самовар привезли из штаба?

— Сегодня к вечеру АХО привезет, товарищ генерал-майор.

— А на второе опять баранину жарил?— спросил Самарин.— Два раза ведь говорил, чтобы рыбы нажарил, речка-то рядом, время тоже как будто есть.

Дмитриевна, усмехаясь, поглядела на смущенного повара и сказала:

— Ему бы только над старухой смеяться, а если генерал просит чество, нешто он понимает? Одно слово — Тимка!

— А он смеется над вами?— спросил Самарин.

— А нешто не смеется,— ты, говорит, старая, можешь коплету де-воляй жарить? И пошел... Тимка-то.

Самарин улыбнулся.

— Ничего, я над ним тоже посмеяться могу...— Повар,— сказал Самарин,— как тесто для бисквита готовить?

— Это я не могу, товарищ генерал-майор.

— Так. А как тесто пшеничное всходит? На соде, на дрожжах? Объясни, пожалуйста.

— Я по кондитерскому цеху не работал, товарищ генерал-майор.

Все рассмеялись посрамлению повара.

После обеда генерал пил чай и пригласил Ольгу Дмитриевну. Старуха неторопливо оттерла руки об фартук и, смахнув с табуретки пыль, под села к столу. Она пила чай из блюдечка, утирая морщинистый лоб, заблестевший от пота.

— Сахару, сахару возьмите, мамаша,— говорил Самарин и спросил: — Как ввук, опять не спал ночью?

— Нарывает все нога, беда с ним, сам замучился и нас замучил.

— Повар, ты угости ребенка вареньем.

— Есть, товарищ генерал-майор, угостить пацана вареньем.

— А как там, в Ряховичах, бой идет?— спросила старуха.

— Идет бой.

— Народ что терпит!— старуха перекрестилась.

— Народу там нет,— сказал генерал,— выехал весь народ. Стоят пустые хаты И вещи народ вывез. Вот объясни мне, Ольга Дмитриевна, такую вещь: сколько я заходил в пустые хаты,— вещи все вывезены, а иконы колхозники оставляют. Уж такое старье с собой берут, смотреть не хочется, стоит хата пустая, ничего нет — газеты со степ сдирают, а иконы оставляют. Во всех хатах так. Вот ты, я вижу, молишься, объясни, как же это так? Бога оставляют?

Старуха рассмеялась и тихо, чтобы слышал один генерал, сказала:

— Кто его знает, есть он или нет, вот мы, старые, и молимся,— живнешь ему десять раз, может и примет.

Самарин усмехнулся.

— Ох, Дмитриевна, — сказал он и погрозил пальцем котенку, спустившемуся с печи на пол.

В это время принесли радиопшифровку Богарева о подробностях разгрома колонны танков.

Лядов знал хорошо характер генерала. Он знал, что перед поездкой на самые опасные участки фронта генерал приходил в хорошее настроение, знал, что чем напряженней, накаленней делалась обстановка, тем спокойней становился Самарин. Он знал и странную слабость, которую имел этот суровый человек. Самарин, приходя в пустую брошенную избу, где обязательно оставались верные жилью кошки, вынимал из кармана кусочки заранее запасенного хлеба и подзывал голодного кота либо многодетную кошачью мать и, садясь на торточки, начинал кормить их. Однажды он задумчиво сказал Лядову:

— Знаешь, почему деревенские коты не играют с белой бумажкой? Привычки нет у них такой, к белой бумаге, а на темную бросаются сразу — думают мышь.

И сейчас Лядов понял, что Самарин после разговора со старухой и шифрования шифровки пришел в хорошее настроение.

— Товарищ генерал-майор, — сказал он, — разрешите доложить: майор Мерцалов по вашему вызову явился.

Самарин нахмурился и снова погрозил пальцем котенку.

— Что ты там говоришь?

— Я докладываю, товарищ генерал-майор: командир сто одиннадцатого стрелкового полка явился по вашему вызову.

— А, ладно. Пусть зайдет. — Он сказал поднявшейся Дмитриевне: — Сиди, сиди, куда? Пей, пожалуйста, чай, не беспокойся.

Мерцалов утром вышел по проселочной дороге и соединился со своей дивизией. Поход его не был удачен. По дороге он потерял часть артиллерии, застрявшей в топком лесном месте. Полковой обоз заблудился, так как начальнику колонны был дан неточный маршрут. Наконец полк отбивал при движении нападение немецких автоматчиков, и рота Мышанского, шедшая в арьергарде, вместо того чтобы пробиться к основным силам, дрогнула и вместе со своим командиром, не решившимся идти по открытому полю, повернула в лес.

Самарин утром выслушал доклад Мерцалова и задал лишь один вопрос: сколько боеприпасов оставлено Богареву.

— Придете ко мне в семнадцать, — сказал он.

Мерцалов понимал, что этот второй разговор будет короче первого и не обещает ему ничего хорошего. Поэтому он очень удивился и обрадовался, когда Самарин сказал ему:

— Даю вам возможность исправить ошибки: установите связь с Богаревым, согласуйте действия, обеспечьте ему выход и выведите матчасти, которую бросили. Можете идти.

Мерцалов понимал, что поставленная задача исключительно тяжела. Но он не боялся тяжелых и опасных задач. Он больше опасался гнева своего грозного начальника.

XVI

Два дня стоял Богарев со своим батальоном в лесу. Людей в батальоне было не много. Пушки, замаскированные ветками, глядели в сторону дороги.

Разведывательный отряд возглавил артиллерист лейтенант Кленовкин, высокий юноша, имевший привычку часто и без особой нужды поглядывать на часы. В разведчики пошли большей частью артиллеристы, а из стрелкового батальона — Игнатьев, Жавелев и Родимцев.

Богарев вызвал Кленовкина и сказал:

— Вам придется быть не только разведчиком, но и шачпродом. Запасы хлеба у нас на исходе. — Он добавил задумчиво: — Медикаменты есть, а вот чем кормить раненых? Им ведь особая пища нужна — кисели и морсы.

Кленовкин, желая испытать своих новых разведчиков, поручил Родимцеву с товарищами первую разведку.

Он сказал:

— Да, кроме того, надо обеспечить бойцов хлебом, а раненых киселем и питьем фруктовым; у повара мука есть картофельная для киселя.

Жавелев удивленно сказал:

— Товарищ лейтенант, какие же тут кисели? Лес ведь кругом, а на дорогах немецкие танки.

Кленовкин усмехнулся, ему самому казался странным разговор комиссара.

— Ладно, посмотрим. Пошли! — проговорил Игнатьев.

Ему не терпелось пойти лесом. Они прощли среди лежащих под деревьями бойцов. Один из них, с перевязанной рукой, поднял бледное лицо и сердито сказал:

— Тише, что ты шумишь, как медведь?

Другой шопотом спросил: — Домой, что ли, ребята, идеге?

Разведчики пошли в глубь леса, и Родимцев всю дорогу удивленно говорил:

— Что с народом стало, прямо удивленье! То стояли в обороне — двухсот танков не испугались, а в лесу двое суток лежали — и вроде скисли.

— Без дела люди, — говорил Жавелев, — это всегда так.

— Нет, это удивленье только, — говорил Родимцев.

Они вскоре подошли к просеке. Больше двух часов пролежали они в придорожной канаве, наблюдая движение немцев. Мимо них проезжали связанные мотоциклисты; один остановился совсем близко от них, набил трубку, закурил и поехал дальше. Прошли шесть тяжелых танков. Но чаще всего ехали грузовики с хозяйственными грузами. Немцы разговаривали, сидя с расстегнутыми воротничками, должно быть хотели загореть; в одной машине солдаты пели. Машины проезжали под деревом со свисавшей листвой, и почти из каждой машины протягивалась рука, чтобы сорвать несколько листьев.

Затем разведчики разделились. Родимцев и Жавелев пошли лесом к тому месту, где проселок пересекал шоссе, а Игнатьев перешел проселок и оврагом побрелся к деревне, в которой находились немцы.

Он долго наблюдал из высокой конопли. В деревне стояли танкисты и пехота. Они, видимо, отдыхали после перехода. Некоторые жулились в пруду и лежали голые на солнышке. В саду под деревом обедали офицеры, они пили из металлических, ярко блестящих на солнце стаканчиков; один из них все время заводил патефон, другой играл с собакой, третий, сидя поодаль, писал. Некоторые солдаты, сидя на завалинках, занимались латаньем белья, другие брились самобрейками, повязав себя полотенцами, иные трясли яблоны в садах и тычками снимали с верхних ветвей грушевых деревьев спелые груши. Некоторые, лежа на траве, читали газеты.

Эта местность напоминала родную деревню Игнатьева: и лес походил на тот лес, где любил он часами бродить, и река похожа была на ту реку, где мальчишкой ловил он пескарей и мелкую тощую плотичку. А сад, в котором обедали и заводили патефон немецкие офицеры, был очень похож на сад Маруси Песочинной. Сколько славных ночных часов просидели они с Марусей в саду! Ему вспомнилось, как ночью из темной, черной листвы светлели белые личики яблок, как вздыхала и негромко смеялась рядом, словно теплая молодая птица, Маруся. Сердцу стало горячо от этих воспоминаний... На пороге хаты показалась худенькая девушка с босыми ногами, в белом платочке, и немец что-то крикнул ей, показал рукой... Девушка вернулась в хату и вынесла кружку воды. Страшная боль, горе, злоба сжали сердце Игнатьева. Никогда, ни в ту ночь, когда темцы жгли город, ни глядя на разрушенные деревни, ни в смертном бою не испытывал Игнатьев такого чувства, как в этот светлый безоблачный день. Эти немцы, спокойно отдыхавшие в советской деревне, были страшней во много раз тех, в бою. Он ходил по своему лесу прыгаясь, говорил шопотом, озирался, а ведь он знал эти лиственные леса, их дубы, осины, березы, клены, как свой родной дом; он ходил по такому лесу и шел во весь голос песни, которым его научила хмурая бабка Богачиха, он лежал на шуршащих сухих листьях и глядел на небо, он наблюдал возню птиц, разглядывал стволы деревьев, поросшие мхом, он знал все ягодные и грибные места, знал, где лисьи норы, в каких дуплах живут белки, на каких полянах среди высокой травы играют перед вечером зайцы. А теперь немец раскуривал трубку среди леса, и Игнатьев тихо, хоронясь, следил за ним из поросшей кустарником канавы. Черный провод, протянутый немцам связистом, тянулся среди милых деревьев — в детском неведении рябины и березы позволяли тонким ветвям своим поддерживать проволоку, и через русский лес по этому проводу бежали немецкие слова. А там, где не было деревьев, немец вкопал в землю тела молодых березок, поприбивал к ним дощечки-указатели, и березы стояли мертвые, с желтыми, маленькими, как медные копеечки, листочками, и держали на себе все тот же подлый провод.

В этот день, в эту минуту Игнатьев понял всей глубиной сердца, что происходит в стране, — что война идет за жизнь, за дыхание трудового народа.

Он видел отдыхающих немцев, и ужас оледенил его: он на миг представил себе, что война кончилась. Немцы, вот так, как сейчас перед его глазами, купаются, слушают вечерами соловьев, бродят по лесным полянам, собирают малину, ежевику, лукошки грибов, люпивают чай в избах, заводят музыку под яблонями, снисходительно подзывают к себе девушек. И в этот миг Игнатьев, несший на своих плечах всю страшную тяжесть этих битв, не раз сидевший в глиняной яме, когда над головой его проходили немецкие танки, Игнатьев, прошедший тысячи километров в горячей пыли фронтовых дорог, видевший каждый день смерть и шедший навстречу ей, понял всем сердцем своим, всей кровью, что эта сегодняшняя война должна продолжаться, пока немец не уйдет с советской земли. Огонь пожаров, грохот рвущихся мин, воздушные бои — все это было благо по сравнению с этим тихим отдыхом фашистов-немцев в занятой ими украинской деревне. Эта тишина, это благодушные немцев ужасали. Игнатьев невольно погладил приклад своего автомата, ощущал гранату, чтобы увериться в своей силе, своей готовности биться, — он, рядовой, всей кровью своей был за войну.

О, это не была война четырнадцатого года, о которой рассказывал старший брат, война, проклятая рядовыми и пенужная народу.

Все это душой, умом и сердцем чуял Игнатъев в этот светлый солветный день, в обманной тишине полудня, глядя на отдыхающих немцев.

«Да, комиссар верное слово мне тогда сказал», подумал он, вспомнив разговор с комиссаром в пылавшем городе.

Он вернулся на условленное место встречи, товарищи ждали его.

— Что на большаке?—спросил он.

— Обозы все идут,—сказал скучным голосом Жавелев,—обозы, обозы, гуси, куры с машин кричат, скотину гонят.

Лицо у него было расстроенное, без обычной озорной и недоброй усмешки. Видно, и он почувствовал злую тоску, поглядев на немецкие тылы.

— Что ж, пошли назад?—спросил Родимцев.

Он был спокоен, по-обычному. Таким знали его товарищи в ожидании немецких танков, таким знали его при хозяйственной неторопливой дележке хлебных порций перед ужином.

— Языка бы надо захватить,—сказал Жавелев.

— Это можно,—оживившись, проговорил Игнатъев,—я уж придумал средство,—и рассказал товарищам свой простой план.

Жажда работы охватила Игнатъева. Ему казалось, что воевать он должен день и ночь, что нельзя ему терять ни минуты времени. Ведь восхищал он всегда туляков-оружейников своей сметкой и неукротимой трудовой силой, ведь считался он в деревне первым косарем...

Они доложили лейтенанту о результате разведки. Лейтенант велел Игнатъеву пойти к комиссару. Богарев сидел под деревом.

— А, товарищ Игнатъев,—улыбнулся он,—где ваша гитара, уцелела?

— Как же, товарищ комиссар,—вчера играл на ней бойцам, что-то парод крепко заскучал, тихо стал разговаривать.

Он смотрел внимательно в лицо комиссару и сказал:

— Товарищ комиссар, разрешите мне поработать по-настоящему, чтобы искра шла. Не могу я видеть, как немцы тут патефоны крутят, по нашим лесам ездят.

— Дел много,—сказал Богарев,—дела хватит. Вот у меня забота: хлеб, раненых побороть, языка достать—это на всех работы хватит.

— Товарищ комиссар,—сказал Игнатъев,—мне команду пять человек, я с ними все эти дела обделаю до вечера.

— Не хвастаете?—спросил Богарев.

— Давайте посмотрим.

— Я взыщу с вас, если не исполните.

— Есть, товарищ комиссар.

Богарев велел Клеповкину выделить команду добровольцев. Через пятнадцать минут Игнатъев повел их в лес, в сторону дороги.

Первое дело, которое он взялся выполнить, заняло немного времени. Он приметил несколько полян, красневших от ягод.

— Ну, девки,—крикнул он сопровождавшим его бойцам,—поднимай подолы, собирай ягоду.

Все смеялись его шуткам, прямо надрывались, слушая истории, которые он рассказывал одну за другой.

— Ягод-то, ягод, сафьян прямо расстелен,— говорил Родимцев.

— Чернику отдельно, ежевику отдельно, малину отдельно, листьями разделяй их,— говорил Игнатъев.

Через сорок минут котелки, каски были полны ягод.

— Ну вот, очень просто,— возбужденно объяснял бойцам Игнатъев.— Чернику варить тем, кто животою мучается, малину — кого лихорадит, с ежевикой — сок кислый, вроде кваса, будет; раненый — он пить всегда просит.

Он быстро и ловко приспособился отжимать сок из ягод и, чтобы сок не был мутным, пропускал его через сложенную вдвое марлю из своего индивидуального пакета. Вскоре собралось несколько банок прозрачного и густого сиропа. Откуда-то прилетела домашняя муха. Игнатъев поволок все это добро к шалашам, где стонали раненые. Старик доктор, посмотревший на хозяйство Игнатъева, всхлипнул, утер слезу и сказал:

— В лучшем клиническом госпитале вряд ли могли бы предложить раненым такую вещь. Вы спасли не одну жизнь, товарищ боец, вот фамилия вашей я не знаю.

Игнатъев растерянно поглядел на доктора, ухмыльнулся, махнул рукой и пошел. Веселая удача шла рядом с ним.

Боец, посланный для наблюдения за дорогой, сообщил, что на просеке остановился немецкий грузовик. Видимо, с мотором произошла серьезная авария; немцы долго обсуждали случай, затем все, вместе с шофером, уехали с попутной машиной.

— А что в грузовике? — быстро спросил Игнатъев.

— Не поймешь, прикрыто ихними плащ-палатками.

— Не заглянул?

— Как в него заглянешь, — сказал боец, — машины то сюда, то туда — шашь, не подойдешь.

— Эх, ты, шашь, — сказал Игнатъев, — воробей!

Боец обиделся.

— Видать, ты сокол, — сказал он.

Игнатъев прошел к машине и крикнул:

— А ну, ребята, сюда!

Они шли к нему, глядя на его веселое хозяйственное лицо. Он был хозяином этого леса, никто другой. И никто другой не мог быть хозяином, — он говорил громко, как у себя дома, его светлые глаза смеялись.

— Скорей, скорей, — кричал он, — держи плащ-палатки с того конца, придерживай. Так. Хлеб нам немцы привезли. Видишь, как спешили, старались, чтобы свежим, теплым поспел. Даже машину запероли.

Он начал бросать каравай за караваем в подставленные плащ-палатки, приговаривая все время:

— Этот Фриц перепек, не умеет он подовый хлеб печь, взыщем с него. А этот хорош — видать, Ганс старался. Этот передержал — проснал Герман. Этот вот пыльный, лучше всех — по моему заказу, сам Адольф пек.

Загорелый лоб его покрылся каплями пота, и солнце, пропаявая через листву, пятнало его лицо, мелькавшие в воздухе хлебы, черные борта германской машины, поросшую зеленой травой дорогу. Он разопнулся, крикнул, встал во весь рост, обтер лоб и оглядел лес, небо, дорогу...

— Как на стогу бригадир, — проговорил он, — ну, песи, ребята, метрзв двести, а то триста; в кусты схороните и назад.

— Да ты сойди, чего ты, с ума что-ли сошел, вот-вот налетят,— закричали ему.

— Куда мне идти?— удивленно сказал он.— Это мой лес, я тут хозяин. Пойду, а меня спросят: куда, хозяин, идешь?

И он остался стоять на машине. Дрозды и сойки кричали над его головой, восхваляя его смелость, веселье, доброту. Он крошил хлеб и бросал птицам, а потом и сам стал напевать. Но глаза его зорко следили за прямой дорогой, видимой на километр в обе стороны. Он внезапно прерывал пение и вслушивался, сощурясь, не стучит ли где мотор. Вот вдали появилось облачко пыли, Игнатьев всмотрелся: мотоцикл.

— Хозяин, чего же тебе бегать? — спросил он насмешливо самого себя. Ясно было, что буксировать или ремонтировать машину придут не на мотоцикле. Игнатьев проверил гранату, сжал рукоятку ее в руке и лег в углубление, освободившееся от унесенного хлеба. Мотоциклист промчался мимо, даже не замедлив хода.

Через час весь пружовик был разпружен. Уходя, Игнатьев заглянул в кабину и вытащил из боковой сумки коньячную бутылку, вина в ней было совсем немного. Игнатьев сунул бутылку в карман. Когда бойцы уносили последнюю плащ-палатку с хлебом, вдали слышалось тарактенье мотора.

Игнатьев залет в кусты — посмотреть, что будет. Машина, замедлив ход, развернулась и подъехала к пустому грузовику.

Игнатьев не понимал ни слова из того, что кричали немцы, но их жесты, выражение лиц, беготня объяснили все совершенно ясно. Сперва они заглядывали в кабину, смотрели под машину, потом унтер-офицер кричал на ефрейтора, и тот стоял руки по швам, каблук к каблуку. Ясно было Игнатьеву — унтер кричал: «Ты что, собака морда, не мог заставить никого покараулить, чего бояться?» А ефрейтор с печальным видом показывал рукой: «Лес, мол, кругом, нешто их, кобелей, заставишь остаться?» А унтер, видно, кричал: «Сам, поросычье племя, должен был остаться. Теперь всех вас под арест посажу и без хлеба оставлю». — «Воля вапа», — отвечал ефрейтор и вздыхал. Потом уж ефрейтор стал кричать на шофера. Игнатьев так объяснял его шум: «Ты что мотор запорол, видишь, посреде леса стал, небось, все лакал из бутылки?» А шофер, видя, что унтер отошел справлять от оторченной нужды, отвечал нахально ефрейтору: «Что шуметь, ты, боже мой, из бутылки стаканчик — два глотнул!»

На ветвях прыгали дрозды и смеялись над немцами. Затем один из солдат нашел возле машины бычок папироски и показал унтеру, и Игнатьев сообразил: унтер разглядел обгоревшую газетку с русскими буквами. «Вот они!» — закричал он, показывая солдату бычок. Тут немцы сразу сошли с ума: повытаскивали парабеллумы, а некоторые вскинули автоматы и открыли пальбу по деревьям; листья и мелкие ветки так и посыпались на дорогу. Игнатьев пополз в дальние кусты, где схоронились товарищи с хлебом. Там, посмеиваясь, рассказал он им, что видел, вытащил из кармана бутылку и сказал:

— Тут этого коньяку осталось с гулькин нос, на шестерых все равно не поделишь, придется, видно, самому, а?

И аккуратный Родимцев отвернул от своей фляги стаканчик и сказал:

— Ладно, чего уж, пей сам, вон стаканчик тебе. Я немецкого ничего в руки не беру.

Перед вечером Игнатъев привел к комиссару немца. поймал он его простым способом: перерезал телефонный провод, протянутый вдоль просеки, и засел с товарищами в кустах. Через час пришли два немца-связиста искать порыв провода. Красноармейцы выскочили из засады. Одного немца, пытавшегося убежать, застрелили; второй, окостеневший от неожиданности, попал в плен.

— Я, товарищ комиссар, ша них в лесу имею способ,— с веселой деловитостью сказал Игнатъев,— мотоциклистов снимать: через дорогу провод натягивать; и на пехоту способ простой: повязать курей в кустах,— немцы за пять километров на кудахташь сбегутся.

— Дельно,— сказал ему, смеясь, Богарев.

В темноте Румянцев построил пехотинцев и артиллеристов и зачитал приказ — благодарность бойцу-разведчику от лица службы. Из сумерек ответил голос Игнатъева, шалпущего по вызову из строя:

— Служу Советскому Союзу, товарищ капитан.

* * *

Мерцалов мучительно помнил свой неудачный отход. Непереносимо унижительное чувство бессилия владело им в течение короткого марша, скорей напоминавшего бегство, чем отступление регулярной воинской части. Особенно тяжело было смотреть на людей, которых вел Мышанский. В его роте царил подавленность, бойцы шли опустив головы, устало шаркая ногами, некоторые без оружия. Каждый громкий звук заставлял людей настораживаться, они блуждающим взглядом оглядывали небо, разбегались, едва появлялся немецкий самолет. Мышанский запретил вести огонь по самолетам и велел бойцам идти в стороне от дороги, стараясь выбирать лесистые либо заросшие кустарником места. Рота двигалась беспорядочной, растянувшейся толпой. Красноармейцы, почувствовав неуверенность командиров, часто нарушали дисциплину. Несколько черниговцев ночью оставили оружие и ушли проселком в свои села. Мерцалов приказал задержать их. Но их не удалось найти.

Днем передовые подразделения полка вышли на широкое поле. Вперед, в пяти-шести километрах, синел лес. Этот лес доходил до самой реки. Красноармейцы оживились: там, за рекой, стояли наши войска, там кончался тяжелый и опасный путь по немецким тылам. Лошади, почуяв далекий запах влаги, пофыркивали, обозным не приходилось их подгонять. Когда полк, растянувшись, пылил по дороге тысячами сапог, скрипучими колесами подвод, стертymi покрывками автомобильных колес, широкими перепончатыми гусеницами тягачей, в воздухе появился немецкий самолет-разведчик. Он сделал быстрый круг над дымившейся от пыли дорогой и ушел. Мерцалов понял, что вскоре ему предстоит встреча с противником. Мерцалов приказал точно соблюдать двадцатиметровую дистанцию между движущимися по дороге подводами и грузовиками на случай налета бомбардировщиков, приказал турельным пулеметам, находившимся на грузовиках, выехать в голову и в хвост колонны.

Он был уверен, что противник нападет с воздуха. Желчно сказал он начальнику штаба:

— Смотри, товарищ майор, на роту Мышанского — все головы подняли, в небо глядят! И сам Мышанский, как орел, в небо глядит; а лесом — бредет понурившись, словно семидесятилетний старик, головы не подымет.

Он въехал на холм и оглядел простор неба и земли, расстилавшийся перед ним. Несжатая пшеница волновалась, шумела, ветер шевелил ее, пригибал, и

заспелые налитые колосья клонились, а глазу открывалось бледное тело стеблей. Все поле меняло цвет: из янтарно-желтого становилось бледнозеленым. И тогда казалось, что смертная бледность пробегала по пшенице, словно живая кровь отливала от лица, словно поле бледнело, ужасаясь уходу русского войска. И поле шумело, просило, клонилось к земле, то бледнело, то, вновь поднимая пышный колос, красовалось всей своей богатой, каленной солнцем красотой. Мерцалов смотрел на поле, на белешвый кое-где бабы платки, на дальние мельницы, на хаты светлеющей вдали деревушки.

Он посмотрел на небо — с детства знакомое, блеклое, молочно-голубоватое, горячее летнее небо. По нему шли облака, мелкие, размытые, неясные, такие прозрачные, что сквозь них просвечивала голубизна воздуха. И это огромное поле и это огромное знойное небо ввели в великой тоске, просили помощи у войска, пылившего по горячей дороге. И облака шли с запада на восток, словно кто-то невидимый гнал огромное стадо белых овец по русскому небу, захваченному немцами.

Они шли следом за уходящим в мыли войском, они спешили уйти туда, где не режет их острое железное крыло немецкого самолета. И пшеница шумела, кланялась в ноги красноармейцам, просила, и сама не знала, о чем просить.

— Эх, кровью бы плакать! — промолвил Мерцалов. — Соленой кровью, не слезами!

Босая старуха, с полугустой торбой на согбенной спине, и идущий с ней большеглазый мальчик молча смотрели на отходящее войско, и непередаваемо страшен был укор в их печальных, застывших глазах — детски беспомощных у старухи, старчески усталых — у ребенка. Так и остались они стоять, затрявшившиеся в огромном поле.

Тяжелый это был день! Никогда не забыть Мерцалову этого дня. Он ожидал противника с воздуха, а противник пришел с земли. В коротком бою потерял Мерцалов свой обоз, потерял роту Мышанского, ушедшую вместе со своим командиром в лес.

К вечеру полк подошел к реке. Тяжкий путь кончился. Но не радовался командир полка — горькие мысли владели им.

Подошел начальник штаба и передал Мерцалову рапорт политрука второй роты. На лесном хуторе остался красноармеец, заявив товарищам, что решил переждать тяжелые времена с молодой вдовой-хозяйкой. Мерцалов приказал немедленно снарядить полуторку и доставить дезертира. Его привезли в штаб полка ночью, в крестьянской одежде, в лаптях, — свою форму он утопил в ставке, привязав к ней камень. Мерцалов издали наблюдал за разговором, который завели с ним красноармейцы.

— И пилотку с червонной звездой утопив? — спросил первый номер пулеметного расчета.

— Эге ж, — уныло и равнодушно ответил дезертир.

— И винтовку утопил? — спросил второй номер пулеметного расчета.

— А на что вона, як я на хутори остався?

— Он свою душу в том ставке тоже утопил, — сказал высокий, мрачный красноармеец Глушков, брат убитого в бою с немецкими танками, — павязал на нее кирпич, и утопил.

— Навцо мени душу теньть? — обиженно спросил дезертир и почесал ногу.

Старшина, ездивший за дезертиром, усмехнувшись, сказал:

— Мы приехали. Он со своей молодухой спать ложелись, — аккуратно так

все, постелились, поллитра на столе пустые, две стопочки, свиинки жареной посли.

— Да ее треба було б забрать, лядачку, та расстрелять з ним разом,— сказал первый номер пулеметного расчета.

— Самогами забить!— сказал худой боец с измученным лицом и большими лихорадочными глазами.

Мерцалов подошел к дезертиру. Вспомнился ему весь горький день — пшеница, небо, старуха с мальчишкой, укорявшие отходящие войска, и сказал он впервые в жизни тяжелые, страшные слова:

— Расстрелять перед строем!

Ночью он не спал. «Нет, не согнусь я,— говорил он,— есть во мне сила для этой войны».

И всю силу свою напруг он на решение задачи, поставленной полку командармом.

XVII

Утром к Богареву пришел Мышанский.

— Здравствуйте, товарищ комиссар,— радостно сказал он,— вот встреча, так встреча.

Пришедшие с ним люди были не бриты, в порванных гимнастерках. Сам Мышанский выглядел немногим лучше своих бойцов. Он спорил с воротника знаки различия, крючок и верхние пуговицы гимнастерки были вырваны, бывшие раньше при нем полевая сумка и планшет отсутствовали, он их, очевидно, бросил, чтобы не иметь командирского вида, даже револьвер он вынул из кобуры и сунул в карман брюк.

Сев рядом с Богаревым, он тихо сказал:

— Да, влипли мы с вами в классическое окружение, товарищ комиссар. Мне кажется единственно правильным — это рассредоточить людей и пробираться в одиночку через линию фронта.

Богарев, слушая его, почувствовал, как кровь отлила от лица; ему показалось, что щеки у него даже похолодели, побелели от ярости.

— Почему ваши люди в таком виде?— тихо спросил он.

Мышанский махнул рукой.

— Да с чем говорить,— сказал он,— героев среди них нет,— ночью вышли на поляну, немцы пустили ракеты, а они залегли, словно под ураганным огнем.

Богарев встал и тяжело переступил с ноги на ногу. Мышанский, продолжая сидеть, не замечая искаженного злобой лица Богарева, сказал:

— Ох, нет ли у вас закурить, товарищ комиссар? А выход, по-моему, я предлагаю правильный,— пробираться через фронт поодиночке. Кто куда. Скопом мы все равно не прорвемся.

— Встать,— сказал Богарев.

— Что?— спросил Мышанский.

— Встать!— громко и властно повторил Богарев.

Мышанский посмотрел в лицо Богареву и, вскочив, вытянулся.

— Стоять смирно,— сказал Богарев и, с ненавистью глядя на Мышанского, закричал:— В каком вы виде? Как вы подходите к старшему начальнику? Немедленно приведите себя и своих людей в полный порядок, чтобы ни одного небритого, чтобы ни одной порванной гимнастерки. Прикрепите к петлицам

знаки различия. Через двадцать минут выстроить роту и явиться ко мне, командиру действующей в тылу у противника регулярной части Красной Армии, в подчинение которого вы поступаете.

— Есть, товарищ батальонный комиссар!— сказал Мышанский и, все еще полагая, что дело не серьезно, улыбаясь, добавил:— Только где же я достану знаки различия, ведь мы в окружении, в лесу, не жолуди же мне пришить к петлицам.

Богарев посмотрел на часы и медленно проговорил:

— Через двадцать минут, если мое приказание не будет выполнено, вы будете расстреляны перед строем, вот под этим деревом.

И Мышанский понял и ощутил непреклонную, страшную силу говорившего с ним человека. А в это время артиллеристы и стрелки расправляли вновь пришедших бойцов.

— Слышь, борода,— громко спрашивал герой боя с немецкими танками водчик Морозов одного из пришедших,— ты с какого года?

— С девятьсот двенадцатого,— ответил шепотом вновь пришедший; подняв палец, просительно произнес:— Вы, ребята, тише ржите.

— А что, батька?— спросил Игнатьев, нарочно повышая голос.

— Ти-и-ша,— со страданием произнес обросший бородой боец,— не слышишь разве?

— Чего, чего?— заинтересованно спрашивали разведчики и артиллеристы.

— Да немцы кругом, разговор их сюда слышать.

Все удивленно переглянулись, а Игнатьев вдруг расхохотался так громко, что несколько человек из роты Мышанского зашипели на него:— Тише, тише.

— Да, что вы, ребята,— сказал Игнатьев,— да как вы можете, ведь это вороны кричат, вороны, понимаешь ты!

И дружный хохот пошел по лесу: смеялись артиллеристы, смеялись пехотинцы, смеялись разведчики, смеялись раненые, охая от боли, смеялись и вновь пришедшие бойцы, смущенно качая головами и сплевывая.

В это время подошел к ним Мышанский.

— Живо, живо,— закричал он.— даю вам пятнадцать минут сроку — всем побриться, привести себя в полный порядок. Товарищи командиры взводов, сержанты, прикрепить знаки различия, выстроить роту.

И он схватил свой походный мешок, бегом побежал к ручью.

Богарев ходил под деревьями и думал:

«Нет героев в роте, говорит Мышанский. Ну что ж, нет, так мы их сделаем, будут герои. Будут!»

Вскоре рота построилась. Капитан Румянцев медленно обходил строй, внимательно оглядывал обмундирование бойцов, осматривал оружие, делал придирчивые замечания по поводу каждой мелкой неисправности.— Потуже, потуже ремень,— озабоченно говорил он,— почему плохо выбрились, бриться надо старательно, а не как-нибудь... А вы винтовку не чистили, куда это годится, разве бойцу Красной Армии можно небрежно обращаться с оружием...

Казалось, дело происходит в военной школе, перед строгим инспекторским смотром, а не в лесу, в тылу у немцев. Богарев специально просил Румянцева произвести этот дотошный осмотр. Он издали наблюдал за выстроившейся ротой. Румянцев уже подходил к левому флангу и, критически оглядев шеренгу, сказал взводному командиру: «Не строго по ранжиру стоят бойцы вашего взвода, товарищ лейтенант». Богарев шагнул вперед. «Смирно!» — закричал Мы-

шанский и, выступив перед строем, громко отрапортовал. Богарев прошел перед строем и обратился к бойцам. Он говорил не повышая голоса, и слова его сразу дошли до слушателей. Он сказал о великих тяжестях войны, он сказал о горьком отступлении. Он рассказал красноармейцам о сложности и опасности положения, не скрывая от своих слушателей ничего. Он сказал о немецких танках, о перерезанных дорогах, сказал, как расценивает он силы противника, находящиеся на этом участке. Он сказал о суровой борьбе за жизнь и смерть, которую ведет народ.

И стоявшие в строю слушали его выпрямившись, со спокойными лицами, глядя на комиссара мудрыми глазами людей, которых не нужно учить.

В эти тяжелые часы и дни люди хотели одной лишь правды. Они хотели слушать правду, тяжелую, невеселую. И Богарев сказал эту правду. Холодный ветер, предвестник осени, зашумел в высокой листве деревьев. И после зноя, после черных грозовых ночей этих месяцев, после душных полдней и вечеров, наполненных зудением комаров, этот пришедший с севера ветер, несущий в себе напоминание о зиме, снегах, метелях, был бесконечно приятен. Этот ветер говорил, что тяжелое, душное лето кончается и идет новая пора. Люди почувствовали это как-то внутренне, навсегда связали новое ощущение со словами комиссара и с порывом холодного ветра, от которого по-ноябрьски зашумели дубы.

Ночью Богарев не спал. Он пошел на песчаный пригорок, где росли огромные сосны. Богарев лег, прикрывшись шинелью, смотрел в небо. Было прохладно. Луна медленно двигалась, меж черных стволов, по синему небу. В лесу, меж деревьев, было особенно заметно плавное движение луны; столь велика была она, что даже самые толстые стволы не закрывали ее, и желтый обод, исчезая с одной стороны ствола, рос и ширился с другой. Богарев курил, прозрачный дым папиросы при свете луны казался стеклянным. Небо было просторно и пусто — луна затмила звезды. Над лиственной частью леса стоял голубовато-серый туман, такой же легкий, как дым от папиросы. А под соснами все время слышался шелест, словно тысячи муравьев работали в ночную пору, — это капли росы соскальзывали на землю с масляно-скользких сосновых игол. Роса накапливалась, созревала на зеленых остриях, вода стекала по желобку иголок, и капли, наливаясь, зрели и светлели в лунном свете. Красота этой ночи была так велика, что грусть охватила Богарева. Тихий шорох падающих капель, плывущее движение луны, тени стволов, бесшумно-медленнодвигающиеся по земле, говорили о мудрой красоте задумавшегося мира.

А мир содрогался от ударов войны, она влезла под вспаханную землю, ушла под воду, поднялась на десять тысяч метров над землей, она бушевала в лесах, на полях, над тихими друдами, поросшими ряской, над реками и городами, она не знала ни дня, ни ночи. И Богарев подумал: победы в этой войне Гитлер — для мира не станет солнца, звезд и такой прекрасной ночи, как эта.

Он увидел человека, сидевшего на освещенной полянке. Богарев окликнул его. Это был Игнатьев.

— Что вы здесь делаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарев.

— Спать не могу, товарищ комиссар, ночь-то какая!

Богареву нравился этот сильный и веселый человек, он видел и знал то влияние, которое имеет Игнатьев на красноармейцев. Он слышал, как бойцы передавали друг другу шутки Игнатьева, рассказывали об его веселой, хитрой храбрости. Там, где сидел Игнатьев, всегда собирался кружок в пять — десять человек.

— О чем думаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарев.

— Товарища своего вспомнил, Седова. Война началась — тоже лунные ночи были. Он мне сказал: «Вот, Игнатьев, ночь какая, а много ли мне осталось на свете быть, не знаю». Вот и нет его уже.

— И Бабаджаньяна нет, — сказал Богарев и вздохнул.

Богарев заговорил, и Игнатьеву было интересно слушать его. Он не любил бесед, на которых объясняли.

«Чего меня учить, — думал он, — я сам все знаю». Да и обычно получалось, что не ему рассказывали, а он сам заставлял себя слушать, — много он знал всяких историй, случаев, воспоминаний, собранных от старых солдат, дедов, старух. Какая-то страсть была у него собирать все эти рассказы, внешне простодушные сказки. Он их запоминал легко, память у него была огромная. А так как обладал он и живой фантазией, он переделывал их сам и рассказывал товарищам одновременно смешные и страшные, хитроумные истории про красноармейца, с которым Гитлер задумал воевать. В эту ночь говорил комиссар, а Игнатьев слушал. И он не забыл ни слова из этого ночного разговора.

— А ведь правда, товарищ комиссар, — сказал он, — и я словно другим человеком на этой войне стал. Идешь — каждую речку, каждый лесок до того жалко, сердце заходится. А жизнь не легкая у народа была, да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наше и жизнь наша, нелегкая жизнь, а наша. Как же это отдавать? Я теперь часто задумываться стал. На войну шел — эх, думаю, все ни о чем. А теперь во мне сердце горит. Иду сегодня, а на поляне деревцо шумит, беспокоится, — так меня пропекло, аж перекосило всего. Неужели, думаю, она, махонькая, к немцу отойдет? Нет, говорю ребята, не будет этого. Мой друг один, Родимцев, говорит: горько ли, тошно — стоять надо, за свою землю воюем. Мало что бывало — и жрать нечего, а моя она, жизнь.

Свет луны померк, темная пелена заволокла небо. Вскоре пошел мелкий, словно холодная пыль, дождь.

Богарев натянул повыше на плечи шинель, покашлял и сказал обычным своим неторопливым, глуховатым голосом:

— Товарищ Игнатьев, разведке дан приказ разгромить немецкий обоз. Поидет новый отряд, в него будут набраны самые нестойкие люди из роты Мышанского. Их надо подучить, поднять настроение. Вас я прикомандировываю к этому отряду. Пусть видят, как можно бить немцев.

— Есть, товарищ комиссар, — ответил Игнатьев.

«Ну, вот и кончилась лунная ночь», — подумал Богарев. И так же подумал Игнатьев, отходя от комиссара.

Вскоре Богарев разбудил Мышанского. Богарев сказал ему:

— Вы отправитесь через час с отрядом громить немецкий обоз.

— От кого я могу получить директиву? — спросил Мышанский.

— Директиву получил лейтенант Кленовкин, командир отряда. Вы пойдете на эту операцию рядовым бойцом, с винтовкой. С сегодняшнего дня вы больше не командуете ротой.

— Товарищ комиссар, — сказал Мышанский, — разрешите, я объясню.

— Я хотел вас предупредить вот о чем, — перебил его Богарев: — бойтесь не немцев, бойтесь проявить нестойкость. Объяснений с вами больше не будет, запомните это.

Пастух Василий Карпович шестые сутки шел с Леной Чередниченко по деревням, занятым немцами. Мальчик сильно устал, разбил себе в кровь ноги. Он спрашивал у старика:— Почему кровь идет из ног, ведь мы все время идем по мягкой дороге? Кормились они в пути хорошо, бабы давали им вдосталь молока, хлеба, сала. В последнюю ночь они остановились ночевать в хате, где жила женщина с двумя дочерьми. Обе девушки учились в десятом классе, они учили алгебру, геометрию, знали немного французский язык. Своих дочерей мать одела в рваное тряпье, руки и лица у них были запачканы землей, волосы нечесаны и спутаны. Делалось это для того, чтобы немцы не обидели красивых девушек. Девушки смотрелись все время в зеркало и смеялись. Им все казалось, что через день или два кончится эта дикая, страшная жизнь, что староста им вернет отобранные по приказу немецкого коменданта учебники геометрии, физики, французского языка, что их перестанут гонять на работы; шел слух о том, что толпы женщин, девушек идут по дорогам в дальние лагеря на работы, что красивых отбирают, и они исчезают без вести, что в лагерях держат отдельно мужчин и женщин, что запрещают по всем украинским деревням свадьбы. Девушки слышали это, но в душе не верили. Слишком диким казалось все, о чем говорили люди. Они ведь собирались осенью поехать в Глухов, поступить в педагогический техникум. Они читали книги, умели решать квадратные уравнения с двумя неизвестными, они знали о том, что солнце представляет собой звезду, находящуюся в стадии потухания, и что температура его поверхности около 6 000 градусов. Они читали «Анну Каренину» и на испытаниях по литературе писали сочинения «Лирика Лермонтова» и «Характеристики Татьяны Лариной». Их покойный отец был бригадиром, полеводом, заведывал хатой-лабораторией и получал письма из Москвы от академика Лысенко. И девушки, смеясь, поглядывали на тряпье, привывавшее их, и утешали мать:

— Не плачьте, мамо, не може цего бути, що стало. Адольф згыне, як Наполеон згынув.

Они узнали, что Лена училась в киевской школе в третьем классе, и устроили ему экзамен: задавали ему задачи на умножение и деление. Говорили они все шепотом и поглядывали на окна,— неволью казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Лена решал задачу, одна из девушек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку.

Лене постелили на полу. Он, несмотря на усталость, не мог уснуть. Разговор о школе очень взволновал его. Ему вспомнился Киев, комната с игрушками, вспомнилось, как отец научил его играть в шахматы и по вечерам иногда приходил к нему, и они играли. Лена хмурился, морщил нос и, подражая отцу, поглаживал подбородок. А отец смеялся и говорил: шах и мат. А рядом с этими воспоминаниями возникали другие: о пожаре, об убитой девочке, которую они видели в поле, о выселении на площади в еврейском местечке, о гудении самолетов. Они мешали друг другу, эти воспоминания; то казалось, не было школы, товарищей, дневного кино на Крещатике, то думалось, сейчас подойдет к его кровати отец и погладит по волосам, и чувство покоя, счастья наполнит все его утомленное маленькое тело. Отец для Лени был великим человеком. Он безошибочным детским чутьем ощущал духовную силу отца. Он

подмечал то уважение, которое проявляли к отцу товарищи военные, он замечал, как все они, сидя за столом, умолкали и поворачивали головы, когда раздавался спокойный, медленный голос отца. И этот одиннадцатилетний мальчик, беспомощный, бредущий наугад среди горящих деревень, сопруженных наступающими войсками немецкой армии, ни на секунду не поколебался в своих представлениях: отец был таким же сильным, мудрым, каким помнил он его в мирные времена. И когда он шел по лесу, когда засыпал в лесу или на сеновале, он ясно знал, что отец идет ему навстречу, что отец ищет его. Он засыпал, а до слуха его доносился негромкий голос Василия Карповича, беседовавшего с хозяйкой.

— Сорок деревень прошел, — говорил старик, — посмотрелся порядка, что смотреть не хочется. А были у нас такие — ждали: порядок, кажут, будет земельный. В одной деревне коров по ведомости доить велели: ходят солдаты два раза в день и молоко отбирают. Вроде как бы в аренду коров сдали колхозникам. А коровы колхозников. В другой — всем мужикам сапоги приказали сдать. Ходите, колхозники, босы. Старосты всюду поставили. А эти старосты над народом катуют, а сами не хозяева: от страха не спят, тоже немцев боятся. Народ весь сам не свой стал: так сделаешь — нехорошо, иначе сделаешь — и тоже плохо. «Насчет земли, — немец говорит, — это вы забудьте». Сколько сел прошел — ни разу ливень не прошел, ни одного не оставили, всем чисто шеи потокручивали. Старика одного застрелили, — он все на крышу лазил, смотрел на восход, не идут ли наши. А немец его и пристрелил. Нечего, каже, на восход смотреть. Понавешали дощечек; а что на их написано, — неизвестно. Стрелы, стрелы всюду показывают. А бабы жалуются: день и ночь приказуют печь топить, варят да жарят. А лопочут, лопочут — бабы прямо замы, ни слова, говорят, по-ихнему не поймешь, а все лопочут, как дурные: «Матка, матка». Женщин старых не стыдятся — голыми перед ними ходят. Кошки, говорят бабы, в хатах от них не держатся. Старуха мне одна говорила, — это дело страшное, если кошка из дому выходит, кошки при нем в доме не сидят; кошку ни огнем, никакой силой из дому не выживешь, а тут сами в огород уходят. И вот смотрю я и бачу: вроде как бы порядок, а это не порядок, а смерть наша. Брат на брата смотреть боится. А в одной деревне собрал мужиков и чисто так по-украински объясняет: «Вас, говорит, кто угнетал, — русский, еврей, вот, кажет, враг для Украины». А старики стоят, молчат, а обратно шли, говорят: «Это мы уж слышали, все нас обижали, вот только немец пришел добро нам делать». А в одном селе согнали мужиков сортир для генерала ставить, так гоняли их за сорок верст кирпич возить, чтобы все как полагается было. Мне старик казал один: пусть лучше удавят, а я такой работы больше сполнять не буду. Шопот такой стоит, в глаза друг другу не смотрят, душевности никакой. Как со скотом на ферме колхозной — то спускают, то переиспускают, то построют по ранжеру, то гонят... Скоро клеймы ставить будут, на каждого повесят дощечку и номерок поставят...

Леня проснулся и сразу же сказал:

— Дедушка, нам, верно, пора идти.

Старик не отозвался. Леня быстро огляделся; Василия Карповича не было в хате, его мешочек лежал на лавке. Мальчик спросил: «А где дедушка?»

У окна сидела хозяйка, смотрела на своих спящих дочерей, и слезы обильно текли по ее щекам.

— Забрали проклятые, ночью забрали,— сказала она,— сегодня деда забрали, завтра дочек моих заберут, пропали мы, пропали.

Мальчик вскочил. — Кто увел, куда увели? — спрашивал он, всхлиplyвая.

— Кто ж увел, известно,— сказала хозяйка и начала ругать немца:— чтоб у него очи повылазили, чтоб он не дождался своих детей увидеть, чтоб их всех холера передушила, чтобы у него руки и ноги поотсыхали.

Потом она сказала:

— Ты не плачь, хлопчик, мы тебя не выгоним, останешься у нас, будем тебя годувать.

— Нет, не хочу я оставаться,— сказал Леня.

— Куда ж ты пойдешь?

— Пойду к папе.

— Та подожди ты, вот самовар вскипит, поснидаешь с нами, тогда побачим, куда тебе итти.

Леня испугался, что хозяйка не отпустит его. Он тихонько встал и подошел к двери.

— Та куда ж ты?— спросила хозяйка.

— Я на минуточку,— ответил он, вышел во двор, оглянулся на дверь и бросился бежать. Он бежал по деревенской улице мимо черных семитонных грузовиков, доходивших своими высокими бортами до соломенных крыш, мимо походной кухни, у которой повар разводил огонь, мимо пленных красноармейцев с мертвенно-серыми лицами, сидевших без сапог, в окровавленном, грязном белье за плетнем колхозной конюшни. Он бежал мимо желтых стрел указателей, расписанных цифрами и черными готическими буквами. В его голове все спуталось, ему казалось, что он убегает от старухи-хозяйки и ее дочерей, решавших с ним арифметические задачи. Хозяйка будет греть самовар и заставит его с утра до вечера пить чай в запертой скучной хате.

Он добежал до ветряной мельницы и остановился. Дорога разветвлялась: одна желтая стрела показывала в сторону деревни, другая — по широкой дороге со множеством автомобильных и танковых следов. Леня пошел по узкой полевой дороге, на которую не указывали немецкие стрелы, к черневшему вдали лесу. По этой дороге давно уж не ездили, должно быть, весной еще проехала по ней крестьянская телега, и следы колес глубоко отпечатались в закаменевшей глинистой земле. Через час он подошел к опушке леса. Ему хотелось есть, пить, солнце изнурило его.

В лесу ему стало страшно: то, казалось, немцы следят за ним из-за деревьев, ползут из кустарников, то ему представлялись волки и черные дикие кабапы из зоологического сада, с длинными клыками и приподнятой верхней губой. Ему хотелось крикнуть, позвать, но он боялся выдать себя и шел молча. Иногда страх и отчаяние бывали так невыносимо остры, что он вскрикивал и бросался бежать. Он бежал, не разбирая дороги, пока не начинал задыхаться. Тогда он садился, отдыхал немного и снова шел дальше. А минутами его охватывала радостная уверенность: ему казалось, что отец идет своим широким, спокойным шагом, зорко вглядывается в чащу и все ближе, ближе подходит.

В одном месте он нашел много ягод и врывался собирать их. Потом он вспомнил книжку про медведей, которые любят ходить на поляны собирать с кустов малину, и поспешил снова в лес.

Вдруг он увидел меж деревьев человека. Он остановился, прижавшись к толстому стволу, и всматривался. Человек стоял с винтовкой, поглядывал в ту

сторону, где притаился мальчик, — очевидно, он услышал звук шагов. Леня смотрел, смотрел, — густая тень мешала разглядеть стоявшего. Радостный, пронзительный крик разнесся меж деревьев. Красноармеец вскинул винтовку, а мальчик бежал к нему и кричал: — Дядя... дядя... Товарищ... Не стреляйте, это я, я, я!

Он подбежал к красноармейцу и, плача, схватился руками за его гимнастерку, вцепился в нее так, что пальцы даже побелели.

Красноармеец гладил его по волосам и, качая головой, говорил:

— Где же ты это так ноги разбил, совсем кровь идет... Да ты не цепляйся, нешто я тебя в лес гоню. — Он вздохнул и добавил: — Может, и мой так по лесам один бродит. Да, немец хоть два раза меня убей, я все равно в землю не лягу, пока он тут хозяйует. Встану.

Вскоре Леня лежал на кровати из листьев, накормленный, напоенный, с обмытыми ногами. На нем был шадет красноармейский пояс с пристегнутой настоящей кожаной кобурой, в кобуре лежал его жестяной паган. Вокруг сидели командиры, и он им рассказывал о немцах.

Подошел Богарев, и все встали.

— Ну, как, аспирант, — спросил Богарев, — скоро папу увидишь? Наверное, даже завтра. Вы, товарищи, дайте путешественнику отдохнуть.

— Нет, совершенно не хочу отдыхать, — сказал мальчик, — мы сейчас будем с капитаном в шахматы играть.

— Что, товарищ Румянцев, нашли себе нового партнера? — спросил Богарев.

— Да, вот приняли решение сыграть партию, — сказал Румянцев.

Они расставили фигуры, и Румянцев, нахмурившись, уставился на доску. Так прошло несколько долгих минут.

— Почему же вы не делаете хода? — спросил мальчик. Румянцев резко встал, махнул рукой и быстро пошел в сторону леса.

— Ты не обижайся, мальчик, — сказал стоявший рядом сержант-артиллерист, — капитан комиссара своего вспомнил, всегда в шахматы играли.

А Румянцев шел, не оглядываясь, и бормотал:

— Не играть нам во веки веков, Сережа, не играть во веки веков.

XIX

Казалось, лагерь в лесу бездействовал. Но никогда, пожалуй, в своей жизни Богарев не уставал так сильно, как в эти дни подготовки к штурму немецкой обороны. Он почти не спал ночи, мысль и воля его были напряжены. И напряжение его воли передалось всем — командирам и красноармейцам, всех охватило приподнятое настроение. Богарев беседовал с красноармейцами, командиры вели учения, между отдельными подразделениями наладилась телефонная связь, радист принимал каждое утро сообщения Информбюро, их перепечатывали на пишущей машинке в нескольких экземплярах, и связной развозил их на захваченном у немцев мотоцикле по лесу, раздавал бойцам. С утра несколько мелких отрядов уходили на разведку, выслеживали немцев, узнавали о движении войск и обозов. Обмундирование бойцов было приведено в порядок, дисциплина установлена необычайно строгая. За неотдачу приветствия накладывались суровые взыскания, рапорты принимались по форме, малейшее нарушение каралось. Наиболее необстрелянные, робкие люди постепенно приучались к опасным операциям: им поручалась борьба с немецкими

связными-мотоциклистами, поимка связистов, уничтожение одиночных грузовиков. В первый раз их отправляли в сопровождении опытных разведчиков, а затем предлагали идти самим, действовать в меру собственной силы и на собственный страх. Вечером Богарев беседовал с командирами, и его уверенность в грядущей победе, уверенность, выросшая на жестоком знании великих тягот первых месяцев войны, убеждала людей.

— Мне обидно, — сказал Румянцев, — что немцы все твердят: война молниеносная, и назначают смехотворные сроки — тридцать пять дней для занятия Москвы, семьдесят дней для окончания войны, а мы невольно утром, проснувшись, считаем — вот уже пятьдесят три дня воюем, вот шестьдесят один, вот шестьдесят два, а вот и семьдесят один. А они у себя, вероятно, говорят: ну что ж, не семьдесят, так сто семьдесят, эка беда. Ведь не в споре о календаре тут дело.

— Именно в споре о календаре, — сказал Богарев, опыт почти всех войн, которые вела Германия, показал, что она не может выиграть длительную. Стоит посмотреть на карту, чтобы увидеть, почему немцы говорят о молниеносной войне. Молниеносная война — для них выигрыш войны. Длительная война — для них поражение.

Богарев оглядел командиров и сказал:

— Товарищи, сегодня должен вернуться боец, пошедший через фронт в штаб армейской группы. Я думаю, завтра мы выступим.

Он остался с Румянцевым, они легли рядом на траву и начали рассматривать карту. Разведка, производившаяся дни и ночи, принесла им много сведений: Румянцев безошибочно определил слабое место в немецкой линии обороны.

— Вот здесь, — сказал Румянцев, — подход через леса, удобно нам будет накапливаться, пройдем лесом до самой реки. Я вообще считаю, что, если двигаться ночью, мы сможем перейти на наш берег без выстрела, проберемся незамеченными.

— Вот так так! — удивленно проговорил Богарев, — как же вы, товарищ Румянцев, чудесный советский командир, культурный и умный артиллерист, можете помыслить такую ересь?

— Какую? — удивленно сказал Румянцев, — какую ересь? Уверяю вас, что мы можем пройти ночью незамеченными. Тут очень жидко у противника, я ведь сам ходил, смотрел.

— Да, именно, именно в этом ересь.

— В чем же, товарищ комиссар?

— Да, черт возьми, регулярная часть находится в тылу у противника, а вы предлагаете ей ночью без выстрела проскользнуть. Упустить такую выгодную ситуацию? Да никогда! Мы не будем искать, где у немца пусто. Мы пойдем, где у него сконцентрировано побольше техники, ударим с тыла, разгромим его и победоносно выйдем, нанеся ему жестокие потери. Как же иначе?

Румянцев долго пристально смотрел в лицо Богарева.

— Простите меня, — сказал он, — но вы, вы замечательный человек! Ей богу! В каком виде Мышанский привел в лес своих людей, а с вами здесь — как в образцовых лагерях стоим либо на наркомовских маневрах. В вас, товарищ комиссар, какая-то сила! Правильно, ведь можно ударить, а не прощальничать.

— Это ничего, ничего, — проговорил задумчиво Богарев, — инстинкт само-

сохранения часто шутит ша войне шутки с людьми. Нужно всегда помнить, что мы здесь для смертной битвы, и только для нее, что окопы роятся, чтобы стрелять из них, а не прятаться, что в щели лезть надо для того, чтобы сохранить себя для страшной атаки, которая будет через час. А людям в какую-то минуту начинает казаться, что блиндажи для того, чтобы прятаться, и только для этого... Эту философскую мысль можно выразить просто,— добавил он:— мы сидим в лесу в тылу у противника, чтобы внезапно напасть на него, а не для того, чтобы прятаться в лесу. Так ведь?

— Так, только так.

Б Богареву подошел лейтенант Кленовкин.

— Товарищ комиссар, разрешите к вам,— сказал лейтенант Кленовкин и посмотрел по привычке на часы,— гость к нам пришел.

— Кто такой?— спросил Богарев, всматриваясь в лицо стоявшего рядом с Кленовкиным военного. И вдруг обрадованно вскрикнул:

— Да ведь это товарищ Козлов, наш знаменитый командир разведроты!

— Старший лейтенант Козлов, прибыл к вам по распоряжению командира сто одиннадцатого полка майора Мерцалова,— громко, чрезмерно четко отработовал Козлов, и умные карие глаза его смеялись, как и в первый день их знакомства.

— Не столько прибыл, сколько дополз на брюхе,— негромко сказал он Румянцеву.

Козлов сел рядом с Богаревым. Он начал подробно передавать план совместного удара, разработанный Мерцаловым. Пункт за пунктом рассказывал он сложную операцию. И время сосредоточения, и атаки, и система сигналов для согласованного действия были разработаны во многих деталях. Он очертил место, где будут действовать наши танки, откуда ударят артиллерия и минометы, он сказал, как перерезана будет дорога, по которой немцы попытаются подводить резервы, и как будет бить дивизионная артиллерия по пути возможного отхода немцев. Он передал Богареву золотые часы и сказал:

— Это товарищ Мерцалов просил вам передать свои часы, а у него есть еще никелированные, они выверены секунда в секунду.

Богарев взял часы и повертел их в руке, потом сверил стрелки со своими ручными часами, его часы отставали на четыре минуты.

— Хорошо,— сказал он,— видно, недаром я наговорил Мерцалову столько нехороших слов. Он рассмеялся и сказал про себя:— А, может быть, и зря говорил. Тайна сия велика есть.

— Вы примете команду над нашим стрелковым батальоном,— сказал он Козлову,— а вам, товарищ Румянецв, надо будет, как только стемнеет, выступить, дорога ведь для тяжелых пушек нелегкая по лесу.

— Дорога уже подготовлена, прорублена, кое-где устроены тати,— ответил Румянецв, у которого всегда все было заранее готово.

— Очень хорошо,— сказал Богарев,— вот одно нехорошо — курить нечего. У вас нет папирос, товарищ Козлов?

— Я ведь не курю, товарищ комиссар,— ответил виноватым голосом Козлов,— вы бы меня казнили, если б слышали, как Мерцалов уговаривал меня взять для вас пару коробок папирос, а я отказывался, говорил: «Есть у них табак, есть».

— Эх, ты,— проговорил сердито Румянецв,— а мы здесь клевер курим.

— Да, это вы нам удружили, — сказал Богарев, — а какие папирасы давал вам Мерцалов?

— Голубая коробочка и белые горы с всадником; «Казбек» что ли.

— Ну, ясное дело, «Казбек», — сказал Богарев, — как вам это понравится, товарищ Румянцев?

— Да уж, видно, не везет, — сказал Румянцев смеясь, — ты, вероятно, единственный командир-разведчик в армии, который не курит. И подлая судьба нас свела с тобой.

— Вы, товарищи, идите, дел много, — протворил Богарев.

Козлов, отойдя на несколько шагов, спросил негромко:

— А что с Мышанским?

Румянцев рассказал.

— Странное дело, — задумчиво сказал Козлов, — я ведь Мышанского знаю давно, еще по мирному времени. Был ведь рабочим. И его всегда не любили за казенный оптимизм. Кричал «ура» и только. Всех врагов готов был шанками закидать. А потом пришли испытания — и скис сразу.

— Вполне понятно, — ответил ему Румянцев, — оптимизм его был фальшивым. Это как наш комиссар говорит: перешел в свою противоположность.

— А комиссар как? — спросил Козлов.

— О, комиссар — силаща, — сказал Румянцев и вздохнул. — А Невтулова Сережи-то нет моего, убили.

— Я знаю, — сказал Козлов, — хороший был парень Невтулов. Накрылся, бедняга.

Через некоторое время красноармейцам объявили о ночном выступлении. Начались сборы. Лица людей, как всегда перед серьезным делом, стали нахмурены и задумчивы. В полусумраке лиственной тени и заката они казались особенно темными, похудевшими, возмужавшими.

Этот лес казался людям обжитым, знакомым домом, — и стволы деревьев, под которыми шли долгие беседы, и поросшие мхом ямы, где так мягко и спокойно спать, и поскрипывание сухих ветвей, и шум листвы, и окрики часовых, стоявших за орешником, и малинник, и грибные места, и стук дятлов, и кукуванье кукушек. Утром бойцов уже не будет в этом лесу. И многим предстояло встретить смерть и восход солнца на широком поле.

— На-ка, возьми табачницу на завтра, — в случае убьют меня, себе оставишь, жалко, вещь больно хороша, — сказал один земляк другому, — ведь резиновая вещь, полторы пачки махорки входит, воды, сырости не боится.

— Убить и меня могут, — с обидой сказал второй.

— Да ты ведь в санитарах, а мне первому подниматься. Мой шанец больше.

— Ладно, давай. Вспоминать тебя буду.

— Только смотри, в случае жив останусь, отдай. При свидетелях тебе даю.

Все стоявшие подле рассмеялись.

— Эх, покурить охота, — сказали сразу несколько голосов.

Богарев обходил людей, прислушивался к разговорам, шел дальше, снова слушал.

И спокойное, суровое сознание решившейся на смертный бой народной силы хватывало его. Он видел и чувствовал это.

Заходящее солнце пробилось меж стволов деревьев, на миг осветило загорелые лица бойцов, черные винтовочные стволы, поиграло на медных тельцах

патронов, которые раздавал старшина, осветило белые бинты перевязок на ранных. И сразу, словно возникшая от этого вечернего солнца, послышалась песня. Ее затынул Игнатьев. Чей-то голос подхватил, затем третий, четвертый. Люди, певшие песню, не были видны за деревьями, и казалось, сам лес пел печально, величаво...

К Богареву подошел красноармеец Родимцев.

— Товарищ комиссар, я к вам от бойцов посланный,— сказал он и протянул Богареву красный матерчатый кисет, вышитый зелеными крестиками.

— Что это? — спросил Богарев.

— Бойцы промеж себя решили,— сказал Родимцев,— как мы тут все без табаку терпим,— комиссару нашему собрать покурить.

— Что вы,— сказал Богарев дрогнувшим голосом,— последний табак. Не возьму, я ведь знаю, сам курильщик.

Родимцев сказал тихо:

— Товарищ комиссар, бойцы от чистого сердца к вам. Обидите их сильно.

Богарев посмотрел на серьезное, торжественное лицо Родимцева и молча взял легонький кисет.

— Да и табаку-то у всех с полстакана набралось,— в грузовик, где курево было, ведь аккурат зажигательный немец пустил, по самому больному месту, знал, куда стукнуть. А бойцы говорят: — Наш комиссар все ночи не спит, карту смотрит, вот тут-то главное ему покурить.

Богарев хотел поблагодарить Родимцева и вдруг почувствовал, что волнение sjало ему горло. Впервые за время войны слезы выступили у него на глазах.

Песня печальная, медленная раздавалась все громче, точно ее раздувало заревом красного вечернего солнца.

XX

Мерцалов проснулся задолго до рассвета. В сумерках на столике блиндажа светлел белый алюминиевый котелок, лежала карта, на двух углах ее лежали ручные гранаты, чтобы не топорщились края новой бумаги. Мерцалов, глядя на новую карту, усмехнулся. Это начальник штаба вчера привез из топографического отдела штаба армии новые листы и торжественно сказал: — Товарищ Мерцалов, по старой карте мы все время отмечали отступление. Я привез новую. Мы ее завтра обновим боем по прорыву германского фронта. — Они сожгли старую карту, замусоленную, стертую на сгибах, отразившую на своей поблекшей, тряпично-мягкой бумаге кровавые бои отступавшей Красной Армии. Она все видела, старая споревшая карта, на нее смотрел Мерцалов на рассвете 22 июня, когда фашистские бомбардировщики перелетели границу и появились над спавшими артиллерийскими и стрелковыми полками, она видела дожди и прозы, ее обесцвечивало солнце в жаркие июльские полдни, ее трепал ветер на широких украинских полях, на нее поверх головы командиров смотрели высокие старые деревья в белорусских лесах.

— Что ж,— сказал Мерцалов и неодобрительно посмотрел на белый котелок. — Красить их надо в зеленый цвет, а то демаскируют бойца,— то солнце на нем зайграет, то белеет среди ночи,— подумал он.

Мерцалов достал из-под нар свой чемоданчик и раскрыл его. Пахнуло смеланным запахом сыра, копченой колбасы, одеколona, душистого мыла. Каждый раз, раскрывая чемодан, Мерцалов вспоминал жену, укладывавшую его вещи в

день нападения немцев. — Что ж, — снова сказал Мерцалов и достал пару ботинок, носки, чистые портянки. Он зажег свечу и побрелся. После этого он вышел наверх, оглянулся.

До рассвета оставалось около часа, восток был еще темен и спокоен, как вышедшая туманная Широкая ровная мгла лежала над землей. Холодный, темный туман стлался меж ветел и камышей па берегу реки. Нельзя было понять, облачно или ясно темное небо, спокойное и неподвижное, как глаз слепото.

Мерцалов разделся и, шумно дыша, прошел по холодному, влажному песку к воде. — Ох, ты, — сказал он, опутив телом воду. — Он долго мылил голову, шею, уши, тер мочалкой грудь, темная ночная вода вокруг него поглубела от мыла. Помывшись, он надел чистое белье и вернулся в блиндаж. Он сел на нары и вынул из пачки накрахмаленный белый воротничок и подшил его к вороту гимнастерки. Потом он вынул из бутылки на ладонь остатки одеколона и смочил им щеки, погудрил бритые места, собрав пудру, сохранившуюся в рубчиках круглой коробочки. После этого он тщательно обтер щеки влажным полотенцем и начал неторопливо одеваться, — надел синие костюмные брюки, габардиновую гимнастерку, новый ремень. Он долго чистил сапоги: сперва обтер их от пыли, навел глянец щеткой и суконкой. После чистки сапог он снова помыл руки, причесал влажные волосы, встал во весь рост, проверил револьвер и вложил его в кобуру, взял из чемодана пистолет и опустил в карман, переложил фотографию жены и дочери в карман гимнастерки.

— Ну, вот так, — сказал он, посмотрел на часы и разбудил начальника штаба.

Патинался рассвет. Холодный ветер зашумел в камышах, подвижной сетью лег на реку, пошел скорым шагом по широкому полю, легко перепрыгивая через окопы, противотанковые рвы, крутя песчаую пыль на холмиках блиндажей, гоня кусты перекаати-поле на заграждения из колючей проволоки.

Солнце поспешно поднималось в небо, словно старый судья над огромным земным полем, не знающий волнений и страстей, готовый занять свое высокое привычное место. Темные ночные облака накалялись, как холодные глыбы угля, горели мрачным и тусклым кирпичным пламенем. Все в этом утре казалось зловещим, вешающим тяжкий труд битвы и смерть для многих. То было простое осеннее утро. По этой земле, точно в такое же утро год назад шли позывывая приехавшие гостить в деревню рыболовы, и земля эта, и небо, и солнце, и ветер полны были для них мира, покоя и сельской красоты. Но в это лето все стало зловещим: и колодцы, таившие в своей прохладной зелено-голубой тьме отраву, и стога сена, освещенные луной, и яблоневые сады, и белые стены хат, забрызганные кровью расстрелянных, и тропинки, и ветер, шумящий в проводах, и опустевшие гнезда аистов, и бабитаны, и красная гречка — весь чудный мир украинской земли, мокрой от крови и посолоневшей от слез...

Атака началась в пять часов утра. Черные штурмовые самолеты прошли над пехотой. Это были новые, недавно прибывшие на фронт машины. Они шли низко, и пехота видела у них под крыльями притаившиеся, готовые к надежному бомбы. Дымы поднялись над позициями немцев, и низкий перекаатывающийся грохот прошел по всему широкому горизонту. Одновременно с первым бомбовым ударом самолетов открыли огонь батареи полковой артиллерии. Недалеко пустой воздух, по которому лишь бежал утренний ветер, весь наполнился свистом и гулом разрывов, ветру стало тесно.

Мерцалову очень хотелось пойти с первым батальоном в атаку, но он сдерживал себя. В эти минуты он впервые внутренне почувствовал всю важности своего пребывания в штабе. «А ведь прав он был, черт», — сердито подумал Мерцалов, вспоминая свой тяжелый почной разговор с Богаревым. Он каждый день вспоминал этот мучивший его разговор. И сейчас он чувствовал и видел, сколько нитей сражения собралось в его руках. Хотя каждый командир имел с вечера точную задачу и отлично знал, что ему нужно делать, хотя заявки на бомбардировщики, штурмовики и истребители были весьма точно разработаны, и командир батальона тяжелых танков майор Серегин больше часа просидел над картой с Мерцаловым, но с первых же минут после начала сражения энергично начал действовать противник, и это сразу потребовало быстрого, напряженного управления всей сложной и подвижной системой.

Уже два раза налетали советские самолеты на передний край немецкого расположения, и черный дым стоял над немецкими окопами и блиндажами. Но когда стрелковые части пошли вслед за тяжелыми танками в атаку, немцы открыли мощный огонь из всех артиллерийских, минометных батарей, противотанковых пушек. Командиры батальонов звонили Мерцалову, говорили, что пехота залегла — огонь противника настолько плотен, что продвижение невозможно. Мерцалов поднялся, отстегнул кобуру револьвера: надо поднимать пехоту и во что бы то ни стало прорваться вперед. Это казалось самым простым для человека, не знавшего страха: кинуться в боевое пекло. На мгновение он почувствовал злое разочарование: неужели зря он так тщательно и долго готовил сегодняшнее сражение, неужели зря он впервые с профессорской тщательностью разрабатывал детали готовящегося боя?

— Нет, товарищ начальник штаба, — сказал он сердито, — война была и будет искусством не бояться врага и смерти. Надо поднимать пехоту.

Но он не ушел из штаба. Снова зазвонил телефон, за ним тотчас же второй.

— На противника, сидящего в окопах, слабо воздействуют удары с воздуха, он сохраняет свою огневую силу, — говорил Кочетков, — пушки и минометы бьют беспрерывно.

— Танки встречают сильный огонь артиллерии, пехота залегла, а танки оторвались, ушли вперед, у двоих подбиты гусеницы, — докладывал Серегин. — Считаю дальнейшее продвижение нецелесообразным.

И снова зазвонил телефон: представитель Военно-Воздушных сил спрашивал об эффекте бомбежек и не нужно ли изменить систему налетов, так как летчики докладывают: пехота не продвигается и артиллерия противника сохраняет активность. А в это время в штаб пришел подполковник, представитель артиллерийского управления, — у него было несколько важных, требующих немедленного решения, вопросов.

Мерцалов закурил папиросу, нахмурившись, сел за стол.

— Повторим налеты на пехоту? — спросил начальник штаба.

— Нет, — ответил Мерцалов.

— Снова предложим пехоте двигаться вперед, передовые подразделения залегли в трехстах метрах от противника. Еще сто метров можно взять рывками, — сказал начальник штаба.

— Нет, — ответил ему Мерцалов.

Он задумался так глубоко, что не заметил, как вошел в штаб дивизионный комиссар Чередниченко. Не посмотрел на него и начальник штаба. Дивизионный комиссар прошел мимо вытянувшегося часового в блиндаж; сел в темном

столке возле нар, где обычно сидели посыльные, и, пощипывая трубкой, спокойно и внимательно слушал телефонные разговоры, наблюдая за Мерцаловым начальником штаба.

Чердиченко приехал к Мерцалову, минуя командный пункт Самарина. Он отел поспеть к началу атаки и, зная, что Самарин обязательно побывает на месте проведения важной операции, решил встретиться с командармом на перерывной.

Мерцалов смотрел на карту, и его обострившаяся до боли мысль видела сражение как единое целое, где, подобно переменному магнитному силовому полю, мгновенно то возникали мощные узлы напряжения, то ослабевали и меркли. Он увидел, раскрыл стержень обороны противника, стержень, разрушавший своим острием переменчивые напряжения атаки. Он увидел, как отдельные слабые, накладываясь одно на одно, лишь сосуществовали механически, не интерферируя подобно усиливающим друг друга колебаниям с одинаковой длиной волны. Мозг его воссоздал в динамической проекции все многочисленные составляющие этого сложного боя. Он мерил упорную живую силу с ревом идущих самолетов, рокошующих тяжелых танков, огневое давление легких и тяжелых батарей, он ощутил потенциальную энергию войск Богарева, паходившихся в тылу у противника. Его словно осветило всего внутри ярким радостным светом. Решение необычайно простое, математически неопровержимое, пришло к нему. Так ученый математик или физик в первой стадии исследования бывает подавлен сложностью и противоречивой тяжестью элементов, которые открывает он во внешне простом и обычном явлении; ученый с великим напряжением соединяет, пытается привести во взаимосвязь эти рассыпающиеся, противоречащие друг другу слабые; они выскальзывают, упрямые, быстрые, упругающиеся. И как награда за тяжкий труд анализа, за напряженные поиски решения, приходит ясная и простая мысль, снимающая всю сложность и дающая единственно правильное, воспитательное в своей неопровержимой простоте решение. Этот процесс называется творчеством. И нечто подобное пережил Мерцалов, решая сложную задачу, возникшую перед ним. Никогда, пожалуй, не испытывал он такого волнения и такой радости. Он сказал о своем плане начальнику штаба.

— Но ведь это находится в противоречии..., — и начальник штаба перечислил, в противоречии с чем находится предложение Мерцалова.

— Что ж, — сказал Мерцалов, — помните, как сказал Бабаджанян, — есть одна норма, и эта норма — победа.

Он задумался на мгновение. Да, для того, чтобы принимать ответственное решение за штабной картой, иногда требуется больше силы и мужества, чем для подвига на поле битвы. Но Мерцалов нашел в себе это мужество, мужество ответственного решения. Он знал, что русский командир в тяжелом положении искал оправдания и выхода в том, что подвергал самого себя опасности смерти. Если после сражения у командира спрашивали ответа, он говорил: когда я увидел, что дело плохо, я шел впереди всех. Что мог я еще сделать? Но Мерцалов знал: эта великая жертва не могла ничем исчерпать ответственности за исход сражения.

Дело было таково. Удары авиации не могли подавить немецкой пехоты, закопавшейся в землю. Немецкая артиллерия и минометы препятствовали движению танков, отрывали наступавшую пехоту от машин. Пехотные подразделения, прорвавшиеся вперед, ослабленные и подавленные огнем артиллерии и

минометов, попадали под удар немецких автоматов и пулеметов. Артиллерия наша, превосходявшая немецкую почти втрое, распыляла свои силы, ведя огонь по широкому фронту переднего края немецкой обороны. Мерцалов видел, что огневые усилия русских самолетов, танков, артиллерии и пехоты, равномерно распределенные по всем элементам немецкой обороны, лишь четвертую либо пятую часть своей мощи отдавали борьбе с немецкими пушками и минометами. Их-то и следовало сломать, в борьбе с ними был ключ к успеху на первом этапе атаки.

И Мерцалов, не повышая голоса, передавал указания полковой и приданной полку дивизионной артиллерии, тяжелому танковому батальону, штурмовикам, бомбардировщикам и истребителям, по заявкам полка бомбившим и обстреливавшим немцев. Он приказал пехоте отойти и сосредоточиться в безопасных укрытиях для удара по тем местам, где были собраны главные силы немецкой артиллерии и минометов. Мерцалов знал, что немцы, надеясь на мощь пушек, в этих местах имели лишь небольшие пехотные заслоны. Мерцалов знал, что силой огня, имевшегося в его распоряжении, он без труда подавит немецкую артиллерию. Он избрал для атаки самый сильный участок немецкого фронта, так как понял и ощутил возможность внезапно превратить его из сильного в самый слабый, подготовленный для прорыва.

Начальник штаба внутренне ахнул, слушая распоряжения Мерцалова. Пехоте сосредоточиться против артиллерийских и минометных батарей! Отойти без боя с занятых большой кровью участков!

— Товарищ Мерцалов,— сказал он,— неужели отходить пехоте?

— Тридцать пять лет я Мерцалов,— сказал командир полка.

— Товарищ Мерцалов, мы продвинулись на восемьсот метров вперед, неужели не закрепим?

— Приказ мной отдан, менять я его не намерен.

— Но ведь вас обвинят, вы ведь знаете,— тихо сказал начальник штаба,— как Самарин строг. А здесь, в самом начале атаки, да после недавнего нашего неудачного отхода, вы ведь ставите все на карту.

— Вот на эту карту,— сумрачно сказал Мерцалов, указывая на стол,— и бросьте, Семен Гермогенович, об этом говорить, я все знаю, ще маленький, мне не до шуток.

У входа в блиндаж послышались громкие голоса. Мерцалов и начальник штаба быстро поднялись, к ним шел генерал Самарин.

Он посмотрел на расстроенное лицо начальника штаба и, поздоровавшись кивком головы, спросил:

— Ну как, прорвали?

— Нет, товарищ генерал-майор,— ответил Мерцалов,— еще не прорвал, но прорву.

— Где ваши батальоны?— отрывисто спросил Самарин. Подъезжая к штабу полка, он встретил отходящие танки и пехоту, спросил лейтенанта, по чьему приказу они отходят. «По приказу командира полка, Героя Советского Союза майора Мерцалова»,— четко отрапортовал лейтенант. И ответ этот привел Самарина в бешенство.

— Где ваши батальоны, почему они отходят?— страшным своим спокойствием голосом спросил Самарин.

— Отходят планово, по моему приказу, товарищ генерал-майор,— ответил Мерцалов и вдруг увидел, что Самарин, вытянувшись, смотрит на идущего к

нему из затемненного угла блиндажа военного. Он всмотрелся и тоже вытянулся: перед ним стоял член Военного Совета фронта.

— Здорово, здорово, Самарин, здравствуйте товарищи,— сказал Чередниченко,— пришел не поздоровавшись к вам в блиндаж, спасибо часовой пропустил, да и сидел тут на парах, смотрел, как вы воюете.

«Все равно я прав»,— подумал упрямо Мерцалов,— «докажу».

Чередниченко поглядел на хмурого Самарина, на взволнованного начальника штаба и сказал:

— Товарищ Мерцалов!

— Слушаю, товарищ дивизионный комиссар,— сказал Мерцалов.

Мгновенье дивизионный комиссар смотрел прямо в глаза Мерцалову. И в этом спокойном и немного грустном взгляде Мерцалов с удивлением и радостью увидел, что дивизионный понял, какой важный и торжественный момент происходит в боевой жизни командира полка.

— Товарищ Мерцалов,— медленно сказал дивизионный комиссар.— Я радуюсь на вас, товарищ Мерцалов. Вы руководите боем отлично, я уверен в вашем успехе сегодня.— Он мельком посмотрел на Самарина и сказал:— От лица службы спасибо вам, майор Мерцалов.

— Служу Советскому Союзу,— ответил командир полка.

— Ну, что ж, Самарин, поехали?— сказал Чередниченко, обнимая генерала за плечо,— разговор у нас есть. Да и надо людям работать дать, а то понаехало начальство, они стоят навытяжку, а дела у них много, пусть поработают.

Выходя из блиндажа, он подошел к Мерцалову и спросил негромко:— Ну, как ваш комиссар, майор?— и, улыбаясь, совсем тихо добавил:— Разок поругались с ним? Верю говорю? Было?— И Мерцалов почувствовал, что Чередниченко словно присутствовал при ночном чаепитии, словно напомнил о понятии им тайной связи между той ночью и сегодняшним днем.

XXI

Командир немецкой части, готовившейся к форсированию реки, полковник Брухмюллер, принимал у себя приехавшего накануне вечером представителя генерального штаба полковника Грюна. В утро внезапно начавшегося контрудара русских они завтракали и пили кофе в штабе, разместившемся в помещении школы. Брухмюллер и Грюн давно знали друг друга и до поздна беседовали о фронтовых и внутренних делах. Грюн занимал положение куда лучше и выше, чем фронтовой полковник, но он уважал хозяина. Брухмюллер был известен в германской армии как один из способных командиров, большой мастер артиллерийских боев. О нем как-то сказал генерал-полковник Браухич: «Этот Брухмюллер недаром носит свою фамилию». Очевидно, Браухич намекал на знаменитого однофамильца полковника, прославившегося умением организовывать массивные удары тяжелой артиллерии, предшествовавшие наступлениям на западном фронте в войне 1914 года. И худой Грюн, пренебрегая сложной системой градаций, которая существовала в армии и разрешала вести доверительные беседы лишь с людьми своего круга, откровенно рассказывал толстому лысому полковнику о настроениях высшего штабного офицерства и внутренних немецких делах. Рассказы эти сильно разволновали и огорчили Брухмюллера.

— Да,— сказал он с простотой, немного шокировавшей Грюна,— пока мы здесь воюем, там уже идет грызня. В конце концов эти интриги — промышлен-

ники, национал-социалисты, вся эта фронда, контрфронда в генералитете запутают дело. Надо ясно сказать: Германия — это армия, действующая армия — это Германия. Мы, и никто другой, должны все решать и определять.

— Нет,— сказал Грюн,— я вам завтра расскажу об обстоятельствах не менее важных, чем успехи на фронте, которые с каждым днем становятся сложнее и нетерпимей для высшего офицерства. Бывают дни, когда обстановка становится прямо таки парадоксальной.

Но он не продолжил на утро беседы, так как русские начали внезапно наступать, и естественно, интерес обоих полковников приковался к событиям дня.

Связь работала превосходно, и Брухмюллер, сидя в штабе, имел полную картину происходившего сражения: радио, телефон каждые пять-шесть минут доносили о ходе боя.

— Русские обычно применяют фронтальное давление, равномерно распределяя его по всей линии. Они это называют «бить в лоб»,— сказал Грюн, рассматривая карту,— и, очевидно, сами видят неэффективность таких действий. В их приказах об этом часто говорится. Но приказы остаются на бумаге. В этой тактике проявляется национальный характер русских.

— О, характер,— сказал Брухмюллер,— у русских странный характер. Но, знаете, в боях мне никогда не приходилось понять характера командира, дерущегося со мной. Он распыляет туман. Я не могу уловить, что он любит, какой вид оружия он предпочитает. Но меня это не совсем радует, я не люблю тумана.

— О, тут нечего ждать,— сказал Грюн,— мы им навязали всю сложность современной нашей немецкой войны. Самолеты, танки, десанты, маневр, комбинированные удары, динамическая трехмерная война.

— Кстати, на нашем фронте у них появилось изрядное количество тяжелых танков и новых самолетов. И особенно эффектно эти бронированные черные машины, «шварц-тодт» их прозвали солдаты.

— Да, но они мало что могут сделать, поглядите,— сказал Грюн, показывая донесение, только что отпечатанное писарем.

Брухмюллер улыбнулся.

— Надо откровенно сказать,— проговорил он,— дело здесь построено так, что и я и вы, столкнувшись с такой вот системой обороны, пришли бы в отчаяние.

И, навалившись широкой грудью на стол, он начал с увлечением рассказывать о своей системе огня.

— Это напоминает детскую игрушку, которой забавляется мой сын,— сказал он,— одно кольцо вдето во второе кольцо, а второе вдето в третье, а третье снова соединено с первым. Поди догадайся, как разъединить их, порвать их нельзя — они из стали. А ключ в том, что кольца рвутся в том месте, где они кажутся наиболее солидными и массивными.

Телефон и радио приносили из батальонов, рот, батарей хорошие известия: атака русских выдыхалась.

— Приходится удивляться, как им удалось пройти на восемьсот метров. В смелости я им не откажу,— сказал Грюн, закурился папиросу, и спросил:

— Когда вы предполагаете форсировать реку?

— Через три дня,— ответил Брухмюллер,— я имею приказ.— Он внезапно пришел в хорошее настроение и погладил себя по животу.

— Что бы я делал, сидя в Германии с моим аппетитом, наверное погиб бы,

поверите, мне уже хочется обедать,— сказал он,— а здесь у меня все отлично поставлено. Я воюю с первого сентября тридцать девятого года и теперь, ей богу, могу быть консультантом на кухне в лучшем международном отеле. Я завел правило: есть национальные блюда тех стран, где воюю. В еде я космополит.— Он посмотрел искоса на Грюна — может ли худой человек, пьющий лишь черный кофе и заказавший себе на обед бульон с гренками и нежирную отварную курицу, интересоваться такими вещами? Может быть, слабость к вкусной еде, слабость, которую Брухмюллер почитал в себе, покажется Грюну неприятной?

Но Грюн, улыбаясь слушал его: ему понравился оживленный рассказ полковника о еде. Об этом будет смешно и интересно рассказать в Берлине.

И Брухмюллер, посмеиваясь, рассказывал:

— В Польше я ел зразы и фляки — это противно, но чертовски вкусно, елечки кнышки, сладкие мазурки, пил старку; во Франции — всевозможные рагу, легюмы, артишоки, тонкие жаркие, но и попил я там поистине императорских вин; в Греции от меня воняло чесноком, как от старой торговки, и я боялся ожечь себе нутро непомерным количеством перца. Ну, а здесь поросята, гуси, индюки, — очень вкусная штука, в-а-ре-ники — это вареное белое тесто, начиненное вишнями либо творогом и залитое сметаной. Вы сегодня обязательно попробуете.

— О, нет, нет,— смеясь сказал Грюн и поднял, как бы отстраняя опасность, руку,— я хочу увидеть Берлин, детей и жену.

А в это время адъютант сообщил, что русские танки отходят, прикрывая своим огнем отступление пехоты, что авиация русских больше не появляется над расположением пехоты, что артиллерия всех калибров прекратила огонь.

— Ну, вот вам пресловутый туман,— сказал Грюн.

— Нет, это не то,— наморщив лоб, ответил Брухмюллер.— Я знаю упорство Ивана.

— Все еще верите в туман?— насмешливо спросил Грюн.

— Я верю в наше оружие,— ответил Брухмюллер,— возможно, они успокоились, возможно, что нет. Скорее, что нет. Но для меня важно не это, а вот что,— и он ударил тыльной частью ладони по карте.

Там жирным фабрическим карандашом были гроздьями наведены меж зелени леса и голубизны вод красные кружки, обозначающие германские артиллерийские и минометные позиции.

— Вот во что я верю,— повторил Брухмюллер.

Он сказал эти слова медленно и значительно. И Грюну показалось, что Брухмюллер имеет в виду не только военные усилия русских, но и предмет их ночных разговоров.

Через пятнадцать минут телефон известил, что русские снова проявляют активность.

Первый удар бомбардировщиков был нанесен по батареям тяжелых пушек. Тотчас за этим пришло сообщение, что русские тяжелые танки нацупали расположение батальонных минометов и открыли огонь из семидесятипятиммиллиметровых орудий. И сразу же за этим спокойный голос майора Швальбе сообщил, что он со своими стопятидесятимметровыми пушками попал под шквальный огонь русской тяжелой артиллерии.

Брухмюллер сразу понял, что русские усилия распределены не равномерно вдоль фронта, а имеют направленность. И он словно ощутил сильный тревожа-

щий укол острия нащупавшего его оружия. Он настолько был связан прочно и привычно с войсками, что это чувство приобрело физическую реальность, и он невольно провел рукой по груди, желая отстранить мешающее и беспокоящее ощущение. Но ощущение не исчезло, а продолжалось.

Едва улетели русские бомбардировщики, как над артиллерийскими позициями появились истребители. Командиры батарей сообщали, что не могут вести огня: прислуга прячется в укрытия.

— Вести огонь во что бы то ни стало, с максимальной интенсивностью, — приказал полковник.

Он сразу весь напрягся. Чорт побери, ведь недаром он носит фамилию Брухмюллер. Недаром его знают и уважают в армии. Он был действительно опытным, решительным и умелым военным. Еще в академии о нем говорили преподаватели, как о представителе подлинного боевого германского офицерства.

Вся большая налаженная, смазанная и отлично действующая штабная машина словно дрогнула от порыва его воли и сразу заработала. Зазвонили телефоны, адъютант и младшие офицеры деловито ходили от передатчиков полевого телеграфа в комнату полковника, безумолчно тараторил радиопередатчик, связные мотоциклисты, торопливо хлебнув русского шпанса, плотней нажав пилотки, выезжали из школьного двора, пыля, мчались по дорогам и тропинкам.

Брухмюллер лично говорил по телефону с командирами батарей.

Едва ушли русские истребители, как снова появились над артиллерийскими позициями пикирующие бомбардировщики. Брухмюллер понял: русский командир задался целью сломить и подавить его главные средства огня. Орудие за орудием выходило из строя. Две батареи минометов вместе с прислугой погибли. Русский методически нащупывал одну огневую позицию за другой.

Брухмюллер вызвал пехотный батальон, стоявший в резерве, но через несколько минут ему сообщили, что черные русские штурмовики налетели на бреющем полете на подходящую к фронту колонну грузовиков и засыпали ее снарядами и пулеметными очередями. Брухмюллер приказал бросить грузовики и двинуться пешком. Но и это оказалось невозможным: русские открыли сосредоточенный огонь по дороге и сделали ее непроходимой.

Первые полковник испытал чувство связанности. Чья-то воля мешала ему, путала его распоряжения. Невыносимо было чувство, пусть даже минутного, преимущества над собой военного человека по ту сторону фронта.

Ему внезапно вспомнилось, как год тому назад, когда он был во Франции, ему захотелось присутствовать при необычайно сложной операции, которую производил приехавший на фронт знаменитый профессор, мировой авторитет по хирургии мозга. Профессор ввел в нос спящему пациенту странный тонкий и гибкий инструмент, нечто среднее между иглой и ножом, и быстрыми белыми пальцами вгонял эту блестящую штуку все глубже и глубже в нос больному. Брухмюллеру объяснили, что пораженное место находится где-то повыше затылочной кости, и профессор ведет свой гибкий инструмент к больному месту между черепной коробкой и головным мозгом. Брухмюллера поразила эта операция. И сейчас ему показалось, что тот воюющий против него имеет такое же острое, прислушивающееся лицо, такие же быстрые пальцы, как этот врач, ведущий в темноте свой стальной инструмент среди драгоценных нервных узлов и нитей тонких сосудов.

Полковник раздраженно позвал адъютанта.

— Зачем вы здесь, вы ведь артиллерист, вы офицер, вы лично мне передали сообщение о гибели трех командиров батарей и героической смерти майора Швальбе, моего лучшего боевого помощника. Ваш воинский долг требует, чтобы вы сами попросили меня откомандировать вас на линию огня. Или вы думаете, что ваши военные обязанности ограничиваются расстрелами старух и мальчишек, заподозренных в симпатиях к партизанам?

— Господин полковник, — с обидой сказал адъютант, посмотрел на Брухмюллера и проговорил поспешно: — Господин полковник, имею честь просить вас отправить меня на боевую линию.

— Ступайте, — сказал Брухмюллер.

— Что происходит? — спросил Грюн.

— Происходит то, что этот русский, наконец-то, проявил свой характер, — ответил Брухмюллер.

Он снова склонился над картой. Противник спокойно развивал игру. Брухмюллер теперь видел его лицо. «Пехота русских перешла в атаку на участке наших артиллерийских позиций», — сообщила лента полевого телеграфа. В эту минуту убежал офицер и крикнул:

— Господин полковник, с тыла бьет тяжелая артиллерия русских.

— Нет, я периграю его, — убежденно сказал Брухмюллер. — Со мной ему не справиться.

Ветер хлопал незакрытыми окнами, поскрипывали двери, ветер шелестел большой учебной картиной на стене. Коричневая мохнатая голова человеческого пращуря на ходившей от ветра бумаге словно производила упрямые жевательные движения своими мощными челюстями.

XXII

Наблюдатели Румянцева сидели совсем близко от немцев. Лейтенант Кленовкин, лежа в кустах, видел, как два офицера, выйдя из подземного укрытия, пили кофе, курили. Он слышал их слова, видел, как телефонист докладывал им, и один из офицеров, очевидно, старший, передавал телефонисту распоряжения. Кленовкин с огорчением посмотрел на свои часы: зря он не изучал в свое время немецкого языка, ведь сейчас мог бы он от слова до слова подслушать немецкие разговоры. Гаубицы стояли на лесной опушке в тысяче метров от того места, где лежал Кленовкин. Там же сосредоточилась пехота. Раненых тоже подвезли поближе: они лежали на носилках и в грузовиках, подготовленные к тому, чтобы в любую минуту двинуться вперед вслед за бросившейся в прорыв пехотой.

Телефонист Мартынов, лежавший рядом с Кленовкиным, с особым интересом смотрел на немецкого телефониста. Его смешил и сердил этот немец, занимавшийся сходной с его профессией.

— Хитрая морда, видать пьяница, — шептал Мартынов, — а пусти его на наш аппарат — не поймет, немец-то.

Необычайное напряжение охватило всех, начиная от лежавшего рядом с немецким блиндажем Кленовкина и кончая ранеными и мальчиком Леней, ожидавшими в полутемном лесу начала атаки. Все слышали канонаду, стрельбу автоматов и пулеметов, разрывы воздушных бомб. Часто над головами красноармейцев с ревом пролетали краснозвездные самолеты, делавшие развороты к немецким позициям. Большого труда стоило людям сдерживать себя — не пома-

хоть руками, не крикнуть, когда машины переходили в пике над линией немецких окопов.

Богарев волновался не меньше других. Он видел, что и Румянцев, и бесстрашный смешливый Козлов напряжены и измучены ожиданием. Прошли условленные этапы расписанной заранее атаки. Прошло условленное время совместного удара, а сигнал все не подавался. Когда шум боя усиливался, командиры прерывали разговор и вслушивались, всматривались. Но нет. Мерцалов не звал их.

Необычайно и странно воспринимался на слух этот бой войсками, находившимися в тылу у немцев. Все звуки приходили с обратным знаком: разрывы снарядов были русскими, орудийные залпы шли от немцев, над головой иногда свистела залетная пуля, и это был свист русских пуль, а треск автоматов и пулеметные очереди немцев воспринимались особенно злобеще и тревожно. И эта необычность, перевернутость звуков боя тоже волновала людей.

Красноармейцы лежали за деревьями, в кустах, в высокой не снятой конопле и слушали, напряженно всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли.

О, как хороша была в эти минуты земля! Как благостны казались людям ее тяжелые складки, желтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. Какой чудесный запах шел от земли — лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах мирного праха и грибов, сухих ягод и многожды превшего и вновь высухавшего хвороста. Ветер приносил с поля теплый и печальный запах вянущих цветов и сохнувших трав; в полутьме леса, внезапно пронзаемый солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажненная росой паутина, словно дохнет чудо спокойствия и мира.

Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. Спит он, что ли? Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него: муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, палочки. Может быть у них тоже война, думает Родимцев, вот и ползут колонны мобилизованных на строительство рвов и укреплений. Или это хозяин ставит себе новый дом и тянутся плотники, штукатуры на работу...

Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с воздухом ноздри. Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. Как велик этот аршин земли! Как богат этот отцветший куст! По сухой земле тонкой молнией прошла трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают встречные. Божья коровка, толстая баба в красном сарафане, мечется, ищет перехода. Ох, ты, полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапки и пропуршала среди травы, словно и не было ее здесь. Подул ветер, и трава гнется, пригибается, каждая по-своему, одна покорно-быстро ложится к земле, другая упрямо, сердито дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом — воробьиным зябтом. А на кусте шевелятся ягоды шиповника — желтые, красноватые, закаленные солнцем, словно глина огнем. Давно уже видно брошенная хозяйшином паутина, молтается на ветру, в ней запутались сухие листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в нее жолудя. Она словно невод, выброшенный на берег после гибели рыбака.

А сколько такой земли, леса, сколько бесчисленных аршин, где жизнь. Сколько зорь краше, чем эта, были в жизни Родимцева, сколько летних быстрых дождей, сколько птичьего крика, прохладного ветра, ночного тумана. Сколько работы! А какие были славные часы, когда он приходил с работы, и жена сурово, но с душевной любовью, спрашивала: «Обедать будешь?» и он ел мягкую картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены, в спокойной духоте избы. А сколько жизни впереди! Много ли? Ведь все может кончиться вот теперь, минут через пятьок. И сотни красноармейцев лежат так — думают, вспоминают, смотрят на землю, на деревья, кусты, вдыхают запах утра. Нет лучше в свете этой земли.

Игнатьев задумчиво говорит товарищу:

— Слышал я как-то два лейтенанта-зенитчика между собой говорили: вот война идет, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет до наших делов. Вот я все думаю. Это неправильно, не увидели лейтенанты сути. Война эта всей жизни коснулась — ты возьми лошадей. Чего только не терпят. Или, помню, стояли мы в Рогачеве: там все собаки по тревоге в погребка лезли, суку одну я заметил — собачат в щель прятала, а как налет кончится — обратно гулять выводила. Ну, а птица — гуси, куры, индюшки — разве они от немца не терпят? И тут, кругом, в лесу, я замечаю, птица пугаться стала — чуть самолет летит, тучей поднимается, гаждят, шумят, мечутся. Сколько леса пропало! Сколько садов! Или вот я сейчас думал: идет бой на поле, мы тут залегли, под тысячу человек, — всех этих муравьев да комарей кувыркком вся жизнь пошла. А если немец газ пустит, а мы ему в ответ — тут уж по всем лесам да полям жизнь перевернется — и до мышей, и до ежей, до всех война доберется, начнет казавка да птица задыхаться, куда ей деться?

Он приподнялся и, глядя на товарищей, сказал с веселой печалью:

— Ох, и хорошо, ребята! Ведь только в такой день и поймешь: вот, кажется, тысячу лет бы так пролежал и не наскучило бы. Дышишь.

Богарев слушал бой. Внезапно гул разрывов стал затихать, советские самолеты больше не летали над немецкими позициями. Неужели натиск отбит? Неужели Мерцалов не смог надломить настолько оборону немцев, чтобы совместно с Богаревым начать общую атаку? Тоска сжала сердце Богареву. Мысль о возможной неудаче Мерцалова была невыносима, жгуче-тяжела. Он не взвидел света солнца, казалось, синее небо померкло, стало черным, он не видел широкой поляны, раскинувшейся перед ним, все исчезло — и деревья, и поля. Одна лишь ненависть к немцам заполнила его всего.

Здесь, на опушке леса, он ясно представлял себе ту черную силу, которая расползлась по народной земле. Земля народа! В мечтаниях Томаса Мора и утопиях Оуэна, в трудах светлых умов философов Франции, в записках декабристов, в статьях Белинского и Герцена, в письмах Желябова и Михайлова, в словах ткача Алексева выражалась вечная тоска человечества о земле равноимущих, о земле, уничтожившей вечное неравенство между работающим и дающим работу. Тысячи и тысячи русских революционеров погибли в борьбе. Богарев знал их, как старших братьев, он читал о них все, он знал их предсмертные слова и письма, писанные матерям и детям перед смертью, он знал их дневники и тайные беседы, записанные увидевшими свободу друзьями, он знал их путь в сибирскую каторгу, этапы, где они почевали, централь, где заковывали их в кандалы. Он любил этих людей и читал, как самых близких и родных. Многие из них были рабочими в Киеве, печатниками в Минске,

портными в Вильне, ткачами в Белостоке,—городах, теперь захваченных фашистами.

Богарев каждым дыханием своим любил эту землю, завоеванную в невиданных трудах гражданской войны, в муках голода. Землю, пусть еще бедную, пусть живущую в суровом труде, землю, живущую суровыми законами.

Он медленно проходил между залегшими бойцами, останавливался на мгновение, говорил несколько слов, шел дальше.

«Если через час,—подумал он,—Мерцалов не даст сигнала, я подниму людей в атаку, самостоятельно прорву немецкую оборону... Ровно через час».

«Мерцалов должен иметь успех,—сказал он Козлову,—иначе не может быть, иначе я ничего не видел и ничего не понял». Проходя мимо бойцов, он заметил Игнатьева и Родимцева, подошел к ним, присел на траву. Ему казалось, что в этот миг они говорили и думали о том же, что и он.

— О чем вы тут?—спросил он.

— Да вот про комарей рассуждаем,—с виноватой усмешкой сказал Игнатьев...

«Вот оно что,—подумал Богарев,—неужели мы о разных вещах думаем в этот час?»

Сигнал увидели десятки людей—это были красные ракеты, склоненные от русских линий к немецким. Сразу же загремели выстрелы гаубиц. Тысяча людей замерла. Гром гаубиц извещал немцев о том, что в их тылу притаились русские войска.

Богарев оглядел быстрым радостным взором поле, пожал руку Козлову, который шел на правом фланге, сказал ему: «Дорогой друг, надеюсь на вас», во-брал побольше воздуха в грудь и протяжно закричал: «За мной, товарищи, вперед!» И ни один не остался лежать на милой теплой летней земле.

Богарев бежал впереди, и неведомое чувство охватило все его существо—он увлекал за собой бойцов, но и они, связанные с ним в единое, вечное и нераздельное целое, словно толкали его вперед. Он слышал за собой их дыхание, ему передавалось горячее и быстрое биение их сердец. Это народ отвоевывал свою землю. Богарев слышал топот сапог, это была поступь перешедшей в атаку России. Они бежали быстрее и быстрее, а «ура» все росло, все крепло, поднималось все выше, разливалось все шире. Его слышали сквозь грохот битвы перешедшие в штыковую атаку батальоны Мерцалова. Его слышали крестьяне в далекой, занятой врагом, деревне. Это «ура» слышали птицы, поднявшиеся высоко в небо. От этого «ур-р-а» дрожал синий воздух и замерла земля.

Немцы дрались отчаянно. Они мастерски и быстро приняли круговую оборону, открыли огонь из пулеметов. Но две волны русской пехоты шли навстречу одна другой. Стальные танки, закопанные в землю, загорелись от жаркого русского огня. Пылали штабные машины, превращались в обломки богатые обозы с награбленным добром. Неужели многие из этих людей недавно боялись в лесу громкого слова, неужели они прислушивались к крику ворон, принимая его за немецкую речь? Уже не только слышали батальоны Мерцалова «ура», раздающееся из немецкого тыла, уже видели они пыльные лица товарищей, покрытые тяжким потом боевого труда, уже различали они гранатометчиков и стрелков, уже различали они черные петлицы артиллеристов и звезду на фуражке лейтенанта Козлова. А немцы все еще сопротивлялись. Может быть не только смелость руководила их упорством. Может быть опянявшая их вера

в свою непобедимость не хотела покинуть немцев в минуту поражения? Может быть, солдаты, привыкшие семьсот дней побеждать, не могли и не хотели еще понять, что этот семьсот первый день стал днем их поражения.

Но прорвана и перерезана линия фронта. Вот первых два бойца встретились, обнялись, и в боевом шуме раздался голос:

— Браток, папирсочку, неделю не курил!

Вот подняли руки первые окруженные немецкие пулеметчики, вот закричал горбоносый веснучатый автоматчик: «Русь, не стреляй!» и кинул наземь вдруг опустылевший ему черный автомат. Вот уж пошли, опустив головы, цепочки пленных без пилоток, с раскрытыми на груди мундирами, недавно распахнутыми в пылу боя, с вывороченными карманами, доказывающими, что нет у солдат пистолетов и гранат. Вот уже вывели из штаба писарей, телеграфистов, радистов. Вот молча рассматривают суровые запыленные бойцы тело застрелившегося немецкого полковника. Вот уже считает быстрый взгляд молодого командира немецкие пушки и автоматы, машины и танки, брошенные на поле боя.

— Где комиссар?— спрашивали друг у друга бойцы.

— Где комиссар?— спросил Румянцев.

— Кто видел комиссара?— спросил Козлов, вытирая пот со лба.

— Комиссар все время был с нами,— говорили бойцы,— комиссар был с нами.

— Где комиссар?— спрашивал Мерцалов, ходя среди обломков машин, весь запыленный, грязный, в изорванной пулями новой гимнастерке.

И ему отвечали:

— Комиссар был впереди, комиссар был с нами.

На затихавшем поле боя, безжалостно освещенном солнцем, среди сохнувших и черневших от зноя луж крови, среди дымно горящих танков и обгоревших скелетов машин проехал маленький зеленый броневик. Из него вышел Чередниченко.

— Товарищ член Военного Совета,— сказал ему Мерцалов,— вон в том обозе, который подъезжает, ваш сын. Его вывел со своим отрядом Богарев.

— Леня мой,— сказал Чередниченко,— сын..?— Он посмотрел на Мерцалова, и Мерцалов не ответил, опустил глаза. Молча стоял Чередниченко, глядя на пылавшие вдали машины, выезжавшие из леса.

— Сын,— снова сказал он,— сын.

И, повернувшись к Мерцалову, спросил:

— Где комиссар?

Снова молчал Мерцалов.

Ветер пропущен над полем. Оттуда, где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. Это был комиссар Богарев и красноармеец Игнатьев. Кровь текла по их одежде. Они шли, поддерживая один другого, тяжело и медленно ступая.

21 июня 1942 г.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

СТИХИ О ЖЕНЩИНАХ ЛЕНИНГРАДА

1. СЛОВО МАТЕРИ

Сентябрь 1941 года. Враг у ворот Ленинграда.
Ленинградцы строят баррикады.

...Я говорю о Тобой под свист
снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с Тобой из Ленинграда,
Возлюбленная русская страна.

Я, мать, благословившая на славный,
На ратный подвиг сына своего, —
Я говорю сейчас с Тобой, как с
равной,
С высоко поднятою головой.

Кронштадтский злой, неукротимый
ветер
В мое лицо закинутое бьет,
В бомбоубежищах уснули дети,
Ночная стража встала у ворот.

Над нами реет смертная угроза.
Бессонны ночи, тяжек день любой,
Но мы забыли, что такое слезы,
Что называлось страхом и мольбой.

Мы зубы сжали, тесно стали рядом,
Мы все отныне — кровная родня;
— Войди в мой дом, защитник
Ленинграда,

Вот хлеб — возьми, погрейся у огня.
У нас на строгих, опаленных лицах
Не страх, а гнев и ненависть горят.
Я говорю тебе — мы будем биться,
Мы не сдадим фашистам Ленинград.

Я говорю — нас, граждан
Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады,
Мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут
рядом,
И дети нам патроны поднесут,
И надо всеми нами зацветут
Старинные знамена Ленинграда.

Руками сжав обугленное сердце,
Такое обещание даю
Я, горожанка, мать красноармейца,
Погибшего под Лутою в бою.

Мы будем биться с яростною силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, — клянусь тебе, Россия,
За всех осиротевших матерей.

Ленинград, сентябрь

2. РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Декабрь 1941 года. Идет пятый месяц блокады. Фашисты жестоко бомбит город. Хлебная норма уменьшена до 125 граммов.

Дарья Власьевна,
соседка по квартире,
Сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь,— будем говорить о мире,
О желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,—
Полтора ста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа,
Наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
Дрожь земли, обвал невдалеке.
Бедный ленинградский ломтик
хлеба,—
Он почти не весит на руке.

Для того, чтоб жить в кольце
блокады,
Ежедневно смертный слушать
свист,—

Сколько силы нам, соседка, надо,
Сколько ненависти и любви.
Столько, что минутами, в смятенье,
Ты сама себя не узнаешь:
— Вынесу ли? Хватит ли терпенья?
Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

Дарья Власьевна,— еще немного,
День придет, над нашей головой
Пролетит последняя тревога
И последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
Нам с тобой покажется война!
В миг, когда толкнем рукою ставни,
Сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
Полнится покоем и весной.
Плачьте тише, смейтесь тише,
тише,—
Будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
Темнозолотистый и ржаной.
Медленными, крупными плотками
Будем пить румяное вино.

А тебе,— да ведь тебе ж, поставят
Памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
Облик твой запечатлят простой.

Вот такой же — истомленной, смелой,
В наскоро повязанном платке,
Вот такой, когда под артобстрелом
Ты идешь с кошелочкой в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
Будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она.

Ленинград, декабрь

3. СЕСТРЕ

Начало сентября 1941 года. Фашисты врются в город. Первые бомбежки Ленинграда, первые артснаряды на его улицах.

Машенька, сестра моя москвичка,
Ленинградцы говорят с тобой.
На военной, грозной переключке
Слышишь ли далекий голос мой?
Знаю — слышишь. Знаю — всем
знаковым

Ты сегодня хвастаешь с утра:
— Нынче из отеческого дома
Говорила старшая сестра.

...Старый дом на Палевском, за
Невской,

Низенький зеленый палисад.

Машенька, ведь это наша детство,

Школа, елка, пионеротряд.

Вечер, клены, мандолины струны

С соловьем заставским вперебой.

Машенька, ведь это наша юность,

Комсомол и первая любовь.

А дворцы и фабрики заставы?

Труд в цехах, неделями подряд?

Машенька, ведь это наша слава,

Наша жизнь и сердце — Ленинград.

Машенька, теперь в него стреляют,

Прямо в город, прямо в нашу жизнь.

Пленом и позором угрожают,

Кандалы готовят и ножи.

Но жестоко душу напругая,
Смертно ненавидя и скорбя,
Я со всеми вместе присягаю
И даю присягу за тебя,—
Присягаю ленинградским ранам,
Первым разоренным очагам:
Не сломлюсь, не дрогну, не устану.
Ни крупинцы не прощу врагам.
Нет,— по жизни и по Ленинграду
Полчища фашистов не пройдут.
В низеньком зеленом палисаде
Лучше мертвой наземь упаду.
Но не мы — они найдут могилу.
Машенька, мы встретимся с тобой,
Мы пройдемся по заставе милой,
По зеленой, синей, голубой.
Мы пройдемся улицею длинной,
Вспомним эти горестные дни
И услышим лепет мандолины,
И увидим мирные огни...
Расскажи ж друзьям своим в
столице:
— Стояк и бесстрашен Ленинград
Он не дрогнет, он не покорится,—
Так сказала старшая сестра.

Ленинград, сентябрь

МОСКВЕ

Октябрь 1941 года. Враги лезут на Москву. «Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца»,— так говорили в Ленинграде.

К сердцу родины руку тянет
Трижды проклятый миром враг.
На огромнейшем поле брани
Кровь отметила каждый шаг.

О любовь моя, жизнь и радость,
Дорогая моя земля,
Из отрезанного Ленинграда,
Вижу свет твоего Кремля.
Пятикрылые вижу звезды,
Будто стали еще алей.
Сквозь дремучий, кровавый воздух
Вижу ленинский мавзолей.

И зарю над стеною старой,
И зубцы ее, как мечи.
И нетленный прах коммунаров
Снова в сердце мое стучит.
Наше прошлое, наше дерзанье,
Все, что свято нам навсегда,—

На разгром и на поруганье
Мы не смеем врагу отдать.
Если это придется взять им,
Опозорить свистом плетей,—
Пусть ложится на нас проклятье
Налих внуков и их детей.

Даже клятвы сегодня мало.
Мы во всем земле поклонились.
Время смертных боев настало.
Будь неистов. Будь молчалив.
Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь,—
Кровью,

пламенем,

сталью,

словом,—

Опрокинь врага, удержи...

*16 октября 1941 года
(Радиопередача из Ленинграда)*

В. К. ТРЕНЕВ

СЕКРЕТНАЯ КОМАНДИРОВКА

(Эпизод из времен войны 1854—1856 годов на Дальнем Востоке)

1. ДОМАШНЯЯ ГРОЗА

Мартынов проснулся рано, хотя лег уже под утро после сильного кутежа. Вспрыскивали его назначенные адъютантом к генерал-губернатору. Вспрыски эти тянулись уже вторую неделю, и за это время есаул с друзьями успел побывать во всех увеселительных заведениях города Иркутска. И вот вчера, когда веселая компания после недолгого сна опохмелялась у майора Красина, и друзья придумывали, где бы сегодня провести вечер, Мартынову пришла в голову несчастная мысль пригласить сегодня всех к себе. Сболтнулось как-то между прочим, не столько всерьез, как иронически, но друзья радостно зашумели, и дело решилось в одну минуту.

Из всего вышесказанного совсем не следует заключать, что есаул Мартынов был негостеприимен или скуп. Наоборот, среди друзей он заслужил репутацию добряка и рубаха-парня. Все дело заключалось в квартирной хозяйке. Да, представьте себе, что коренастый, курчавый есаул, с грубым голосом и красным, всегда обветренным лицом, до трепета боялся свою хозяйку, чиновницу Пряхинову, у которой уже много лет подряд снимал полдома.

Феоктиста Романовна Пряхина была женщина пожилая, усатая, с громким голосом и бородавкой на щеке. В доме своем она царила нераздельно, держа под башмаком своего мужа Аптона Ивановича и в трепете мужскую и женскую прислугу. Когда-то она знавала мать есаула и, объявив, что «Платоша ей все равно, что родной», действительно привязалась к нему, как к сыну, а так как она была по натуре деспотична и непреклонна, то привязанность и заботливость ее смахивали на тиранство. Первое время есаул по мягкости души допускал такое к себе отношение, а когда спохватился и пытался бунтовать, было уже поздно. Он накрепко оказался в жесточайших любящих руках деспотической старухи, не хуже, чем ее супруг. Впрочем, он довольно быстро привык к такому положению вещей.

Понятно, что после вчерашнего нарушения благочиния в доме строгой Феоктисты, Платону Ивановичу спалось плохо, его мучили злые предчувствия, тревожили мысли, и как только он засыпал, они претворялись в сновидения. Мэкса не было, и Платон Иванович, тяжело вздыхая, ворочался на своей тахте в спальне, увешанной коврами и оружием.

Вдруг дверь тихонько приотворилась, и в спальню заглянуло широкое, белобрысое лицо Василия, денщика и наперсника Платона Ивановича.

— Васька! Васька! — зашептал есаул.

Василий вошел в комнату.

— Проснулись, ваше благородие, окно открыть, что ли?

— Постой, Вась, а что мы вчера здорово пошумели? — все еще шопотом спросил есаул, хотя илетью, кроме верного слуги, не мог услышать его.

— Было, Платон Иванович! — мрачно ответил Васька.

— Ай-ай! Что, Феоктисту мы обеспокоили, чай, а? Как она, не замечал?

— Гневна, батюшка! Чем свет поднялась, Палашку и Степку прибила. Антон Иванович без чаю на службу побегли. Беда. Меня увидела во дворе и говорит (Васька сделал свирепое лицо и каким-то брюшным голосом прорычал): «Что, Аника-воин твой спит еще?» — «Так точно, мол, Феоктиста Романовна». — «Ну, ужотко, проснется, я ему теплое слово скажу!»

— Да с чего это, не томи ты душу, скажи, из чего вышло-то все? Помнится, было все чинно, благородно. Песни только пели — в этом худого нет. Хрущев в червонного туза из пистолета хотел стрелять — не дали. Что случилось-то, Васька?

— Из-за их благородия, поручика Керн все вышло, Платон Иванович.

— Ну?

— Не знаю, с чего им стукнуло, пели они все под гитару, только вдрут говорят: «Надо Феоктисте испанский серенат сыграть». Майор Красин услышали. «Не ходи, — говорят, — Керн, она тебя кипятком опарит». А он отвечает: «Вы, аспиды, благородства чувств не можете понять. Я ей спою, она разнежится и Платону завтра за его непотребство тиранить не будет».

Тут Красин чего-то с Хрущевым заспорились, а они встали и в мундирчике, как были, шмыг во двор. Я за ними, мол, ваше благородие; как бы не простыли, неровен час. А они мне: «Молчи, ар-рнаут, у меня в груди палящий огонь». И к палисаднику, Феоктисте Романовне под окошки-с.

Я за ними и говорю: «Ваше благородие, мороз жестокий, струны железные, неравно ручки изволите ознобить-с».

А они на меня гитарой-с: «Отыди от меня, сатана!» Ну, известно, человек пьяный, промахнулся, да гитару так на палисадник и насадили-с. Звон пошел ни с чем несообразный-с...

— Это гитара-то моя, что ли, палисандровая?

— Ваша-с, Платон Иванович, — с грустью подтвердил Василий.

— Ай-ай, вот не было печали-то! — вздыхал и маялся бедный есаул. — Ну, дальше-то что?

— Ну, как, значит, их благородие инструмент разбили, окончательно рассердились на меня. «Из-за тебя, варнак, искусство погибает, ну ничего, я голосом, без кампаншмента, ее сражу».

И как заорут несуразно: «Ночной зефир струит эфир!» А Феоктиста Романовна, видать, не ложились еще и в форточку как закричат:

«Это что за разбой, это что за шогром в моем доме? Я сорок лет замужем, и никлю дурного слова сказать не может, а тут меня в моем же доме будут на весь город срамить! Я не посмотрю, что офицер, сейчас квартального кликну. Я сама штаб-офицерша!..» Ну, словом, поехали-с. Я к поручику, мол, идем скорее, ваше благородие, нехорошо, мол. А они на свежем воздухе разлжмонились совсем, ну, увел я их от греха.

— Вот беда-то какая. Что же делать-то, Вася? Ты бы хоть придумал чего.

— Я и то все утро голову ломал.

— А может, я в постели останусь. Заболел, мол.
— Хуже будет, барин, разлютеет совсем. Допраздновался,— скажет,— адъютант. Хуже будет-с.
— Ну беда! А гитара где же, Вася?
— А гитара на частокоче. Висит-с.
— Так и висит?
— Так и висит-с. Снимать никак не позволяют-с. Пусть,— говорят,— посмотрят господин адъютант, что они в честном доме произвели.
— Ах ты ж, господи! Ну, давай, Васька, одеваться. Семь бед — один ответ. Вася взялся за мундир есаула и вдруг вспомнил.
— Ваше благородие! Простите великодушно, совсем было запомнил-с. Жандарм от генерал-губернатора приходил. Приказали явиться к одиннадцати часам.

— Экой ты, братец, болван!— встревожился есаул, мигом вскакивая с постели.— Сейчас сколько времени?
— Десять, ваше благородие.
— Экой ты, братец, давай скорей!
— За разговором запомнил-с, ваше благородие, шел ведь вас будить-с.

Есаул заставил Василия вылить ему на голову ведро холодной воды, растер мохнатым полотенцем свое мускулистое тело. Выпил, чтобы опохмелиться, две рюмки, заел несколькими зернами жареного кофе и, одетый, подтянутый, направился к выходу. В коридоре его встретила грозная хозяйка.

— Ты что ж это, друг ситцевый!— начала Феоктиста, но есаул с неожиданной для нее твердостью отвечал:

— Пропшу прощения. Не имею времени для беседы. Срочно вызван по делам службы-с.

— Ну иди, пожалуй, ужотко вернешься...— как напалившему мальчику, пригрозила Феоктиста.

По Платон Иванович, не слушая, устремился к выходу и, с неудовольствием отворачиваясь от печальных останков гитары, висевших на заборе, быстрым шагом направился к дому его высокопревосходительства.

2. У ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Муравьев принял есаула в рабочем кабинете при чиновнике по особым поручениям П. Б. Струве. Он сидел в кресле перед обширным столом и, чуть подергивая левой щекой, следил, как Струве, вапая расплавленным сургучом, запечатывает пакет. Лицо губернатора кривила гримаса недовольства. У него всю ночь ныла рука, раненная на Кавказе. Он не выспался и был не в духе. При входе Мартынова губернатор обернулся к нему, морщась от боли, и бедный есаул, отнеся недовольную гримасу на свой счет, почувствовал, как робость охватывает его, сковывая движения.

«Чем, блишь, я провинился, батюшки мои»,— подумал Мартынов, печатая шаги и со вздернутой головой становясь во фронт перед грозным генералом.

— Есаул Мартынов, имею честь явиться по вашему приказанию!— нерасчетливо громко прокричал есаул. Почувствовав это, он окончательно струхнул и, сделав бессмысленную мину, «ел глазами начальство».

Но Муравьев, к удивлению есаула, вдруг смягчил выражение лица и сказал ему:

— Оставим формальности, есаул. Я вызвал вас, чтобы дать вам поручение чрезвычайной важности, зная вашу исполнительность, закаленность и умение путешествовать в суровых условиях... Сядьте, есаул.

Мартынов издал горлом неясный звук и с неподвижным лицом, держа по форме на левой руке фуражку, присел в неудобной позе на краешек стула, не скуская напряженного взгляда с губернатора.

— Вы, конечно, знаете о геройской обороне Петропавловска минувшим летом от превосходящих сил врага (сказал он и с невольным сомнением глянул на неподвижное лицо Мартынова). У нас есть точные сведения, что нападение будет повторено более мощными силами, как только позволит это состояние льдов.

Между тем, гарнизон Петропавловска и зимующая там эскадра не имеют достаточного количества припасов и боевых снарядов, чтобы с честью отразить врага. Петропавловск может пасть, и русскому флагу может быть напрасно жестокое оскорбление.

Мы лишены возможности оказать помощь русской эскадре. Льды и другие обстоятельства мешают этому.

Ваша задача, есаул, берегом, через Якутск, Охотск и Гижигу, сквозь шургу и морозы, не теряя ни минуты зря, добраться до Петропавловска и передать Завойко этот пакет. Здесь находится приказ: снять крепость и порт Петропавловск, уничтожив то, что нельзя увезти, и всей эскадрой идти к устью Амура, где и укрыться во вновь образованных поселениях, в лабиринте рукавов реки, абсолютно неизвестных неприятелю. Спасение эскадры и честь русского оружия вручаются вам, будут зависеть от вашей энергии, мужества и настойчивости. Во что бы то ни стало надо быть на Камчатке ранее наступления весны...

Муравьев прервал свою речь и взглянул в неподвижное, скуластое лицо есаула и на его светлые глаза, с бессмысленной почтительностью, не мигая, глядевшие куда-то на лоб губернатора.

— Испытания вас ждут жестокие-с!— постепенно раздражаясь, продолжал генерал.— Восемь тысяч верст через дикое место-с! Человеческого жилья иной раз не встретите на протяжении четырехсот верст. Скалистые хребты-с. Придется пересекать заливы по льду. И добраться до Петропавловска ранее весны-с! Вот ваша задача.

— Слушаю-с... Так точно-с,— испуганно прохрипел Мартынов, чувствуя растущее раздражение губернатора против него и не понимая причины.

Сибиряк и опытный путешественник, он ясно представлял себе, какого рода экскурсия ожидает его. Он понимал тяжелое положение Петропавловского гарнизона. Он не сомневался, что выполнит свой долг, но робость перед начальством давила его, и на напряженном лице есаула Муравьев не заметил никакого отзвука высоким словам своего монолога.

Муравьев сердито крикнул, пристально посмотрел на одеревяневшую в почти-тельности, невзрачную фигуру есаула и сказал:

— Да вы понимаете ли всю важность того, о чем я толкую? всю серьезность и ответственность поручения?— И, обернувшись к Струве, сердито добавил:— Il n'a pas l'air d'un gaillard, cet homme là¹.

— Не имея чести знать по-французски, я все понял, ваше превосходительство...— запинаясь, проговорил Мартынов.

¹ У этого человека совсем не молодецкий вид!

Он понял, что губернатор сомневается в нем. Оскорбленный этим и смущенный до-нельзя тем, что надо говорить о себе, он, забыв субординацию, потыкал пальцами край стола, опустив глаза. С лица его исчезло выражение бессмысленности, и, покраснев, сурово глядя куда-то па кипу бумаг, он повторил:

— Я все понял-с. Путь тяжкий, дело святое-с и требует... требует-с. Однако!— Неожиданно для себя вставая во весь рост и повысив голос, продолжал он, ощущая прилив мощного чувства до такой степени, что мурашки побежали по его спине:— Однако я русский солдат-с! И слуга отчества-с! Я русский солдат, ваше превосходительство-с.

И он прямо в глаза посмотрел Муравьеву. Несколько секунд губернатор и есаул пристально глядели друг на друга.

— Когда вы думаете выехать?— спросил Муравьев, опуская глаза и беря в руки пакет для губернатора Камчатки.

3. СБОРЫ В ДОРОГУ

Возвращаясь домой, есаул сказал Василию о предстоящем путешествии и приказал собираться в путь. Васька всегда сопровождал Мартынова в его командировках и так же хорошо, как и есаул, знал, что следовало брать с собою. Задав несколько вопросов и убедившись, что Васька все сделает превосходно, есаул, сосредоточенный и серьезный, направился на хозяйскую половину. Увидев постояльца, вязавшая чулок Феоктиста Романовна сразу же сдвинула очки на лоб и, придав себе этим воинственным жестом грозный вид, сразу же закипела справедливым гневом, но есаул, не дав ей начать, сказал мягко:

— Прощайте, Феоктиста Романовна, и, может быть, навеки. Не помпайте лихом.

— Это что за комедия, сударь мой?!

— Не комедия, а истинная правда-с. Получил приказ скакать в Камчатку с секретным поручением-с.

— Будто?! Это зимой-то, в такой мороз. Не втирай очки, не глупей тебя, батюшка мой.

— Истинный крест! Спасибо вам за заботу материнскую. Позвольте ручку на прощание, неровен час, что случится. Путь опасный-с,— говорил растроганный есаул.

— Ах-ти мне! Да ты... Да как же так сразу-то! Да у тебя, чай, и не сложено ничего. И бельишка-то теплого нет. Постой! Да в дорогу-то что возьмешь? Пирог-то хоть напечь успею ли? Палатка! Степка!— закричала она, не давая слова молвить Мартынову.— Сейчас гуся заколоть, да уток трех. Да пельменей мешок замесить! Ах ты, батюшка мой, да как же так сразу-то?! Скажите Агафье, чтобы все бросила, тесто бы на пироги ставила. Да вы, чай, с Василием все позабудите, ничего толком не соберете, знаю я вас, непутевых. Сейчас я сама все пересмотрю. Да носки-то теплые есть ли у тебя, наказание мое!

И Феоктиста Романовна со всей энергией, которая лавиной гнева должна была обрушиться на повинную голову есаула, со всей энергией ринулась она собирать в опасный путь своего любимца.

Ипроносясь через двор по какой-то хозяйственной надобности, она увидела зловещую гитару, печально висевшую на заборе с разбитой декой и порванными струнами.

— Васька! Васька!— закричала она неистово.— Так ты хозяйское добро бережешь, идиол бесчувственный. Вон гитара вся инеем обросла, сейчас убери в комнату!

Через несколько часов Мартынов был готов в путь. Искренне прослезившись, простился он с Феоктистой Романовной, с добрейшим Антоном Ивановичем и в крытом возке, на курьерской тройке, подъехал к дому генерал-губернатора. Получив в канцелярии пакеты, которые он попутно должен был доставить в Якутск и Охотск, есаул просил доложить о себе Муравьеву.

— Готов?— ласково встретил его губернатор.— Ну, дай тебе бог. Благословляю тебя на славный подвиг.

И Муравьев, перекрестив, обнял и поцеловал растерявшегося от такой чести есаула и сам проводил его до лестницы.

— Дай тебе бог!— еще раз крикнул он вслед сбегавшему вниз есаулу, и через несколько минут крытый возок мчался по ухабистым улицам Иркутска к заставе.

4. ОТ ИРКУТСКА ДО ОХОТСКА

Мимо возка проносились берега Лены. То могучие скалы, то ущелья и долины, лесистые, занесенные снегами. Есаул и Васька дремали, закутанные в меха, одетые по-якутски — в унтах, в оленьих парках, теплых тухлянках.

— Эй, давай, давай ходу!— кричал иногда Мартынов, по лошади и так неслись во весь опор. День и ночь, останавливаясь только для перепряжки, мчался крытый возок. За те двадцать минут — полчаса, что продолжалась перепряжка, есаул и Васька, неверно ступая застывшими ногами, вбегали в помещение, торопливо выпивали водки или чаю с ромом и, не успев обогреться и размяться, снова влезали в тесный возок, полозя скрипели, возок мчался дальше, и снова мелькали мимо лиственницы, шихты, скалистые берега.

В Якутске впервые за много дней есаул и его верный спутник ночевали в теплом помещении и в постели. Здесь пришлось пробыть почти двое суток, чтобы снарядить караван дальше до Охотска. Восемь собачьих упряжек везли вещи и продовольствие. Три якута и три казака служили конвоем и проводниками.

Еще затемно тронулся караван. Город еще спал, и пустые улицы отласались лаем во всю прыть несущихся собак и скрипом ползьев. Весь короткий зимний день путники быстро двигались по хорошо проложенной дороге. Перед самыми сумерками, немного в стороне от тракта, завиделись три якутские юрты, курившиеся белыми дымками на черном фоне леса. Передовой каяр стал сворачивать к ним.

— Стой, стой! Куда?— закричал Мартынов, шедший со второй партией.

— Ночевать, бачка,— отвечал якут.

— Не годится. Собаки еще не притомились, едем дальше.

— Дальше всю ночь иди, еще полдня иди, юрта нету. Ночевать нету.

— В лесу заночуем. Сворачивай обратно, живо!

— Твоя благородия в лесу ночевал — замерзал, моя отвечать будет.

— Ничего, сам смотри не замерзни, сворачивай, давай.

— Мой привычный люди. Целый день ходи, полночи ходи, собачка подыхать будет. До Охотска не дойдет будет.

Но Мартынов не хуже каяра знал предел выносливости якутских лаек. На-

дежды якута на ночевку в тепле не оправдались. Нарты свернули на прежнюю дорогу и по синеему в сумерках, звонкому от мороза снегу понеслись дальше. Каюр вымещал свое неудовольствие на собаках, неистово гоня их вперед. Уже в полной темноте, часа через три после остановки, Мартынов решил сделать привал. Якуты накормили собак, в то время как казаки и Васька таскали дрова для костра.

Есаул, не любивший сидеть сложа руки, натягивал пологнище палатки в виде экрана, в защиту от чуть заметно тянувшего по долине ветра.

Задолго до света есаул поднял людей, и, плотно поев на весь день, путники тронулись дальше в полной темноте. Мороз надавливал к утру свирепо. Люди, застывшие за ночь, несмотря на жарко горевший костер, бранились вполголоса и двигались с трудом. Быстрота движения и короткие остановки на ночлег изматывали людей и животных. К тому же всякие следы проложенной дороги исчезли на второй же день, и путь приходилось прокладывать на лыжах в глубоком снегу. Не желая терять драгоценное время, Мартынов никогда не останавливался прежде, чем видел, что люди и собаки выбились из сил. Поэтому почти ежедневно караван ночевал под открытым небом, так как редко попадавшиеся на пути становища или отдельные юрты якутов встречались обычно тогда, когда караван еще в силах был продолжать путь. На пятый день якуты стали ворчать, и старший из них попробовал заикнуться о невыносимости такого темпа, но Мартынов страшно вспылал, и якуты притихли. На одной из ночевок есаул, как всегда, разбудил Василия, чтобы он поднимал людей в путь, и денщик, гулко кашляя со сна, растирал застывшие ноги. Есаул спросил его:

— Что, Васька, ноги, чай, гудут?

— Все разломил, Платон Иванович. Отвык, жиром зарос. Цельный день бежать — не на печи лежать.

— В Охотск прибежишь, как волк поджарый, а?

— Ваше благородие, дозволейте спросить? — робко сказал Василий.

— Ну говори, — отвечал есаул, подозрительно глянув в широкое лицо своего верного слуги.

— Платон Иванович, а мы так не обессилем раньше время?

— Терпи, Васька! — сердито ответил есаул, потом, помолчав, добавил: — Мы в Охотска должны в сухое тело войти и получить привычку к дороге. До Охотска цветочки, после Охотска начнется настоящее дело. Там сытому человеку гибель. А мы здесь обтерпимся, обвыкнемся, жиры свои подсушим, да потом в Охотске дня два отоспимся и, как птицы, долетим. Понял, дурья голова?

— Понял, Платон Иванович!

— Ну, коли так, ставь чайник на огонь и буди народ.

Собаки, которым доставалось хуже всего, начали обессилить. Уже нескольких пришлось оставить во встречных юртах, взятые взамен люка не привыкли к стае, плохо слушались и беспрестанно дрались.

Люди уставали все больше, и ночной сон на жестком морозе плохо подкреплял их силы. А дорога становилась все труднее, начались горы, знаменитые «семь хребтов» Охотского тракта. Дня за три до урочища Аллах-юнъ одного из якутов пришлось оставить во встречной юрте. Он совершенно обессилел и отморозил себе лицо. На другой день самый молодой из казаков утром не смог подняться, несмотря на гнев есаула.

— Застыли совсем, ваше благородие. Ознобился, жизни решаюсь,— бормотал он в ответ на брань и угрозы Мартынова.

Пришлось разгрузить одну из нарт, груз спрятали в ветвях приметного дерева, а заболевшего казака, завернув в медвежью полость, служившую постелью Мартынову, положили на нарту и повезли до ближайшего жилища.

Путь становился все труднее. При опасном и трудном переходе через перевал Юдомский Крест не удалось сдержать одну нарту, и она вместе с грузом свалилась с крутизны на дно ущелья. В нарте, к счастью, ничего не было, кроме собачьего корма. Якуты хотели достать хоть груз, но на это ушло бы целых полдня, и Мартынов, махнув рукой, велел трогать дальше. На восемнадцатый день обессиленные путники очутились в долине реки Охоты, а на двадцать первый день, еще засветло, еле тащась, караван прибыл в Охотск. Несколько домов в снежных сугробах, разбросанных на большом пространстве, церковь, амбары Русско-американской компании и на отшибе, почерневший от времени, палисад острога, Охотского укрепления. Начальник Охотского порта, высокий худой старик, не выпускавший изо рта трубки, радушно встретил путников. У него и остановились почерневшие и похудевшие есаул и его денщик. Жесткая тренировка давала себя знать. Вечером, после бани они впервые за двадцать один день разделись и легли в постели. Немногочисленное население Охотска — офицеры, врач, священник, приказчики Р. А. К. — жаждало повидать и послушать человека, прибывшего «с воли», но начальник порта не принимал гостей, чтобы дать возможность путешественникам отдохнуть и отоспаться. На другой день Мартынов деятельно стал готовиться к дальнейшему путешествию, а Василий по данному ему списку отбирал на складе Охотского порта продовольствие и снаряжение. Вечером у начальника порта были гости, и есаул был центром всеобщего внимания. Охотские жители на всю зиму были отрезаны от мира, и только случайные курьеры изредка вносили разнообразие в их жизнь. Но есаул не позволил себе ни выпить лишнего, ни засидеться допоздна. Надо было набираться сил. Выступить было решено послезавтра.

5. ОТ ОХОТСКА ДО ГИЖИГИ

От Охотска до Петропавловска путь идет на протяжении трех тысяч верст, опояывая побережье сурового Охотского моря. На всем этом пустынным пространстве в то время было только два населенных пункта — Гижига и Тигиль, в которых можно было пополнить запасы, но и то в очень ограниченном количестве и самого примитивного ассортимента. До Гижиги считалось полторы тысячи верст по безлюдному и дикому Охотскому побережью, где только изредка можно было встретить случайную стоянку тунгусов, где гуляла свирепая пурга, набравшая силу и стужу в огромных пустых просторах застывшего моря. Морозы стояли такие, что с громом, подобным пушечному выстрелу, лопались широкими скалами.

Из Охотска Мартынов двинулся караваном из четырех нарт. Тунгус Афанасий, сносно говоривший по-русски, и какой-то его родственник, меднолицый, скуластый, абсолютно безмолвный человек, отправились в качестве проводников.

Тунгусы и Василий с вечера увязали на нарты продовольствие, и на рассвете караван тронулся в путь.

Безмолвная, мрачная пустыня на многие сотни верст залегла вокруг. Слева

от медленно движущегося каравана тянулись невысокие холмы. Глубокие снега занесли низкий можжевельник и сосновый «стланец», кустарники, стелющиеся по земле, чтобы спастись от обжигающе-холодных ветров. Справа бесконечная, однообразная белая равнина заледеневшего моря. Низкое серое небо уныло нависало над мрачным пейзажем, и плоский купол его, спускаясь к горизонту, темнел к краям, как бы подчеркивая бесконечность, бескрайность лежащих за горизонтом пространств.

Холмы за холмами, мыс за мысом, черные камни из-под белого снега, безлюдье, пустота. Ни птицы, ни живого существа. Много, много дней однообразного пути, и невольно душу Мартынова охватывала тоска при мысли об этой ледяной бесконечности, куда все глубже и глубже проникал караван. И веселый Васька меньше шутил и почти не шел. Шарф, закрывавший его лицо, превратился в ледяную маску.

Холод, мертвящий, убивающий холод царил вокруг. Холод проникал под меховые одежды и постепенно овладевал телом, леденил кровь, усыпляя, туманя сознание. То и дело путники соскакивали с нартов и бежали рядом, чтобы разогнать по жилам застывающую кровь. Казалось, невозможно было выдержать день за днем, неделю за неделей эту бесконечную борьбу со стужей и густостью. Воображение отказывалось представить себе всю бесконечность лежащего впереди пути. Немного муки, кусок мяса, кружка кипятку — вот ничтожные средства, поддерживавшие тепло в человеческом теле и позволявшие бороться со смертельной стужей. Бороться и двигаться вперед, к намеченной цели вопреки жестоким силам сибирской зимы.

Тунгусы уверенно вели караван, то идя вдоль берега, то пересекая заливы и бухты, то углубляясь в материк, чтобы обогнуть непроходимые мысы и торопистые пространства. Они чуяли дорогу днем и ночью непонятным Мартынову шестым чувством. Как предсказывал Афанасий, на пятый день караван достиг тунгусского становища.

Закутанный в меха тунгус разогнал лающих, освирепевших собак, и Мартынов с Василием, войдя в юрту тунгуса, принялись разматывать шарфы, отрывая куски льда, замерзшее дыхание. В юрте было тесно и дымно, но от горящего камелька шло животворное тепло, и Мартынов, сбросив шубу и меховую парку, остался только в самоедской рубахе из оленьей шкуры. Он с наслаждением отогревал у огня ноющие, заолодевшие от стужи руки. Васька присоседлился рядом.

Хозяева юрты, потеснившиеся от огня, чтобы дать место гостям, больше не шиперсовались ими. Уставясь в огонь, не мигая, узкими глазами, они сидели недвижимо, курия короткие трубки, и огненные отблески озаряли их скуластые, каменные лица.

— Ну, народ, — бормотал Василий. — Что земля, кроме снега, ничего не родит, то и люди неприветные, только дым пускают, доброго слова не молвят. В кой-то веки русских людей увидели, а молчат.

Но добрый Васька ошибался, укоряя тунгусов в равнодушии к гостям. Скуластая хозяйка с длинными черными косами робко, не глядя на гостей, подала им миску с морошкой и перничьим жиром и поставила для них на огонь чайник. Мартынов подумал о том, что эти люди, с такой готовностью поделавшиеся самым драгоценным, что есть в этих краях: едой и оживляющим теплом, всю свою жизнь ничего не видят, кроме безнадменной пустыни, голода и холода, дождей и гнуса летом, мрака и стужи зимой, — и мрачно стало у него на душе...

Много дней прошло с тех пор, как караван покинул Охотск. Истомились люди, обессилели собаки. Несколько из них уже погибло, не вынеся тяжелого пути. Два раза пурга заставала караван в пути. Однажды Мартынов почувствовал себя плохо, пурга свирепела. Путники устроили нечто вроде норы из нарты и палатки. Почти двое суток провели они под снегом. Есаулу нездоровилось, знобило, забытье охватывало его.

Тунгусы, завернувшись в меха, спали, как медведи в зимней спячке. А Василий отогревал Платона Ивановича своей шубой, не давая ему засыпать, чтобы он не замерз, и в кружке у себя на груди оттаивал снег, чтобы дать напиток есаулу.

Развести огонь не было никакой возможности. Когда стихла пурга, тунгусы и Василий с трудом откопались из-под снега и двинулись дальше. Есаул оправился, но ослабел и не мог идти, собаки не в силах были тащить нарты с лишней нагрузкой, и Василий два дня тащил нарты с грузом и есаулом поверх него. Василий укрыл его своей шубой. Есаулу было тепло и покойно, измученные мышцы гудели и ныли, отходя от деревянившей их усталости.

— Васька, одень шубу, иди, ознобишься, — слабым голосом говорил есаул. Но Васька оборачивал обмотанное до самых глаз лицо назад и отвечал со смехом:

— Ничего, быстрее доедем. Мороз — он жмет, а я и не зеваю, нажимаю, ходу даю. Аж взопред!

На третий день есаул уже шел сам. К вечеру четвертого дня, поднявшись на увал, внизу, под скалистым мысом, на белом снегу путники увидели несколько юрт и черные точки собак возле них. Это было становище, где жила семья второго проводника, безмолвного Макара. Тунгусы плюнули, собаки почесались вниз по пологому склону так, что снег завалился из-под полозьев. Скоро неистовый лай и визг собак известил население о прибытии путешественников. Из юрты показался человек и что-то прокричал. Афанасий и Макар стали, как вкопанные.

— Что такое? — встревожился есаул.

— Горячка пришла. Весь народ горячка лежит. Ему мальчишка помер, — сказал Афанасий, показывая на Макара, который, с еще более каменным лицом, чем всегда, и еще более сузив глаза, молча привязывал своих собак.

«Вот и отдохнули в тепле», — подумал Мартынов и сказал:

— Васька, Афанасий, чтобы не смели в юрты входить. Горячка прилипчива. Ночевать будем под скалой. Собирайте костер.

После ночевки, когда стали собираться в дорогу, Афанасий вдруг подошел к Мартынову и, кланяясь ему, с робостью сказал:

— Не сердчай, ваше благородие, очень тебя прошу, не надо сердчай.

— В чем дело?

— Не сердчай, бачка, Макарка дальше ехать не может, его баба большой лежит, мальчишка помирал.

Есаул опустил голову. Положение осложнилось, но что было делать?

— Ну ладно. Только надо наших ослабевших собак поменять на свежих.

— Сделаем, все сделаем, ваше благородие. Садись к огню, отдыхай, мы с Васькой все сделаем, и нарты перегрузим, и собачка сменяем, все сделаем, — твердил Афанасий, обрадованный, что есаул не сердится на него.

— Только смотрите, в юрты не ходите! Замечу — убью! — сказал есаул, плотнее укутываясь и ложась к огню.

К полудню все было готово, и караван, уменьшившись на одну запряжку, тронулся дальше.

Свежие собаки были готовы бежать во весь опор, по дороге не позволяла этого. Постоянно приходилось то, идя берегом, вязнуть в снегу, то всем своим телом, всеми силами сдерживать их на спусках. Перехода по льду бухты и целые заливы в двадцать пять — тридцать верст шириною, приходилось перебираться через торосы, борясь с свирепым ветром, беспрестанно мощной струей душим с моря.

И Васька, и Мартынов, и даже Афанасий были измучены. Их лица, несмотря на то, что они закрывали их, оставляя только глаза, были обожжены морозом, и красная кожа была воспалена и зудела. Глаза слезились. Руки, которыми постоянно надо было работать, распухли, и онемевшие пальцы плохо слушались. Все тело ныло и зудело от холода, грязи и усталости. А пройдено было еще меньше, чем подорожи до Гижиги, оставалось еще дней двенадцать — шестнадцать пути. А тут еще как на трех новые собаки при каждой почевке выли, стараясь освободиться и убежать обратно, а одной, самой крупной и умной, это и удалось сделать. Она перегрызла поводок вместе с палкой и удрала.

Приходилось привязывать их особенно старательно. Дня через два после остановки в зараженном становище есаул заметил на Васкии новые унты.

— Васька! Это что за унты на тебе? — подозрительно спросил он.

— Унты, известно, что за унты. Меховые унты, инородческие, — уклончиво отвечал Васька и поспешно встал, осмотреть, как привязаны собаки.

— Ты мне дурака не строй! — закричал Платон Иванович. — А ну, иди сюда, говори, где взял унты?

— Ну... где взял... известно, где взял... сменял, — смущенно пробормотал Васька, возвращаясь к костру.

— Говори правду, дурья башка! В макаркином становище смеялся?

— Ну да... у бабы тунгусской, мужик у ней помер, а унты почти новые. А мои уж свосились совсем.

Васька, понурясь, ожидал, что есаул разозлится, закричит. Но, к удивлению Васьки, «поучения» не последовало. Есаул, бросив на снег кружку, из которой пил чай, мрачно устоялся в огонь. Васька подавленно молчал.

— Вот заболешь, что я с тобой здесь буду делать? — мрачно сказал есаул, показывая рукой на снег и тьму, тесно обступившую, навалившуюся на неверно прыгающий свет костра.

— Не заболел, Платон Иванович, унты ведь новые, поди, их, может, неделю только носили.

— Эх и дурень же ты, Васька, — грустно сказал есаул и стал укладываться на ночь.

Прошло еще несколько дней, каждое утро есаул тревожно взглядывался в Ваську, но его неизменно бодрая улыбка успокаивала Платона Ивановича.

— Ну вот, ваше благородие, не заболел я, — напомнил однажды Васька.

— Счастье твое, дурень. Я бы тебе всю шкуру со спины спустил бы! — отвечал есаул, улыбаясь в черную, жидкую бородку, отросшую за путешествие.

Повидимому, благополучно сонла Ваське его рискованная покупка.

Но вот пройдема большая часть пути. Больше трех недель в пути от Охотска караван, и до Гижиги осталось еще пять — шесть дней. И пора, все устали

до предела. И даже никогда не унывающий Васька, поднимаясь однажды утром в путь, сказал:

— Что, Афоня, скоро ли Гижига? Что-то я подбил, как старый мерин, ноги не идут.

— Не робей, Вася, в Гижиге дневку сделаем дня на три, обогреемся, отоспимся, отъедемся!— крикнул есаул, все веселее чувствовавший себя по мере приближения к Гижиге, несмотря на то, что измотан был больше всех.

Весь этот день Василий что-то отставал, а вечером был молчалив и, привязав собак, лег спать, почти не притронувшись к ужину. Этого никогда еще не бывало.

— Что с тобой, Васька, не занемог ли?— тревожно спросил есаул, опускаясь на корточки около его изголовья.

— Ничто, ваше благородие. Притомился я,— упавшим голосом отвечал Васька, пряча в мех свое пылающее лицо.

Ночью есаул спал тревожно. Собаки лаяли и выли необыкновенно. Наконец, они утихли, и есаул заснул. Но скоро его разбудили крики Афанасия.

— Ай, бачка! Ай беда, ваше благородие!— кричал тунгус, хлопая себя по бедрам, и в отблесках потухающего костра тень его металась фантастически.

Это поведение величаво-флегматичного тунгуса было так необыкновенно, что есаул опрометью вскочил.

— Ваше благородие! Собачка убежал!

— Какая собачка?— немного успокаиваясь, спросил Мартынов.

— Вся новая собачка убежал!— кричал Афанасий.

— Врешь!— крикнул Платон Иванович, чувствуя, как покатило в виски его сердце и слабеют ноги.

Он кинулся к собакам и увидел только трех лаек, сидевших на снегу с тревожно наставленными ушами. Это были еще охотские собаки. Все взятые на становище Макара каким-то чудом отвязались и убежали.

— Кто привязывал собак?— многообещающе-тихо спросил есаул, подходя к костру, у которого, уже взяв себя в руки, с обычной флегмой уселся тунгус.

— Васька привязал,— буркнул он.

Есаул ногой стал расталкивать Василия, но тот только охал, не просыпаясь. Мартынов открыл его лицо, и холодный воздух привел Ваську в чувство. Васька глянул на есаула мутно, от света костра лицо его казалось багровым.

— Счас подам-с, не извольте беспокоиться-с,— бормотал он.

— Ты пьян, каналья?— спросил есаул, с недоумением оглядываясь на тунгуса.

Тот покачал головой, пристально глядя на Василия.

— Горячка ему. Потому и собачка плохо привязали. Большой она.

— Не может быть!— упавшим голосом сказал есаул и, сняв варежку, дотронулся до лба Василия. Лоб был горячий необычайно.

— Вася, друг, очнись, Вася,— тихо говорил есаул.

Василий пришел в себя окончательно. Он хотел подняться, но есаул удержал его.

— Оплотал, ваше благородие, виноват-с,— хриплым и слабым голосом сказал он, валясь обратно. Он снова закрыл глаза.

— Испить бы...

Вся серьезность положения встала перед ошеломленным от несчастий Мартыновым.

Что-то заглохло у него в горле. Он всей душой ощутил, что теряет, может быть, лучшего друга, который только был у него в жизни. Напоив Василия, Мартынов сел к костру. Афанасий мрачно глядел в огонь. Молчание длилось долго.

— Ну, что будем делать, Афанасий? — проговорил, наконец, есаул.

— Два нарта тут бросать надо. До Гижиги надо идти.

— Сколько нам до Гижиги?

— Четыре-пять дней.

— А становищ не будет по пути?

— Нет. До самой Гижиги не будет люди.

Тунгус замолчал. Молчал и есаул.

— Что с Васькой делать? — спросил тунгус через некоторое время.

— Повезем с собой, вестимо.

— Все равно помрет. Собачка убежал, как будем везти?

— Ну ты, смотри мке! — притрозил есаул.

— Не сердись, бачка, тебе сила пету, мне сила пету, собачка сила пету. Гижига далеко. Васька повезем, две недели идти будем, сами помрем.

— Чтобы не было разговору об этом! — мрачно приказал есаул.

На одну нарту положили необходимые вещи и еду себе и собакам на шесть дней. На другой нарте устроили Василия, который что-то бормотал в забытии. Чтобы он не упал, привязали его ремнями. Афанасий подчинялся есаулу молча, и на скуластом его лице нельзя было заметить неудовольствия. Медленно тронулись путешники. Впереди оставшиеся собаки тащили нарты с провизией, за ними брели по очереди то Афанасий, то есаул. Поочередно они тащили вторые нарты, на которых лежал Василий. Молча брели они весь день, ни шутка, ни песни не парушали мрачного безмолвия пустыни.

Всегда веселый, не падавший духом Василий лишь изредка стоял и бормотал что-то.

Несколько раз Мартынов подходил к нему и спрашивал, не надо ли чего. Тунгус брезгливо держался подалеже от больного.

Так шли целый день, пробовали идти в темноте, но это было выше их сил. Пока Афанасий кормил и привязывал собак, есаул нарубил можжевельнику и устроил костер.

Когда ужин был готов, есаул подошел к Ваське с едой. Тот, видно, очнулся и смотрел на него сознательным взглядом.

— Платон Иванович, простите меня! — срывающимся тоном сказал депшик.

— Что ты, Вася, на вот поешь.

— Не принимает душа.

Ночь он провел спокойно, но наутро сознание его снова стало мутиться.

Днем он пришел в себя и с усилием повернувшись, чтобы осмотреться. Он увидел бесконечную снежную равнину, передние нарты, которые с усилием тащили три собаки, Афанасия, и он увидел, что его нарты тащит Мартынов.

— Ваше благородие! Ваше благородие! — закричал он с неизвестно откуда взявшейся силой.

Есаул испуганно обернулся.

— Что вы делаете, батюшка!— снова закричал Василий, пытаясь слезть с парт, к которому он был привязан, и падая обратно.

— Что ты, Вася?— спросил есаул, наклоняясь к нему.

— Платон Иванович, бросьте меня. Все равно я не жилец... Падорветесь, батюшка... Не дойдете до Камчатки... Не погубите, отец, дайте помереть сплюжьюно...

— Лежи, Вася. Скоро Гижига, там тебя оставлю. Выздоровеешь, небось — ты парень молодой, крепкий... Лежи, голубчик.

Караван тронулся дальше, и Васька затих. Вечером Василий немного поел и лежал, что-то шепча про себя. Когда есаул уже укладывался, он вдруг позвал его.

— Что, Вася?— спросил Платон Иванович, садясь около него на корточки.

— Проститься, ваше благородие.

— Что ты...

— Нет уж, знаю я. Простите, коли чем не угодил... А вам спасибо за доброту вашу и за хлеб-соль... Старался я завсегда. Теперь вам без меня свободнее будет...

— Что ты, Вася, поддержишься. В Гижиге оправившись.

— Нет, Платон Иванович, я знаю... Без покаяния вот... — голос его слабел.

— Не говори, Вася. Спи спокойно. Доведем тебя, не бойся. Встанешь на ноги.

Долго сидел есаул около больного. Василий спал или был в забытьи. Он лежал с закрытыми глазами и трудно дышал. Есаул оправил на нем шубу, прикрыл его лицо от мороза и лег на свое место. Усталость сморила его, и он заснул тревожным сном.

Глубокой ночью есаул встал посмотреть на Василия и увидел, что шуба и парка его лежат на месте, а Василия нет.

— Афонька! Афонька!— закричал Мартынов.— Куда Васька девался?

Тунгус испуганно вскоچил.

— Ай-ай, куда ушла,— качая головой, говорил он.— Вон, вон куда след! Туда пошла!— закричал Афанасий и, взяв горящую головню, пошел по следам. Есаул, захватив шубу Василия, устремился за ним. Следы вели в сторону от лагеря. В нескольких местах видно было, что Василий падал, но потом вставал и шел дальше. Вот здесь он уже полз. Они прошли шагов триста от лагеря.

— Вот она! Вот она! Васька, вставай, шайтан!— закричал тунгус, наклоняясь над темной фигурой, лежащей на снегу. Василий лежал ничком, в одной оленьей рубахе и без шапки. Спина и волосы его заиндевели.

— Мертвый,— сказал тунгус, дотронувшись до него.— Зачем ушла?— прибавил он, помолчав.

Но Мартынов знал «зачем ушла», и скупые слезы, медленно скатываясь, замерзали на его щеках.

Темнота и равнодушное безмолвие царили вокруг. Головушка трещала, неровным светом озаряя вспыхивающий блесками снег и недвижную фигуру Василия.

6. ОТ ГИЖИГИ ДО ПЕТРОПАВЛОВСКА - НА - КАМЧАТКЕ

Однажды днем часовой, стоявший у Гижигинской батареи, увидел двух людей и собаку, медленно бредущих со стороны Юго-Восточного мыса. По всему

это не были «инородцы», ибо шли они налегке, без нарт и шли чрезвычайно медленно. Часовой с любопытством и недоумением следил за приближением странных путников. Один из них шел впереди, что-то неся на спине, сторбясь и наклонясь вперед, он шагал медленно, затрудненно, но с неуклонной методичностью. Второй отставал, спотыкаясь, покачиваясь, даже изредка останавливаясь. За ним, мордой уткнувшись в землю, след в след брела собака.

Отстающий человек вдруг загнулся, пошатнулся, постоял, пытаясь восстановить равновесие, и рухнул ничком. Передовой, не оглядываясь и не останавливаясь, продолжал путь.

Изумленный часовой ударил тревогу, вызывая караул. Весь военный гарнизон (шесть казаков) и все население Гижиги (около сорока человек) выскочили из казармы, домишек и юрт при таком необычайном явлении, как тревога среди суровой полярной зимы.

Тучный начальник шорта, в расстегнутом сюртуке и с шубой внакидку, вышел на крыльцо своего дома, прожевывая лососину, весь раздумывавшийся от предобеденной закуски.

К крыльцу медленно подходил человек в шубе, в унтах, с закутанным лицом и с саквояжем, привязанным к спине. Человека окружала группа гижигинских жителей, другая часть населения теснилась около казаков, которые шагах в двадцати позади несли второго пришельца. В нескольких шагах от крыльца незнакомец запнулся, падая, но урядник Пашков и приказчик Русско-американской компании подхватили его под руки и внесли в дом начальника Гижиги, второго принесли туда же. Это были Мартынов и совершенно обессиленный и обмороженный Афанасий. Уже третий день они брели без еды, и Афанасий, человек очень пожилой и к тому же одетый легче Мартынова, страдал сильнее. Из всех вещей Мартынов сохранил только сумку с пакетом и саквояж с форменной одеждой. Он не представлял себе возможным явиться к губернатору Камчатки в якутской шубе и малахае. Спасая чемодан, пришлось пожертвовать частью провизии.

В тепле, подкрепившись водкой и едой, Мартынов немного отошел. Он сидел за столом, страшный, лохматый, заросший густой черной бородой, с обмороженной щекой и носом и глубоко запавшими глазами. Тучный и радушный капитан, начальник Гижиги, потчевавший гостя, был разочарован. Он ожидал много рассказов от свежего человека и думал сам отвести душу, поболтать, но ничего не получалось. Мартынов был мрачен, сосредоточен и скуп на слова. Он кратко объяснил, кто он такой, и потребовал, чтобы немедленно ему помогли двинуться дальше.

— Батюшка мой, рад бы душевно, да как же могу я вас пустить в таком вот виде. Ведь до Тигиля не дойдете, батюшка, не то что до Петропавловска. Вот отдохните, отлежитесь, откормитесь, а мы тем временем надежных людей вам подберем. Так ведь с ветру их не возьмешь, — убеждал румяный капитан.

— Невозможно-с. Не позднее завтрашнего дня я должен следовать дальше-с. Весна приближается, — отрезал Мартынов.

Несмотря на резоны и уговоры тучного командира, Мартынов настоял на своем, и все было готово к тому, чтобы двинуться дальше. Урядник Пашков и Николай, каюр Русско-американской компании, должны были везти Мартынова до Тигиля, откуда он рассчитывал взять свежих людей и новые запряжки собак.

Мартынов заостенел душевно и чувствовал только одно стремление, одно желание — это двинуться и двинуться вперед, не останавливаясь, не давая себе возможности оттаять, обмякнуть. Он чувствовал, что стоит только дать себе волю, и он ослабеет, нервы сдадут, и он не сможет выдержать этой непрерывной борьбы с холодом, усталостью, одиночеством и горем, точащим его душу.

Он не сможет выдержать темпа путешествия, и весна нагонит его далеко от Петропавловска.

Когда все было готово к отъезду, Мартынов, одетый по-походному, вошел в комнату, где на медвежьей шкуре перед печью сидел Афанасий. Он был еще очень слаб и не мог сопровождать Мартынова дальше. При виде есаула он хотел встать, но Мартынов остановил его.

— Афанасий, ты ведь скоро оправившись?

— Скоро, бачка, скоро! Такой беда пришел. Я старый люди стал...

— Слушай, вот тебе сто рублей, привези сюда...— Платон Иванович запнулся.— Привези его сюда, когда оправившись. Ты знаешь ведь, где он остался.

— Знаем, бачка, все понимаем. Будь спокойна, привезем.

— Прощай, Афанасий.

— Прощай, бачка, час добрый тебе.

Прощаясь перед домом с тучным капитаном, есаул сказал:

— У меня к вам просьба генеральнейшая.

— Рад служить, пожалуйста, рад служить,— отвечал толстяк.

— В пути сюда погиб мой спутник, Василий Иванов... Тунгус мой, как только оправится, привезет сюда его тело... Прошу вас, похороните его и панихиду отслужите и памятник каменный... Вот деньги-с. Памятник хороший соорудите-с... Век благодарить буду,— прерывисто говорил есаул, и суровое лицо его морщилось и дрожало от сдерживаемых слез.

— Все сделаю, голубчик, все сделаю,— твердил растроганный толстяк, обеими руками пожимая руку есаула.

— Вот-с... эпитафия...— пробормотал Мартынов и, сунув в руки капитана бумажку, бросился в нарты, махнул рукой, и собаки понеслись. На бумажке четким почерком было написано:

*Здесь лежит русский
солдат*

*Василий Иванович
Иванов,*

*Жизнь положивший за
други своя
1855 г.*

Снова снега, горы, чахлые, низкие перелески. Бесконечная ледяная дорога. Снова почевки в снегу, у костра. Ночной вой собак, жалующихся на стужу, и ощущение холода и усталости, никогда не покидающее тело и давящее мозг. Вперед и вперед! Мартынов гнал и гнал, дорожка каждой минутой движения. Свирепые морозы жгли немилосердно, но это были последние усилия суровой зимы. Весна приближалась неотвратимо, и Мартынов спешил обогнать ее, не жалея сил.

Он все время был как в полусне. Это странное состояние уже давно овладело им. Он говорил и двигался, как лунатик, и действительность казалась ему нереальной, смутной. Шел третий месяц непрерывной гонки по застывшим

суровым северным пустыням, и движение, непрерывное движение стало сутью всего душевного строя Мартынова. Вперед, вперед! Все яснее облик приближающейся весны. Вперед! — скрипят полозья, несутся собаки. Еда наскоро, короткий свинцовый сон, и снова вперед. Казалось, ничего нет на свете, кроме бесконечного пути, снегов и дымного костра. И никогда не будет этому конца — это и есть жизнь и все.

Труден был переход наперерез гористого полуострова Тайгопос, после него напрямик через торосы и ледяные поля замерзшей Пенжинской губы. Ночевка среди льдов, без костра и ужина, и вот обрывистые берега Камчатки. Еще несколько дней тяжелого пути, и Мартынов прибыл в Тигиль. Переночевав в тепле, на другой же день он выехал дальше. Бородатый тигильский казак Семенов и юряк Алексей сопровождали его. Пройдя несколько дней по побережью, вдоль застывшего моря, караван свернул в глубь полуострова, чтобы перевалить горы в наиболее доступном месте. Скоро начались разлоги Камчатских гор.

Однажды, переходя замерзшую речку, Мартынов, как это постоянно приходилось делать, соскочил с нарта, чтобы удобнее направлять их между обледенелых камней. Нога его соскользнула, что-то хрустнуло, и невыносимая боль заставила его сесть на снег.

Мартынов осмотрел поврежденную ногу. Очевидно, были растянуты и надорваны связки. Ступить на ногу было почти невозможно, а идти и вовсе было нельзя. Приходилось продолжать путь, не сходя с хрупких и валких нартов. Холод сильнее донимал, нельзя было согреться, соскочив и пробежавшись рядом.

Застывающая нога ныла немилосердно. Холод еще сильнее разжигал боль.

Но остановиться и отогреть большую ногу значило потерять несколько часов, десяток-полтора верст.

Вечером нога пришлось оттирать снегом. Мартынов боялся, что отморозит ее. На другой день стало ясно, что неподвижность ноги обрекает ее на обмороживание, а двигать ею нельзя было от боли. Мартынов еще сократил время отдыха и все торопил своих спутников. Нога распухла так, что трудно было снимать широкий меховой сапог. День за днем, стиснув зубы, лежал Мартынов на валких нартах, страдая от холода и невыносимой боли в ноге.

Но вот однажды боль стихла, нога онемела и была как чужая. Сознание мутилось у Мартынова, и отчаяние охватывало его. Вечером Мартынов не стал разуваться и оттирать ногу. Утром он подозвал Семенова и объяснил ему всю важность кожаной сумки и лежащего в ней приказа. Он сделал это на случай, если окончательно потеряет сознание.

Бородатый молчаливый казак кивал головой, слушая слабый голос есаула.

— Не сумлевайся, ваше благородие. Доставим, — сказал он и гикнул на собак. Караван тронулся в путь. Казак бежал на лыжах рядом с нартами. Мартынов забылся. Ему казалось, что он лежит у себя в спальне на широкой ковровой тахте, и сейчас Васьяка придет открывать окна.

В темноте, где-то непонятно, не то близко, не то далеко, мелькнули, скрылись, снова мелькнули и тихо затеплились несколько огоньков.

— Ваше благородие, Петропавловск видно, — сказал Семенов, наклоняясь к нарте, где лежал Мартынов.

Эти слова электрическим ударом потрясли есаула. Петропавловск видно!? Что-то невероятное было в этих словах. Значит, правда? Ведь казалось, ничего

нет в мире, кроме холода, снега, собачьих упряжек, гор, торосов, ледяных полей, вечного движения вперед к недостижимой цели. Петропавловск!

С трудом повернув онемевшую ногу, преодолевая одеревяненность застывших мускулов, Мартынов повернулся, приподнялся и увидел огоньки. Собаки неслись во весь опор, нарты заносило и швыряло по накатанной дороге. Впереди, неизвестно — далеко или близко, теплились и мерцали огоньки.

— Ныне отпускаеши... — трясущимися губами прошептал Платон Иванович, чувствуя, как слезы выступают у него на глазах.

Вот мимо промелькнуло что-то темное, вроде дома. Вот забор. Вон светится чье-то окно.

— Куда захватить прикажете?

— Нет ли тут гостиницы?

— Есть вроде трактира заведение.

— Ну туда!..

Семенов и коряк под руки ввели Мартынова на крыльцо и открыли дверь. Клубы пара повалили из теплой низкой залы, освещенной оранжевым трепетным пламенем свечей.

Под потолком ходили клубы сизого табачного дыма. Из открытой двери в соседнюю комнату доносился стук бильярдных шаров. Несколько человек сидели за столами разгоряченные и емеялись чему-то. Они не обратили внимания на вошедших. В глубине комнаты была стойка с бутылками и самоваром. За нею стоял старик с остроколючей бородой и в жилетке поверх розовой рубахи.

Мартынова подвели к стойке.

— Чего изволите-с? Видно, издадека-с? — спросил старик, опираясь на стойку и наклоняясь вперед.

— Из Иркутска. Мне нужно комнату, чтобы переодеться и побриться. Можно ли? — слабым голосом отвечал Мартынов, чувствуя, что в душном теплом воздухе силы вот-вот оставят его.

— Можно-с! Можно-с, сударь! Батюшка мой, из самого Иркутска? Да как же вы добрались в такую стынь? — засуетился старик. — Сюда, пожалуйста, сударь!

Говор и шум смолкли в зале. Мартынов, двигаясь, как в тумане, заметил, что любопытные лица смотрят на него отовсюду, а в дверях бильярдной, глядя на него, стоят игроки с киями в руках.

В отведенной ему комнате есаул переоделся при помощи Семенова, держа себя в руках чудовищным усилием воли. В тепле нога ожила, и снова началась сильная боль. Комната то и дело шла кругом, в глазах рябило, и Мартынову начинало казаться, что он бредит, что сейчас очнется, и все окружающее исчезнет, и снова будет ночь, снег, дымный костер и скулящие от холода собаки. Много мучений доставила больная нога. Она распухла так, что пришлось разрезать меховой сапог, кожа почернела и потрескалась. Надевая форменные брюки, пришлось разрезать штанину внизу. Нечего было и думать, чтобы надеть сапог. Мартынов был в отчаянии. Никак нельзя было считать себя одетым по форме с разрезанной штаниной и босой, распухшей ногой. Однако делать было нечего. Ногу, поверх форменных брюк, обмотали мягкой оленьей шкурой и обвязали шпагатом. Старик-хозяин сам вызвался обрить свалывшуюся черную бороду есаула и сделать из нее бачки. Когда все было кончено, есаул попросил зеркало. Впервые за два с лишним месяца он увидел свое лицо.

Оно было страшно, почернелое, со струпами на щеке и носу, с ввалившимися глазами, оно казалось непомерно скуластым и похожим на чирей.

Он поднялся, застояв от боли, застегнул узкий мундир и, надев форменную фуражку, завернулся в шубу. Старик-хозяин подал ему палку. Семенов и коряк с помощью старика вынесли есаула и усадили на нарты.

Снова заскрипел снег под полозьями, и через несколько минут нарты остановились у дома с сияющими через обледенелые стекла окнами. Это был дом Завойко, губернатора Камчатки.

Снова мучительное путешествие на крыльцо при помощи спутников. Как во сне, Мартынов открыл дверь. Два лакея вскочили с лавок ему навстречу.

— Есаул Мартынов,— еле слышно сказал им Платон Иванович, отдавая шубу и фуражку.

— Есаул Мартынов!— прокричал лакей, распахивая перед ним двери и с нескрываемым изумлением глядя на помятое платье и обмотанную оленьей шкурой ногу визитера (у Завойко был вечер).

Мартынов шагнул к раскрытым дверям, опираясь на палку. В глазах потемнело от боли, но он превозмог себя. Навстречу ему шел небольшого роста человек в распахнутом мундирном сюртуке, с красивым круглым лицом, на котором вместе с любезной улыбкой было выражение недоумения. За ним в ярко освещенном зале виднелись еще какие-то любопытные и удивленные лица.

Приставив палку к стене, есаул вытянулся во фронт, красивым, четким жестом выдернул из левого обшлага пакет и шагнул вперед. Невыносимая боль пронизала его, в глазах потемнело, но он успел твердо сказать, подавая пакет:

— Есаул Мартынов, курьером от генерал-губернатора, имею честь явиться! Завойко принял пакет и невольно посторонился. Мартынов во весь рост рухнул перед ним на пол.

Раздались женские вскрики, изумленные возгласы мужчин. Гости толпились к дверям, желая увидеть, что случилось.

Два флотских офицера перенесли на диван бесчувственного есаула.

Сквозь группу гостей поспешно протеснился доктор. Он расстегнул крючки чересчур, впрочем, свободного воротника мундира на исхудавшей шее Мартынова, кто-то подал стакан воды, он побрызгал на есаула, но тот не приходил в себя.

— Предельное истощение,— сказал доктор, щупая пульс и обращившись к вопросительно смотревшему на него Завойко.

— А с ногой у него что-то,— проговорил капитан фрегата «Диана», указывая на безобразно заматанную в шкуру ногу есаула.

— Господа, господа, прошу прощения!— проговорил доктор, которого теснили любопытствующие гости.

— Господа, прошу вас перейти в другую комнату.

При есауле осталось несколько высших офицеров, Завойко и доктор. Он размотал шкуру, еще больше разорвал штанину. Склонившись низко, осмотрел ногу и, поднявшись, тихо сказал:

— Антонов огонь. Нужна немедленная ампутация по колену.

Все молчали.

— Риск огромный, господин Мартынов слишком ослабел,— прибавил доктор.

— Надо все сделать, чтобы спасти его,— сказал Завойко. Мартынова немедленно перевезли в лазарет. И в то время как петропавловский врач и врачи

с «Дианы» в «Авроры» оперировали бесчувственного Мартынова, в кабинете Завойко обсуждались практические мероприятия по эвакуации Петропавловска.

7. В ОПУСТЕВШЕМ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Железный организм Мартынова благополучно вынес ампутацию. Уход за ним был самый тщательный. Жена Завойко и жены других офицеров поочередно дежурили у его постели. Кормили его всем, что только можно было достать лучшего и питательного. Между тем как Мартынов медленно, но верно выздоравливал, Петропавловский гарнизон день и ночь работал, готовясь к походу. Снимали и срывали батареи, разгружали склады и грузили корабли. Во льду Авачинской губы прорубили канал и подвели суда ближе к выходу, чтобы при первой возможности выйти из бухты. Весна началась быстрая и дружная. Город опустел, все официальные лица и часть жителей перебрались на корабли. Остались только те, кто корнями прерос к камчатской суровой земле.

Нужно было кого-то оставить в качестве официального лица при упраздненной крепости, где еще оставались жители. Выбор военного совета остановился на Мартынове. Врачи опасались, что морской переход в бурное время года при незажившей еще ноге не безопасен для него. При первой же возможности, прорубаясь сквозь лед на чистую воду, эскадра вышла в море и под носом у во много раз сильнейшей эскадры неприятеля ушла к Амуру. Противнику случайно удалось захватить только шлюпку с несколькими матросами. Узнав, что добыча ускользнула, противник кинулся в погоню, но тщетно.

* * *

Платон Иванович, пользуясь первым весенним теплом, вышел посидеть на лавочке перед домом. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, вход в который закрывала от зрителя поросшая кудрявой зеленью тора. Платон Иванович сидел, опираясь на палку и поставив костыль к связи сруба. Странное ощущение испытывал он. День был тихий, еле тянул легкий бриз. В голубом небе высоко и недвижно лежали стружки перистых облаков. Платон Иванович любовался зеленью горы, сверкающей гладью обширного залива, и казалось ему, что жизнь его в Иркутске, Феофиста Романовна, приятели — все это было так давно, будто бы после этого прожил он целую долгую, долгую жизнь. Как мрачный, страшный сон вспоминалось путешествие, и казалось, что давно, много лет он живет так, как сейчас, бездельно и созерцательно, ощущая, как оживает, крепнет его тело и расправляется подавленная душа. Было тихо, не плескало море, где-то скрипело колесо колодца. У берега несколько мальчишек с камней ловили рыбу. Вдруг из-за горы медленно-медленно выдвинулось судно. Оно еле двигалось при безветрии, и белые паруса его почти не были надуты. Когда показался весь его корпус, загрохотала яворная цепь, по вантам и реям побежали люди, и паруса молниеносно словно облетели с мачт. Мальчишки, рыболовы, задыхаясь, промчались мимо Мартынова.

— Неприятель! Неприятель в бухте! — кричали они.

У Мартынова захолонуло сердце, и кровь отошла от щек. Он нахмурился, сторбился и, не спуская глаз с фрегата, остался сидеть на своем месте. С судна спустились несколько шлюпок, и одна из них быстро пошла к берегу, в то время как остальные держались на расстоянии от нее.

Шлюпка подошла к берегу. Из нее выскочили несколько матросов с ружьями и молодой офицер с обнаженной шпагой. Они прошли с ружьями наперевес к поселку, где возле Мартынова уже толпились немногочисленные оставшиеся жители. Присутствие этой мирной кучки людей, среди которых большая часть были женщины и дети, видимо, успокоило офицера. Он скомандовал что-то, отряд повернул обратно. Немного не доходя до воды, офицер несколько раз махнул белым флажком, и маневрировавшие в отдалении остальные шлюпки быстро пошли к берегу. Они выгрузили большой отряд матросов с несколькими офицерами во главе. Построившись в колонну, отряд двинулся к поселку.

— Ишь ты, маршируют, как на параде,— говорили в кучке возле Мартынова.

— Эх, не оставили нам пушек. Сейчас бы картечью их, как перепелов бы, положили.

— Красуются, дьяволы. Видать, забыли, как прошлый год с сойки в море кувыркались.

Шедший впереди высокий, белокурый офицер что-то скомандовал, отряд, брякнув оружием, остановился, и этот офицер в сопровождении еще нескольких направился к кучке обывателей. Офицер шагал журавлем, его румяное, коротконосое лицо имело презрительное выражение.

— Кто здесь начальник? — с сильным акцентом спросил офицер.

Из толпы вышел есылный поляк Стражевский и, указав на Мартынова, что-то сказал на иностранном языке. Офицер, смерив Мартынова взглядом, резко спросил:

— Ви комендант крепости Петропавловск?

Мартынов сидел, выпрямившись, опираясь на палку обеими руками. Он не хотел встать, чтобы, обнаружив свою хромоту, не уронить перед врагом достоинство представителя русской армии.

Ярость закипала в нем от вида чужеземных морских солдат, хозяевам стоящих на русской земле. Но он сдерживал себя.

— Я смотритель зданий упрядненной крепости Петропавловск,— сказал он, указывая на несколько деревянных пустых магазинов, зиявших открытыми дверями.

— Покажите все казенные здания и имущество крепости! — потребовал офицер.

— Имущество вывезено под метлу. А здание вон, смотрите сами. Я исполнять ваших приказаний не намерен! — багровея, сказал Мартынов и, свирепо выкатывая глаза, стукнул палкой в землю.

Офицер тоже вспыхнул и, отступив на шаг, закричал:

— Встать! Замолчать! Ви есть мой военнопленный.

С усилием поднялся Мартынов на здоровую ногу и с трясущейся от гнева челюстью сказал:

— Поздравляю вас с блистательной победой, со взятием крепости и ее гарнизона, это я-с! — Он качнулся и, взяв из-за связи сруба костыль, бросил его к ногам офицера.

— А вот и трофеи. Военные-с!

Стражевский подошел к ошенившему офицеру и шопотом в нескольких словах объяснил, кто такой Мартынов и отчего у него нет ноги.

Офицер покраснел еще сильнее, так, как краснеют светлокоткие блондины и, отдавая честь, сказал:

— Я отдаю честь герою. Беру обратно свои слова и прошу у вас... — он замялся, подыскивая слово, — и прошу у вас прощенье.

Мартынов, глядя в сторону, тяжело опустился на скамью. Неприятель сожгли пустые магазины и на рассвете ушли из бухты.

Примечание. Подвиг Мартынова — исторический факт. Зимой 1854—1855 года генерал-губернатор Восточной Сибири получил сведения, что неприятель после первой бесславной попытки намеревается вторично с многократно превосходящими силами атаковать Петропавловск. Единственное средство спасти имущество крепости и русскую эскадру от полного уничтожения было послать курьера с приказом при первой возможности перейти в устье Амура, где и скрыться от неприятельского флота. Во что бы то ни стало надо было успеть привезти этот приказ до наступления весны.

Мартынов был послан с этим поручением. В небывало короткий срок, около трех месяцев, проделал он весь путь, терпя невероятные лишения и опасности. Он успел вовремя предупредить русское командование.

Неприятель, придя в Петропавловск, не застал там эскадры, и весь остальной период войны флот его бесплодно разыскивал русскую эскадру у берегов Сибири.

А. ТВАРДОВСКИЙ

БАЛЛАДА ОБ ОТРЕЧЕНИИ

Вернулся сын в родимый дом
С полей войны великой.
Шинель без пояса на нем,
Затянутая льком.
Не брита с месяц борода,
Ершится — что чужая.
И в дом пришел он, как беда
Приходит вдруг большая.
Но не хотели мать с отцом
Беде тотчас поверить.
И сына встретили вдвоем
Они у самой двери.
Его доверчиво обнял
Отец, что сам когда-то
Три года с немцем воевал
И добрым был солдатом.
Навстречу гостю мать бежит:
— Сынок, сынок родимый...
Но сын за стол засесть спешит
И смотрит как-то мимо...
Беда вступила на порог —
И нет родным покоя.
— Как на войне дела, сынок? —
А сын махнул рукою.
А сын сидит с набитым ртом
И сам спешит признаться,
Что ради матери с отцом
Решил в живых остаться...
Родные поняли не вдруг,
Но сердце их зануло.
И край передника из рук
Старуха уронила.
Отец себя не превозмог,
Поникнул головою.

— Так что ж, выходит так, сынок, —
Ты убежал из боя?..
И замолчал отец-солдат,
Сидят, согнувши спину,
И грустный свой отводит взгляд
От глаз родного сына.
Тогда глядит с надеждой сын
На материн передник.
— Ведь у тебя я, мать, один —
И первый и последний.
Но мать, поставив щи на стол,
Лишь дрогнула плечами.
И, показалось, день прошел,
А может, год в молчаньи.
И праздник встречи навсегда
Как будто канул в омут.
И в дом вошедшая беда
Уже была, как дома.
Не та беда, что без вреда
Для совести и чести,
А та, нещадная, когда
Позор и горе вместе..
И вот поднялся, тих и строг
В своей большой кручине,
Отец-солдат. — Так вот, сынок,
Не сын ты мне отныне.
Не мог мой сын, — на том стою, —
Не мог, забыв присягу,
Покинуть родину в бою,
Притти домой бродягой.
Не мог мой сын, как я не мог,
Забуть про честь солдата,
Хоть защищали мы, сынок,
Не то, что вы. Куда там!
И ты теперь оставь мой дом,
Ищи отца другого.

А не уйдешь, так мы уйдем
Из-под родного крова.
Не плачь, жена. Тому так быть.
 Был сын и нету сына.
Легко растить, легко любить,
Трудней из сердца вынуть.
И что-то молвил он еще
 И смолк. И, подняв руку,
Тихонько тронул за плечо
Жену свою старуху.
Как будто ей хотел сказать:
 — Я все, голубка, знаю,
Тебе еще больной, ты — мать,
 Но я с тобой, родная.
Пускай наказаны судьбой,
 Не век скрипеть телеге,
Не так нам долго жить с тобой,
 Но честь живет вовеки..
А гость, качнувшись, за порог

Шагнул, нащупал выход.
Вот, думал, клиннут: «Сын, сынок,
 Вернись!..» — Но было тихо.
И, как хмельной, держась за тын,
 Прошел он мимо клетки.
И вот теперь он был один,
 Один на белом свете.
Один, без крова, без семьи,
 Без имени и рода.
Без солнца, неба и земли,
 Без жизни, без исхода..
Тому много нет конца,
 Кто в дни войны священной
Под кров родимого отца
 Принес позор измены.
И кары нет тому иной,—
 Закон страны порукой,—
Кто в сердце матери родной
 Сменил любовь на муку.

Ф. КНОРРЕ

ВСТРЕЧА В ТЕМНОТЕ

Теперь они возвращались обратно в жизнь. Последнее, что у них оставалось в памяти, было пламя горящего танка, подывающий свист бомбы, полыхнувший перед глазами огонь близкого взрыва.

Потом шла темнота беспмятства, сквозь которую пробивалась непрерывно нараставшая боль, что чуть-чуть утихавшая, то делавшаяся совершенно невыносимой, и смутные, а иногда мучительно ясно возникавшие из темноты подробности: трясущийся борт грузовика, или белый закругленный потолок вагона перед глазами. И всегда это было так: из темноты забытья проступала боль и однообразный стук колес поезда, или боль и освещенная солнцем стена, боль и лицо сестры, наклонившейся с бинтом в руках.

Потом и это все прошло, и осталось затишье светлых палат госпиталя, такое удивительное после беспокойного ветра, криков, огня и грохота. Размеренная жизнь с благоговейно выполняемыми процедурами.

Все три обитателя маленькой угловой палаты: танкист Дымокуров, немолодой, грузный моряк, которого за солидность прозвали дядей Петей, и маленький, толстощекий артиллерист Ватулин, давно уже знали, что они никогда не вернутся на фронт, уже примирились с этой неизбежностью, и близкая реальность фронтовой жизни стала блекнуть в их сознании и другая ожидающая их реальность стала вырисовываться перед ними все явственней: возвращение домой, в эту странную, полузабытую жизнь, где люди уходят по утрам на работу, звенят трамваи и кругом много штатских и женщин; и еще одна реальность: тягостное, беспокоящее ощущение своего нового, непослушного, искалеченного тела.

Родные места у всех троих были очень далеко от города, где они лежали в госпитале, и поэтому очень долго их никто не навещал.

И вот однажды дядя Петя, который уже свободно разгуливал по всем коридорам и лестницам, запыхавшись вошел в палату, распахнув костылем дверь, и многозначительно, молча, протянул лежащему Дымокурову сложенную бумажку.

Выпростав из-под одеяла более здоровую руку, Дымокуров принял протянутую ему записку и стал неловко развертывать, придерживая ее у себя на груди толстозабитованными пальцами.

Дядя Петя и Ватулин, опираясь на костыли, подошли к его койке и следили, вытянув шеи, не отрывая глаз от записки.

— Тебе развернуть? — предложил дядя Петя.

Лежащий не ответил и, морщась от боли, подтянулся всем телом, слегка

приподнялся на локте, повернул записку к свету, начал читать, и сейчас же товарищи увидели, как у него на скулах проступили белые пятна.

Он читал очень долго, хотя в записке было всего несколько слов.

Стоявшие у койки переглянулись.

— Невеста, должно быть,— ни к кому не обращаясь, вскользь заметил Ватулин, внимательно поглаживая пальцем царягиню на лакированной поверхности своего костыля.

— Нет у меня никакой невесты,— неохотно отозвался Дымокуров и, откинувшись на подушку, сначала сложил пополам, а затем смял в руке записку.

— Ну, неважно, невеста — не невеста, а главное, человек пришел. Вот что хорошо. Она внизу стоит. Мы с ней немножко поразговаривали,— не поднимая головы, Ватулин улыбнулся, продолжая внимательно разглаживать царягиню. — Очень волнуется.

Лежащий беспокойно завозился, напряженно хмурясь и глядя в потолок:

— Что же теперь делать, товарищи?.. Пойдите, как-нибудь объясните, что сейчас нельзя. Скажите, лучше когда-нибудь после поговорим.

— После? Да ей сегодня ночью ехать. Она отсюда совсем уезжает. У нее и билет уже куплен на станцию. Когда же после разговаривать!

— Ну и пусть уезжает. Я вас прошу, вы сделайте как-нибудь, товарищи. Посоветуйте что-нибудь. Ну ты, дядя Петя, а? Ты-то понимаешь? Не желаю, чтобы меня в таком виде... Я очень вас прошу, вы подите, как-нибудь уладьте это, ребята...

Ватулин неодобрительно пожал плечами:

— Что же у тебя за вид такой? Понятно, ты раненый. Ты очень тяжело раненый. Ты еще поправишься. Я бы с тобой поменялся, честное слово. Доктор говорит, у тебя руки очень хорошо заживают...

— Что руки,— нетерпеливо прервал Дымокуров,— разве я про руки говорю.

— Да все равно, хоть и не руки,— горячо, но уже не так уверенно воскликнул Ватулин, невольно кинув быстрый взгляд на неполновзрослое лицо лежащего, как всегда до половины прикрытое накинутой сверху марлей.

— Зачем зря говоришь. Не поменялся бы... Хоть бы мне зеркало дали,— тоскливо проговаривал Дымокуров.

Глядя в сторону, дядя Петя оживленно перебил:

— Доктор говорил, тебе сейчас не надо зеркала. Недели через две-три швы побледнеют, подравняются, тебе зеркало дадут. А так, честное слово, что такого особенного. Ну шрамы и шрамы. Заживет.

— Нет, это останется. Зачем зря говорить.

Дядя Петя угрюмо завозился, поправляясь на костылях.

— Конечно, заживет. Немного заживет. Немного останется,— осторожно глядя Ватулин.

— Ну вот, мы разговариваем, а человек стоит внизу, дожидается,— расстроено вздохнул дядя Петя.

Лежащий снова нетерпеливо завозился и отвернулся к стене.

Дядя Петя с Ватулиным переглянулись.

— Слушай, знаешь что. Мы потасим тут свет. Хочешь?

Лежащий, напряженно соображая, медленно обернулся.

— Ну да, потасим электричество. Поразговариваешь с ней немного в темноте, и только, а завтра она все равно уедет.

— А из коридора свет.

— Из коридора свет не достанет до твоей койки. Сейчас попробуем. Ватулин, качнувшись вперед, налег плечами на костыли и длинным броском, в один миг передвинулся к двери. Щелкнул выключатель, и лампочка погасла.

Минуту все ждали молча, пока глаза не привыкнут к темноте.

— Ну, посмотри,— сказал немного погодя Дымокуров.

— Да я же смотрю. Ничего не видно.

— Честное слово? Хорошенько взглядишь. У тебя глаза еще не привыкли.

— Совершенно ничего не заметно. Я позову.

Лежащий со вздохом откинулся на подушки.

— Не знаю... ну, зовите.

• •

Шура поднималась по широкой лестнице вестибюля госпиталя — бывшей школы. На верхней площадке стояло несколько раненых, опираясь на костыли. Один из них был тот самый, с которым она разговаривала недавно внизу. Он улыбнулся, провожая ее беспокойным взглядом.

Следом за сестрой она шла по длинному коридору, почти не успевая ничего рассмотреть. В открытые двери комнат, выходивших в коридор, были видны ряды коек. На них сидели и лежали раненые. В одном месте, когда они проходили мимо, тихо, с глубоким придыханием стонал низкий мужской голос. Несколько человек в халатах, столпившись у подоконника, оживленно разговаривали. Где-то в конце коридора по-домашнему звенела посуда.

Сестра, подведя ее к открытой двери, сказала:

— Вот сюда,— и ушла, не оборачиваясь.

Шура вошла в полутемную комнату, куда свет падал только через дверь из освещенного коридора.

Остановившись у входа, она взглядывалась, ничего не видя. Знакомый голос каплянула где-то в темноте и произнес:

— Я тут. Вы садитесь. Стул около вас справа. Здравствуйте, Шура.

У нее забило сердце: ей показалось, что в темноте скрывается что-нибудь ужасное, и, не думая, она с испугом спросила:

— Вы ранены, да? — Услышала, что он усмехнулся, и торопливо поспрашивалась: — Я хотела сказать: вы очень ранены?

— Да ведь уже это известно, что я ранен. Что об этом говорить. Давайте об чем-нибудь другом лучше.

Она нащупала спинку стула и, отодвинув его в сторону, вошла в проход между двумя койками.

— Ничего не вижу. Отчего у вас свет не зажигают?

— Вы садитесь. Здравствуйте, Шура.

Она увидела что-то смутно белеющее и поняла, что он протягивает ей руку. Поспешно и бережно она приняла обеими руками протянутую руку. Ее пальцы, едва касаясь шершавой марли, бежали кругом повязки и нашли незабинтованное место. Осторожно скользнули по нему и испуганно, горячо, едва слышно, сжали.

— Больно? — шепотом спросила она так, как будто сама в этот момент боролась с мучительной болью.

— Да нет... Вы не стойте, садитесь. Вон там стул.

— Как у вас темно. Можно я зажгу свет?

— Нет. Свет нельзя. Тут у нас не полагается, знаете ли. Можно так поговорить.

Она нехотя присела на краешек стула.

— Я так рада, что вас нашла. Ведь я чуть было не уехала. Мне так страшно сделалось, что я могла уехать, не узнав, что вы тут.

— Правда, как странно получилось? Все-таки вот мы опять увиделись. Сколько лет прошло.

— Сколько, по-вашему?

— Что-то много, право уж не помню. Да и к чему теперь считать.

— Считать-то недолго. Всего четыре года. А я вот даже помню, какое на мне платье в тот день было.

Она услышала, как он усмехнулся в темноте и, лениво растягивая слова, спросил:

— Какое же было платье?

— Теперь это неважно и никому неинтересно... Как все девчонки носят. Такое зеленое, кажется, с какими-то отворотами... Я просто потому запомнила, что это был последний раз, когда я его надевала. После уж я не носила его никогда.

— Почему?

— Оно ведь летнее было. Тогда скоро холодно сделалось, зима наступила. А на следующее лето я уже выросла из него... Вот получился небольшой доклад на тему: зеленое платье и его синие отвороты,— закончила она зло.

— Отвороты были желтые,— сказал он тихо.

— Что? — быстро обернулась Шура. — Ну да, конечно, желтые...

Она вдруг засмеялась и, осмелев, встала со стула.

— Можно и вам поближе подойти? — Шура протянула руку и, хотя он сделал движение отодвинуться, притронулась пальцами к его голове, потом он почувствовал, как ее теплая ладонь неуверенно легла, прижалась и тихонько, округлым движением, погладила его по голове, осторожно подобралась ко лбу и тут остановилась, наткнувшись на его забинтованную руку, очень легко и настойчиво попыталась сдвинуть ее с места и, когда это не удалось, медленно соскользнула по краю подушки, точно обессилив.

Вдруг она быстро проговорила:

— Можно я на одну минутку зажгу свет? Только взгляну и сейчас же потушу. Ладно? Где тут у вас выключатель. Ничего не видно.

— Тут нет выключателя,— пожалуй слишком поспешно остановил ее Дымокуров и, запнувшись, спокойнее добавил: — Незачем зажигать.

— Почему незачем? — спросила Шура, тревожно вглядываясь в темноту. — Почему? Вам плохо будет, если я зажгу?

— Да, нехорошо, и вам тоже.

— Ох, как вы можете так думать? Мне-то? Мне все равно. Я хочу вас видеть, какой вы есть. Клянусь вам, мне будет совершенно все равно.

— Нет, вам будет не все равно,— сказал он с такой безнадежной усталой уверенностью, что она сбилась и испуганно замолчала. Она с таким напряжением вглядывалась в светлое пятно подушки с темнеющим посредине смутным очертанием его головы, что скоро у нее перед глазами поплыли все быстрее цветные круги, и ей пришлось на минуту зажмуриться, чтобы это прошло.

Он перевел в темноте дыхание и тихо сказал:

— Вам нетрудно подойти к двери, где свет, и немножко там постоять, чтоб я вас видел.

Шура тихонько издала знакомое «хм», вроде короткого смешка, застенчивого и насмешливого вместе, и пошла к двери, поправляя на ходу волосы.

— Так стоять?— спросила она улыбаясь, вошла в полосу света и остановилась, прислонившись плечом к косяку, слегка нагнув голову набок.

Так она стояла не двигаясь, молча улыбаясь и глядявалась в темноту комнаты, где он лежал в дальнем углу.

Немного погодя она спросила: «Хватит?» Но он не отвечал, и она еще немного постояла, а потом сама себе громко сказала: «Хватит», вернулась на место, осторожно взяла его за руку и спросила: «Ну что?»

— Совсем такая же осталась,— проговорил он так растерянно, как будто спрашивал: «Что же мне теперь делать?» И вдруг, изменив тон, вежливо спросил:

— Дядя Петя говорил, вы уезжаете. Будто уж и билет достали.

— Да, билет у меня куплен.

— Трудно теперь с билетами?

— А вы что?— враждебно спросила Шура.— Ехать куда-нибудь собираетесь?

— Нет, я про вас спрашиваю.

— А-а, спасибо. Трудно, но все-таки достала. Завтра в 5.30 утра поезд как раз уходит.

Она откинулась на спинку стула и огляделась, хотя почти ничего нельзя было увидеть.

— Что это у вас, цветами как будто пахнет?

— Да, тут приносят иногда.

— Ваши знакомые?

— Нет, откуда же тут. Так, незнакомые передают иной раз.

Вдруг Шура быстро, как загадку на быстроту, проговорила:

— Цветочек помните?

Он невольно, не подумав, ответил «да», и Шура удовлетворенно качнула головой и замолчала.

Неожиданно для самого себя он стиснул зубы и, нехорошо усмехаясь, сказал:

— Мне нетрудно, знаете, запомнить один-единственный цветочек, а вот вы, наверное, из тех цветочков, что раздавали за эти четыре года, могли бы хорошенький букетик составить. Да?— и он, мучительно морщась от боли, ожесточенно завозился и, с усилием отвернувшись, стал смотреть в сторону.

Шура, по своей старой привычке, досадливо приподняла одно плечо и задумчиво потерлась об него щекой, склонив голову набок.

— Очень жалкий букетик,— наконец тихо, с усилием проговорила Шура,— едва ли даже это можно так назвать... Всего из двух цветочков. Того, что я вам подарила, и еще одного, довольно плохенького, вернее, просто никакого. Что, больно? Почему вы морщитесь?

— Разве я морщусь?

— Я же слышу по дыханию. Что-нибудь болит? Рука?

— Да и рука.

— Очень больно? До сих пор больно? Что у вас с руками?

— С руками ничего такого ужасного. Работать-то я смогу, хотя я еще не знаю, кем я буду. Смешно, правда? Человеку за тридцать, а он говорит, что

не знает, кем он будет. Приходится жизнь начинать заново, как в семнадцать лет. Вот кем я уже не буду никогда, это я могу вам сказать точно. Я не буду призовым бегуном. Не буду пианистом. И футболистом не буду. И с меня ни один художник не возьмется рисовать портретов для папиросных коробок... Много чем мне не придется быть, а все-таки я чем-нибудь да буду, и хватит.

Он говорил все это тихим, чуть хриповатым голосом, размеренно. Все это же сейчас пришло ему в голову, все было давно обдуманное, уже ставшее привычным...

Шура слушала его, наклонив голову, и тихонько, чтоб он не заметил, успокоительно поглаживала в темноте свесившийся край ворсистого шерстяного одеяла.

Из коридора доносился сдержанный гул голосов, шум шагов мягко обутых ног и припрыгивающий стук костылей.

Раненые шли ужинать. Двое из них стояли, издали поглядывая на темную дверь своей палаты.

— Все разговаривают? — таинственным шепотом озабоченно спросил Ватулин.

Дядя Петя вздохнул, покусывая губы и хмурясь.

— Кто разговаривает? — улыбаясь, осведомился, остававшаяся около, третий раненый с непомерно толстой, забинтованной рукой, которую он нес перед собой, как запеленутого ребенка.

— Тихе ты, пожалуйста, — сморщился дядя Петя, косясь на дверь, — там к Дымокурову пришли. Девушка.

— Знакомая? — Подождевший с интересом придвинулся ближе, отставив руку, чтобы не толкнули. — Вот счастливый, а какой это Дымокуров, не помню?

— Да, счастливый, — угрюмо хмурясь, сказал дядя Петя. — Ты что же, Дымокурова забыл?

Раненый на минуту задумался, припоминая, и вдруг у него округлились глаза, и он про себя охнул, сморщившись, точно от боли, да так и застыл, испуганно глядя дяде Пете в глаза.

— Ох, да это никак тот, у кого... лицо.

Быстрой походкой, мягко ступая войлочными туфлями, прошла по коридору сестра. Когда она уже подходила к темной двери, Ватулин забеспокоился, закашлялся и стал делать сестре знаки рукой. Сестра на ходу обернулась, кивнув ему в знак того, что все знает, заглянула в комнату, где не был зажжен свет. Она не вошла, а только с порога своим ровным, как будто всегда кого-то успокаивающим голосом сказала, что пора ужинать и посетителям надо уходить.

— Ну вот спасибо, что навестили, — сказал Дымокуров, когда сестра вышла, — пора вам отдохнуть, ведь рано ехать придется.

— Да, — подтвердила Шура, — скоро ехать... А может быть, можно еще немного посидеть? Или неудобно? Ну хорошо, сейчас пойду... Вот мы и увидались, как-то странно. Поправляйтесь.

— Счастливый путь вам, Шурочка. Поезд, кажется, в 5.30, вы говорили? Что вы улыбаетесь?

— В 5.30... Улыбаюсь, что вы Шурочкой называли... А хотите, я пойду сейчас на станцию и продам свой билет.

— Зачем это? — хотел сказать он бодро и даже немного насмешливо и вдруг услышал, что выговорил это охрипшим, совсем упавшим голосом.

— Зачем?... Ну тогда бы я осталась тут.

Он яростно откашлялся, рассердившись на свой сорвавшийся голос, и громко сказал:

— Сейчас опять сестра придет, будет замечания делать. Вам лучше пойти сейчас, Шура.

— Да, — сказала Шура, — иду, — и встала.

Она наощупь взяла его руку и теперь сразу нашла незабинтованное место, провела по нему обеими ладонями, медленно и очень внимательно, как будто запоминая, потом бережно положила его руку обратно на одеяло, и сначала ладонь, затем пальцы ее медленно, безжизненно начали соскальзывать с его руки, и в тот момент, когда остались только кончики пальцев, его неподвижная рука шевельнулась, как будто чтобы удержать. Ее рука задержалась, почувствовала его слабоежатие и замерла.

Он лежал в темноте и знал, что она не может его видеть, и улыбался с закрытыми глазами, с болью сжимая своей крупной, слабой рукой ее горячую и сильную маленькую ладонь.

Он думал, что вот-вот она отнимет руку, но ее рука смиренно лежала, будто отдыхая в его руке, сжатая между влажной ладонью и тугой шершавой марлей повязки.

Тогда он всю свою волю, собранную как пучок света, направил на свою руку. Рука медленно разжалась, согнулась в локте и, высвободившись, легла на одеяло.

«Ничего на свете, ничего в целом свете не нужно, только чтобы она была тут и не уходила, чтобы ей не нужно было никогда уходить», — думал он, чувствуя в то же время, что именно сама эта страшная сила желания быть с ней каким-то необъяснимым образом дает ему и силу отнять руку и делать все так, чтобы она ушла.

— Ну что ж, — с коротким вздохом сказала Шура и встала, и в ту же минуту он услышал в коридоре чьи-то приближающиеся шаги и понял, что она тут, около него последние, самые последние мгновения.

Он только подумал и сейчас же почувствовал, как сердце, оттого что он подумал, забилось такими грубыми, сильными толчками, что стало немного трудно дышать, и он быстро проговорил:

— Вам очень смешно будет, если я попрошу вас поцеловать меня на прощание?

И она, почти не дав ему договорить, качнула головой и поспешно сказала: «нет» и быстро наклонилась над ним так, что он почувствовал ветер от ее движения, и ему показалось, что он видит в темноте ее широко открытые глаза у самого своего лица.

Она поцеловала его, и он сейчас же заговорил: «Идите теперь, идите, идите скорей...» — и все повторял это, не переставая, до тех пор, пока не услышал ее шагов, удаляющихся к двери. Она прошла сначала по коврику, потом по твердому полу, медленно вошла в освещенную раму двери и обернулась, глядя назад, в темноту.

Он лежал примолкнув, с широко открытыми глазами и смотрел, как ее рука медленно оторвалась от косяка двери, как потом она уронила голову на плечо и провела щекой по упрямо приподнявшемуся плечу и, качнувшись вперед, не оглядываясь больше, медленными шагами вошла по коридору, и он перестал ее видеть и только изо всех сил прислушивался, и когда он понял, что она уже никак не сможет его услышать, и почувствовал, что задохнется, если

сейчас ничего не скажет, он скомкал большой рукой край простыни и, не разжимая рта, проговорил очень тихо, никогда не говоренное, позабытое с детства, деревенское слово «любушка»... И тут же ее шаги в коридоре остановились, и она спросила: «Что?»

Он молчал, собираясь с силами, потом пустым голосом выговорил:

— Я просил сестру... Я сестру просил позвать.

Шура сурово качнула головой.

— Неправду говорите. — И слова он услышал ее шаги, и, прежде чем он понял, что произошло, она опять стояла в дверях и, протянув руку туда, где бывает обычно выключатель, нащупала его рукой и повернула.

Неяркий молочный свет залил палату, где она так долго просидела в темноте. Она сама зажмурилась от неожиданности на мгновение и быстро проговорила:

— Не бойся, не сердись, не думай, мне все равно — мне будет все равно...

Она увидела розоватое одеяло и две соседние пустые койки с откинутыми белыми простынями, и его отчаянно стиснутые губы, и голову, глубоко вдавившуюся в подушку, и неожиданно прежние, слегка курчавые, густые волосы, и неловко поспешно закинутую руку, которую он судорожно прижимал, напрасно стараясь прикрыть свое напряженное, искаженное скрестившимися шрамами лицо.

Не чувствуя своих слез, она опустилась, почти упала на колени у кровати и обхватила и сжала его ноги, не отрывая испуганных, срадальчески-изумленных глаз от знакомого, давно не виденного лица.

— Боже мой, что же они с тобой сделали! И ты все это вынес совсем один. Отпусти руку, я тебе говорю. Мне все равно, неужели ты мне не веришь, что мне все равно.

Она на минуту замолчала, задохнувшись от жалости, от обиды и желания сейчас, немедленно сделать что-то, чтобы ему помочь, и тогда она услышала, как он со страстной мольбой, невнятно из-под прижатой к лицу руки повторял:

— Теперь уходите. Теперь уж совсем уходите. Мне ничего не нужно, только уходите.

И тут же в комнату вошла сестра и мягко, но недовольно повторила, что все посетители уже уходят или ушли. Шура тут заметила, что стоит и плачет на коленях в ногах кровати, она смущенно поднялась и, ничего не соображая, пошла впереди сестры к выходу, а потом никак не могла вспомнить, сказала ли она перед уходом ему «прощай» или нет, и ей казалось, что не сказала.

Снова она плала, не оглядываясь от смущения, по бесконечному коридору.

Позади себя она слышала торопливый стук костылей, и на повороте ее догнал раненый.

Сперва она его не узнала, но почти сейчас же припомнила, что это тот самый, с которым она говорила внизу, когда только вошла в дверь госпиталя.

Дядя Петя, покрасневший от усилия ее догнать, поровнявшись, пошел рядом, привычно плавными, сильными бросками передвигая свое тело на высоко подпирających плечи костылях.

— Уходите? — спросил он, переводя дух, встревоженно улыбаясь и заглядывая сбоку ей в лицо жадно испытующими глазами.

— Да, — сказала Шура, продолжая идти и глядя прямо перед собой, чтобы не показывать ему свои заплаканные глаза, — пора уже уходить.

— Разве вы больше не придете?

— Почему? — рассеянно спросила Шура, плохо соображая, чего он добивается.

— Так, может быть, придете? — настойчиво допытывался дядя Петя, поспевая рядом с ней на костылях. — Завтра придете? А? Честное слово?

Шура, досадуя, что не во-время приходится говорить с посторонним, не оборачиваясь, покосилась на него:

— Странно как вы спрашиваете. Вы верно его товарищ? Если да — привет передайте. До свидания.

Дядя Петя не совсем уверенно ответил тоже: «До свидания», остановился на площадке и стал смотреть, как Шура очень медленно начала спускаться по широкой лестнице вестибюля.

Прямо против лестницы висела большая картина «Сбор винограда», и в стекле Шура увидела свое отражение и всю лестницу и раненого, с которым попрощалась на верхней площадке. Он стоял и, ссутулясь на своих костылях, смотрел вниз, ей вслед. Потом к нему подошел другой раненый, тоже на костылях, очень маленького роста, и сейчас же озабоченно что-то у него спросил. И этот, обернув свое полное, круглощекое лицо, стал смотреть ей вслед.

Шура спустилась еще на несколько ступенек, и отражение в стекле исчезло. Она дошла до низу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась.

Наверху, на площадке, рядом с теми двумя, теперь стояло, столпившись, еще несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Одни стояли, как дядя Петя, опираясь на костыли, другие облокотились о широкие перила и, перегнувшись, смотрели вниз, а один, очень высокий, стоял на самом краю площадки, положив руку на плечо спустившегося ступенькой ниже маленького, толстощекого. И глаза их всех были устремлены прямо на Шуру.

Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затененной болью, простые и добрые глаза.

Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом.

Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла, сразу намокшими пальцами, ресницы и сказала:

— Вы только не думайте. Я завтра опять приду. Честное слово...

И степенный дядя Петя в ответ убежденно и ласково закивал ей сверху:

— Мы знаем.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

ЖЕНЩИНАМ МИРА И ЕЩЕ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Матери, сестры, невесты, жены!
Ах, не ломайте в бессилии рук...
Видите — мир встает обожженный,
Еле шатаясь от мук.

У мира уже не глаза — воронки!
Что за очки подобрать для них?
Иллюзий нет! Снова холод звонкий
Над бедной планетой возник.

Опять утверждается галочий орден
По упокою нашей души,
И снова средневековым ордам
Культура дана в барышни.

И вот уже молнии катастрофы
Над участью нашею понеслись...
Любимые ноты, любимые строфы
Кружат, словно осенью лист.

Пейзаж увядает, не слыша поэта...
Стихи гниют, как заморский лимон...
И тают, последние тают приметы
Когда-то великих имен.

Лишь вы, дорогие наши подруги,
Высокую нежность свою сберегли.
Так не ломайте в бессилии руки:
Вы — завтрашний день Земли!

Папите гектары, корчуйте мила,
Чеканьте стандарты, растите сырец,
Но главное — будьте такими, как
были:
Солнцем наших сердец.

Ведь если сквозь судьбы всех
поколений,
Пройдя через пушу, болота и рвы,
Что-либо создал человеческий гений,
То это создание — вы!

Вы — глубочайшее преображенье
Наших полотен, поэм и сонат...
Пусть обернется, рыча в сраженьи,
Лицом зверя солдат!

Пусть он в железном своем отресьи
Вместе с галстуклом сбросил и
грусть,
Пусть он не помнит о синем небе,
Забудет о книгах.. Пусть!

Только бы облик ваш не затмился,
Только бы мы не утратили вас...
Мы все восстановим — и звуки и
мысли,
На ваше тепло отзовясь!

Мы снова спяем разъятые звенья
И снова заметим лимон меж
ветвей —

Только б, родная, вдыхать
вдохновенье
В одной улыбке твоей.

Действующая армия

ВАСИЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО

МОСТ

Он над водой упругим телом зверя
Раскинулся в стремительном

прыжке.

Я подошел к нему, глазам не веря,
С гремучей смертью, сжатой в
кулаке.

Я двадцать лет учился созидать,
По кирпичу, по капле счастье
множить,

Чтобы сегодня все это опять
Одним движеньем спички

уничтожить!

В нем сто ночей моих недосыпаний,
В нем весь напор, таившийся

в крови,

В нем контуры невыстроенных
зданий

И время, отнятое у моей любви.

Да, я любил его...

Вот так подходишь к сыну,
Которого ты создал и взрастил.
Я сам последнюю поставил мину
И пинур последний спичкой запалил.
И видел я, как над водой взлетело
Его большое, скрюченное тело.

Там за рекой — лежал любимый
город,

И молодость покинутая в нем.

И мы клянемся:

Мы вернемся скоро!

Мы вновь как победители придем!!

Мы все вернем оставленное нами,
Заставим цеть любимые места!

И над водой раскинется, как знамя,
Литая тень висячего моста...

Октябрь 1941 года

МОЖАИСКИЙ СНЕГ

Сегодня выпал подмосковный иней,
И все покрылось легкой пеленой.

Страна моя,

твое святое имя

Морозной свежестью встает передо
мною!

Пусть будет снег!..

Голубоватый, хрусткий,

Привычный снег обычных русских
зим.

Пускай придет мороз исконно-
русский,

Пахнет в лицо дыханием своим.

Я славлю снега ледяные звезды,

Поземки шорох, низкий вой пурги.

Я славлю родины колючий вихрь,
Которым задыхаются враги!

Мы шли на фронт,

а вдоль дороги плыли

По краю развороченных канав

Машины цвета европейской пыли
Уже не существующих держав.

Еще зажат берлинский воздух
в шинах,

Присохла задунайская трава,
Еще вино французское в машинах,

Награбленные вещи в кузовах,

Но оседает подмосковный иней

На тупорылой брошенной машине.

Деревни нет —

сожгли...

Торчат лишь трубы.

Но землю русскую пожаром не
согреть.

Ты ждешь тепла —

мороз ударит в губы!

Ты жжешь дотла —

ты будешь востенеть!

Царапай землю мерзлыми руками,

Земли уж нет —

остался камень!..
Можайским снегом
полон мертвый рот —
Собачью смерть прими, фашистский
сброд!
Бери свое —
Теперь пришла расплата

За пепел, кровь, за вытоптанный
хлеб.
Лежи в снегу,
как черная заплата
На белой ослепительной земле!
*Можайское направление
Февраль 1942 года*

СУСАНИН

Степи, степи без конца и края,
Лес, поляны,
редкий профиль гор,
Вечная дорога голубая,
Вечно набегающий простор,—
Вот она — бескрайная Россия!
Мне тебя увидеть довелось...
На твои просторы костромские
Осыпает ветер медь берез.
Тянутся сухие руки кленов
В синий край заоблачных глубин,
Кажутся железом раскаленным
Огненные ягоды рябин.
Чем заменишь сердцу этот воздух,
Этот чуть голубоватый дым?
Белые, как изморозь, березы
Опустили руки у воды..
На полях цветистые заплаты
Разбросали тепы тополя...
Вдоль дорог стоят косые хаты..
Порькая, любимая земля!
По тебе идут чужие люди
И машины черные пылят.

Степь разбита грохотом орудий,
Выжжены до корня тополя.

Над тобой плывут косые тучи,
Над тобой проносится гроза.
Из лесов, из глубины дремучей
Смотрят партизанские глаза.

Стершим все!

Как некогда Мамая,
Зубы сжав, терпели до поры,
Чтоб, кольчуги и щиты ломая,
Взять его, как зверя, в топоры.

Чтобы вдруг с неповторимой силой,
Молча, хмуро и не торопясь
Бесплощадно побратать с могилой
По стране расползшуюся грязь.

Посмотри,

над степью, над лесами,
Проходя как ливень грозовой,
Костромской мужик Иван Сусанин
Мстителем поднялся над страной.

*Кострома
Октябрь 1941 года*

Подполковник Н. ДЕНИСОВ

ДНЕВНИК ОФИЦЕРА СВЯЗИ

Февраль. Вторник

Начинается воздушная операция, и я знаю, как она будет протекать. Наши скоростные бомбардировщики, поднявшись с аэродромов центра и правого фланга, устремятся на железнодорожные магистрали противника, прекратят подброску его резервов по шоссе, обрушат бомбы на крупный узел сопротивления. Тяжелые корабли и истребители, базирываясь на левом фланге, обеспечат операцию налетами на вражеские аэродромы и патрулированием в воздухе.

Поздно ночью генерал вызывает меня на командный пункт. На левофланговом аэроузле что-то неблагополучно.

— Выясните, что там случилось. Примите меры, — приказывает генерал.

Оперативную обстановку пришлось изучать уже под утро. В комнате штаба непрерывно звякают телефоны. За стеной стучит телеграфный аппарат. Полковник Степанов принимает боевые донесения, сухо, отрывисто отвечая на вопросы. В дверях то и дело появляются заиндевеленные фигуры посыльных с кодограммами. Я торопливо набрасываю на свою карту извилистую линию фронта.

— Смотрите в оба, — предупредил полковник, — немцы усиленно рыщут в этом районе.

...К рассвету возле штаба приземлился закамуфлированный под снег самолет. Подойдя к кромке крыла, знакомлюсь с летчиком.

— Щужкин, — представляется моло-

дой парень с чуть заметной рыжеватой бородкой.

— Идем с ночевкой? — деловито осведомился он.

— Видимо.

— Тогда надо взять обогрев и механика.

Чорт возьми! Непредвиденная задержка! Но Щужкин прав: придется садиться в поле, на разных площадках; все будем делать своими руками.

Перелетаем на базу и заруливаем под деревья. Моторист Соколов — маленького роста, подвижной, с густыми рябинками на лице — быстро загружает машину чехлами, обогревательной лампой, инструментом. Застегивая шлемы, договариваемся о наблюдении за воздухом. Мы с Щужкиным берем на себя переднюю полусферу, моторист отвечает за хвост.

Взлетаем. Синяя жидкость в сточном термометре опустилась до 28-й зарубки. Иногда на очки падают снежинки. Погода в общем хороша: меньше неожиданных встреч с «Хейнкелями» и «Мессершмиттами».

Бреющим идем над местами недавних боев. Дико торчат печные трубы в чистом выжженном немцами деревень. Высятся изуродованный взрывами элеватор. Еще тянет дымком от огромной кучи зерна — немцы не успели его вывезти. В лесу словно прошел ураган — это завалы и засеки. На проселочных дорогах — темные пятна брошенных немцами автомобилей, тракторов, танков.

Впереди снегопад. Смешанный с туманом снег застилает концы плоскостей. Нашу легкую машину крепко болтает, вести ее тяжело. Вижу,

как спина Щукина вздрагивает от напряжения. Только бы не потерять ориентировку!

Снег еще гуще. Щукин нерешительно оглядывается на меня.

— Вперед, — молча показываю рукой.

Идем еще двадцать минут, без горизонта, без неба, без земли. Наконец под мотором возникает ниточка железной дороги. Узнаем ее по крутой насыпи.

В тумане промелькнула станция. Во время бегства фашистов ее часто посещали наши бомбардировщики. Видны сваленные под откос вагоны, разбитые в щепы платформы, заледенный снегом хлам. Вспоминаю, что здесь попал под огонь зениток старший лейтенант Матросов: немцы пробили снарядом бензиновый бак; летчик спокойно переключал питание и продолжал бомбить.

С трудом пробившись сквозь вторую волну снегонада, на ощупь подходим к аэродрому. Что это? На белой глади легкого шolia какие-то недобрые пятна. Веером расходятся серые, как зола, полоски земли. Свежие воронки от бомб. Теперь понятно, чем был озабочен генерал! Наша машина проносится мимо обгорелого, перекошенного остова бомбардировщика. Впереди еще один, еще... Почему так близко они стояли друг к другу?

— Немцы пришли ночью, — торопливо докладывает дежурный. — Наши зенитчики сбили трех. Валяются там, за лесом...

Дежурный — молодой летчик. Видимо, он недавно пришел на фронт. От его комбинезона и мехнатых меховых краг еще пахивает складским нафталином. Доложив, он нервно отворачивается в сторону. Мне понятно его волнение. Больно смотреть на искоржканные бомбами металлические громады зораблей.

— Война, лейтенант! Вчера мы тоже побывали над немецким аэродромом, сожгли пять «Юнкерсов» и склад с горючим.

— Пять да три — восемь, — заметно повеселев, говорит дежурный. Козырнув, он отбегает к старту, — ему надо принять заходящее на посадку звено «амигтов».

Щукин свободно рулит под могучими, посадевшими на морозе, крыльями тяжелых бомбардировщиков. На

многих кораблях работают моторы. Это эскадрилья начинает операцию.

Наша машина останавливается возле землянки истребителей. Рядом с плоскостью из-под снега высунулось дуло немецкой зенитной пушки. Аэродром был недавно занят немцами. Они так спешили отсюда, что даже оставили несколько десятков тонн горючего. Хоту дозарядить машину, но Соколов, смешино помаргивая побелевшими ресницами, решительно протестует:

— У них, товарищ командир, сплошной эрзац. Еще сядем на вынужденную.

...Вместо подполковника Старикова истребителями командует сейчас капитан Алексеев. Подполковник вчера погиб в воздухе. Мы стаскиваем с голов шлемы и несколько минут стоим в молчании.

— Вечером, после боя, — тихим голосом докладывает капитан, — будем хоронить командира.

Он рассказывает, как это случилось. Днем, как раз в момент заправки, из облаков вывалилось несколько «Хейнкелей». Снопы трассирующих пуль встали над аэродромом: немцы метили в бегущих к укрытиям людей. Яростно заговорили наши моторы. Первым в четерке «яков» взлетел подполковник. Его машина от самой земли взяла крутой боевой разворот.

— Обглянись, командир, оглянись! — закричали с земли.

Сзади, из снегового облака, выскочил еще один «Хейнкель» и дал длинную очередь. «Як» командира загорелся и с малой высоты врезался в землю. С тремя «Хейнкелями» тут же разделились: двух свалили сразу, еще одного — в погоне.

Так вот что здесь произошло. Немцы знали этот аэродром — он был их собственным. Через свою агентуру — на кладбище выловлен шпион с радиопередатчиком — они пронюхали, что тут садятся наши тяжелые корабли. Их дневной налет — это была разведка. А ночью — пробное бомбометание.

Вывод ясен. Когда обстановка ставляет базироваться на бывшем немецком аэродроме, — гляди в оба. Тщательнее рассредоточивай и маскируй самолеты, усиливая воздушные патрули, обеспечь многослойный зенитный огонь. А если уж

«сунулись немцы, — выследи их базу и разгори ее упреждающим ударом. Нанести этот удар еще не поздно.

...Вместе с Алексеевым быстро подсчитываем боевой состав. Вызываем инженера и торопим его со сменной моторов во второй эскадрильи. Уточняем по карте задачу на конец дня. Планом операции предусмотрено, что истребители нанесут удар немцам одновременно с двух аэродромов.

— Имейте в виду, — предупреждаю капитана, — в пятнадцать часов на поддержку придут два звена «яков». Новенькие, прямо с завода!

Алексеев воспрянул духом. Еще бы! Шесть советских «яков» стоят по крайней мере дюжины «Мессеров».

Выхожу из землянки, окидываю взглядом аэродром. Пропумели моторами и ушли в сторону фронта тяжелые корабли. В кабинах дежурных истребителей настороже сидят летчики. Капитан инспектирует своего помощника. Инженер с группой техников уже готовит места для новых самолетов.

— Здесь все в порядке, Щукин! Пошли дальше!

Сберегая время, взлетаем прямо от землянки по целине. Через несколько минут с правого борта возникает город. Совсем недавно в нем еще хозяйничали фашисты. Они собирались обосноваться надолго и даже стали издавать свою газету. Прославляя в ней стольщинскую реформу, они писали, что колхозный строй заменится «святым хуторским хозяйством». Не вышло!

Город темен. Обгорелые дома, разрушенные кварталы. Но как дорог сердцу рвущийся за ветром красный флажок на самой горе! Мы проходим совсем близко от него. Сняв перчатку, Щукин приветственно машет рукой.

...Очередная посадка. На льду, притулившись к берегу, стоит несколько самолетов. Короткая беседа на ветру с двумя экипажами, летавшими на соседний участок фронта. Уходим на юг.

...Вот и третий наш аэродром. Уже сбавив газ, замечаем врадующийся в стороне «Ю-88». Щукин отворачивает машину влево, прижимается к

земле. Проскальзываем мимо и через несколько минут садимся.

— Они вас не обстреляли? — тревожно спрашивает техник. Оказывается, немцы все время прыгают в этом районе. Минут за десять до нашего прилета здесь побывала пара «Хейнкелей». Сбросили четыре бомбы, построчили из пулеметов. Уцерила никакого.

В маленьком сарайчике, замаскированном под стог сена, — командный пункт пикирующих бомбардировщиков. Печурка, телефон, сколоченный из досок столлик. Начальник штаба капитан Храмченко докладывает: «Вчера бомбили автоколонну на Минском шоссе; сегодня должны вести глубокую разведку». Он озобочен возросшей активностью немцев. Они, несомненно, вскрыли аэродром. Советуемся, как рассредоточить самолеты, улучшить маскировку.

Храмченко слишком осторожен с погодой. Она кажется ему совсем неблагоприятной для разведки.

— А гансам можно летать?

— Мы ведь глубже ходим... — смущенно отвечает капитан. Но выясняется, что он просто бережет моторесурсы. В попытку случилось, что из одиночного разведывательного полета экипаж не возвращался. Наряжать на каждый участок надо пару или звено. Тогда ведомые, неся службу охраны, освобождают ведущего от наблюдения за воздухом.

— Помилуйте, — говорит Храмченко, — целым звеном бродить в такую погоду? Да тут и горючего не напасешься!

Мне хочется ответить капитану жесткой фразой. Открываю карту и настоятельно подтверждаю необходимость разведки в районе Н. Там гнездится прилетевшая с глубинного аэродрома немецкая эскадра. По видимому, она-то и царапает наши площадки. Ночью она должна быть разгромлена. Выслушав приказ, Храмченко стал хлопотать с вылетом.

Как странно, что этот толковый и смелый командир не видит в разведке настоящего боевого дела! Конечно, сбить вражеский самолет или удачно положить серию бомб, — это больше волнует, выглядит куда эффективнее. Работа разведчика иная. Незаметно проскользнуть к врагу,

пренебрегая опасностью, раскрыть его планы. А потом сухим, наполненным цифрами донесением предрешить исход крупной операции, может быть и не подозревая об этом. Большая, почечная работа!

«ПЕ-2», широко расставив двухкилевые хвосты, взвихривая снег, пошла на взлет. Быстро собрались в крепкое звено, легли на западный курс. К вечеру генерал получит нужное донесение!..

— Заправили своим, советским, — довольным голосом сообщает мне Соколов, стаскивая с мотора чехол.

— Прекрасно. А мы будем принимать пищу в другом месте, — говорю Щукину, застегивая комбинезон. Летчик понимающе кивает головой и дает газ.

...Идем дальше. Мысленно охватываю впечатления дня. Намеченная операция должна пройти успешно. И эти два аэродрома, о которых беспокоился генерал, скажут в свой свое веское слово.

Видимость улучшилась. Курс лежит совсем близко к фронту. Соколов, закрывая лицо перчаткой, беспрепятственно ворочается в кабине, он настороже. Но горизонт чист. Нас обгоняют свои, знакомые до мельчайших черточек, боевые самолеты. Операция началась! Вот идет девятка длинноносых своростных бомбардировщиков. Их цель — крупная железнодорожная станция. По ровному снегу скользят тени штурмовиков. Через десять — пятнадцать минут они выскочат на изгиб шоссе, а потом, когда машины сгрудятся табором, налетят на них еще и еще раз. Над нами и там, ближе к фронту, кружат патрули истребителей. Мы салютуем друг другу глубокими кренами.

Вдруг Щукин резко кладет машину в глубокий вираж. Из-под снега торчит крыло самолета. По всем признакам это «МЕ-110». Он свалился набок, нелепо задрав правую плоскость. До нее, кажется, можно достать рукой.

Как он был обит: зениткой или истребителем? Да не все ли равно! Главное — на нем не летать больше фашистскому пилоту. Отмечаем на карте это место и идем вверх по реке, густо засыпанной нетронутым белым снегом.

Откровенно говоря, мы вчера проскочили эту площадку. Ничего не выдавало ее с воздуха. Глаз тщательно раздвигал пятна, по которым узнаются аэродромы. Видны были седые перелески, сугробы, наглухо заметенное снегом шоссе, спаленная деревушка... Опять перелески... Опять сугробы...

Где-то здесь должны сидеть истребители! Щукин «горкой» метров на пятьдесят поднял машину. Осмотрелись. Все те же нехоженые снежные поля, та же безжизненная местность. Прошли вправо, влево, еще немного вперед... Пусто.

Неприятным холодком закралось сомнение: заблудились? Да нет же! Вот квадратная выемка леса. Вот обращенная к северу излучина реки. Здесь, только здесь!

Щукин, зажав ногами управление, внимательно разглядывает карту. Быстро, сбивая в кровь озябшие пальцы, закладываю в ракетницу сигнальный патрон. Легкий хлопок выстрела. Цветная ракета сыплет тусклые искорки и пропадает за хвостом самолета. Внизу, на нетронутой белизне снега, вспыхивают в ответ черные язычки маленького посадочного «Т». Укоризненно качая головой, Щукин кладет машину набок. Круто скользим и садимся около закутанной в белый халат фигуры стартера.

На рулежке скорее угадывало, чем вижу, прочно запрятанные в кустарник белые самолеты, бензозаправщик, маслогрейку. У сугроба — да это совсем не сугроб, а рация! — что-то знакомое лицо. Расстегнутый комбинезон без пояса; меховой шлем с поднятыми крыльями; порывистые движения. Батюшки, да ведь это Брык! Старый коллега по Дальнему Востоку.

— Смотри, где свиделись!

Мы обнимаемся. Брык тут же топчет:

— Давай, прятать машину... Туда, в ельничек...

Он чуть постарел. Появились морщинки вокруг быстрых, пытливых глаз. Отпустил бородку. Маленькую, как у дьячка.

— Брык, тебя вторым орденом наградили. Знаешь?

— Читал...

Вдали глухо промыкнуло несколько разрывов.

— Бомбят Кротово! — всполошился Брык. И, размахивая руками, побежал к кустам. Оттуда слышался резкий всхлипывающий звук прогреваемых моторов.

Брык остановился посреди площадки, снял шлем, взглянул вверх. Под облаками баражировало звено его эскадрильи. Подумав, он энергично взмахнул шлемом. Из кустов выдвинулись три приземистых «лагга». Они гулко взбурлили моторами, пошли в небо.

Брык поднял эту тройку во время Крадучись, подходили с юга к соседнему аэродрому пять «Ме-110». Завязался воздушный бой. Патрулирующие «лагги» налетели на немцев сверху. Снизу, под самые хвосты «Мессершмиттов», ринулись только что взлетевшие истребители. На аэродроме заговорили зенитные пулеметы.

А в кустарнике снова вспыхнул звук запускаемых моторов. Брык как бы дирижировал оркестром боя. Его летчики были готовы сорваться с места, и он сдерживал их, пританцовывая в центре площадки. Глаза его были обращены к небу, и шлем покорно колебался в вытянутой руке. Брык полностью ощущал пульс боя. В любую минуту он мог бросить в небо свой резерв.

Не выдержав огневой встречи, «Мессершмитты» рассыпались. Три немца, взяв разные курсы, юркнули в облака. Два, плотно прижавшись к земле, на полном газу прошли мимо нас. За ними погнался яростный «лагг».

— Догони, догони! — размахивая бидоном, кричал наш Соколов.

Плотные, густые сумерки заставили прекратить преследование. Широко расставив шасси, «лагги» заходили на посадку, приземлялись, быстро заруливали в кусты.

— Летать начали, а полоска была шириной в полсотни шагов, — гордясь точными посадками, сказал Брык.

За несколько суток летчики создали на снежной целине искусно замаскированный, годный для колесных шасси аэродром. Немцы, ежедневно рыская по небу, до сих пор не нашли эту площадку.

В штаб мы ехали уже затемно, на

розвальнях. Грызя соломинку, Щукин рассказывал о своих полетах. Очень памятен ему новгодний. Ночью, при тридцати трех градусах мороза, он ходил в глубокий тыл немцев с посадкой у партизан. Там неожиданно стал мотор. С трудом запустили. На обратном пути — обстрел. Соколов насчитал в машинке сорок три пробитины. У Щукина на обеих ногах были прострелены валенки. Сейчас на нем меховые унты.

— Подошью валенки, опять в валенках буду летать. Удобнее в них, — по-вожжески окая, говорит Щукин.

Над нами, мягко шумя моторами, проскальзывают тени бомбардировщиков. Операция разворачивается нормально — это «ночники» пошли промывать немецкие аэродромы. Мы провожаем их долгим взглядом.

— Корабли... — с большим уважением произносит Соколов.

...Ночью в бревенчатой русской избе при тусклом свете керосиновой лампочки мы с командиром полка подполковником Ярославцевым размечали завтрашний боевой день.

Высокий, черноволосый начальник штаба майор Гнездилов аккуратно наносил на карту разорванные восьмерки — условный знак воздушного патруля, подсчитывал время полета до намеченных целей, составлял график штурмовок. Время от времени мы выходили на крыльцо и прислушивались. В плотной темноте, под низко опустившимися облаками, ворчали моторы. Уловив знакомый тон, мы говорили друг другу: «Свой!» и возвращались работать.

...Я знаю этот полк давно. Еще осенью родилась слава его истребительной. В полку никогда не было недостатка в храбрцах. Летчики поднимались в бой по семь, по десять раз на день. С самой незавидной площадки, в любую погоду.

Сегодня мне бросилась в глаза еще одна черта. Она сквозила в безукоризненной масшировке, в командах Брыка, в работе над завтрашней операцией, — во всем, чем живет и дышит полк. Он окреп и возмужал. Люди стали хитрее и деловитее. Полк вырос тактически, стал продолженной грозой для немцев.

...Утром, когда полк уже приступил к боевым полетам, на горизонте появились два «Мессершмитта». Они

держали курс на запад. Люди на аэродроме быстро разбежались в укрытия, наряд встал к зенитным пулеметам и пушкам.

— Брык, приготовиться! — приказал командир полка.

Немцы шли стороной и не замечали засады. Выждав их подхода к холмам, Брык выпустил из кустов пару «лаггов». Бреющим, как и было намечено, они пошли вслед за «Мессершмиттами».

— Выследят, — подмигнул Ярославцев.

Спустя десяток минут радист принял короткое сообщение. Истребители, выследив «в хвост» место посадки немецких самолетов, доносили координаты их аэродрома. У Брыка уже все было готово. Он сам повел два звена «лаггов» на цель. На линии фронта от их грозных теней немцы парохались в стороны, вжимались в сугробы, в промерзшие, покрытые инеем окопы. Но летчики берегли свои патроны и снаряды для более важного дела.

Брык прекрасно знал местность. Прижимаясь к земле, он вел звенья самым скрытным путем. Проскальзывал по лощинам, плавно перескакивал через пригорки, шел ниже затрошенных снегом крон сосняка. Группа вынырнула к вражескому аэродрому из-за леса. Большую поляну накрест пересекала темная взлетная полоса. На ней, в хвост друг другу, стояли четыре «Юнкерса». Еще три машины осторожно заруливали к опушке леса. Над площадкой маячил похожий на осу «Хеншель».

Звенья перестроились в пеленг и дали первый пушечный залп по опушке леса, где неясными очертаниями проступали силуэты самолетов. Взметнувшись вверх елки и сосны оголили стоянку фашистских машин. Темными точками растекаясь по снегу, побежали механики и пилоты.

Теперь каждый «лагг» стал действовать самостоятельно. Еще яростнее загудели моторы. Изгибаясь в крутых боевых разворотах, истребители обрушились на аэродром снопы зажигательных и бронебойных пуль. Еще раз снаряды. Еще пулеметные очереди. Кто-то взмыл вверх и в упор пронзил снарядом «Хеншеля», и тот, окутанный голубым пламе-

нем, рухнул в лес. Справа, с холма, вспыхивал красноватыми точками зенитный пулемет. Брык на ходу спикировал на него, и огоньки выстрелов погасли. Опушка леса горела. Четыре костра дымилась на летном поле. Два уцелевших «Юнкерса» попали при поспешной рулежке на сугробы, задрвав вверх хвосты с черной свастикой.

Брык покачал крыльями самолета. «Лягги» быстро пристроились в пеленг, выпустили на последнем заходе оставшиеся патроны и ушли за лес. Сзади густой шалкой висел черный дым, и сквозь него пробивались острые языки пламени. Эскадрилья пробыла над целью ровно три минуты, и, когда самолеты зарулили в кусты на своей площадке, бензиновые баки нужно было дополнить только на половину положенной нормы.

...К вечеру, облетев еще несколько площадок, мы вернулись в свой штаб. Перед докладом генералу я мимоходом зашел в аппаратную. Телеграфист наклеивал на бланки узенькие полоски бумаги. Доносил Гнездилов: истребители, вылетев из засады, встретили в воздухе группу немецких бомбардировщиков, завязали воздушный бой и сбили еще три вражеских самолета.

Февраль. Пятница

Вчера вечером я сел на эту площадку и сразу же приказал пилоту лететь на соседний аэродром. Мне бросился в глаза черный, с большими желтыми крестами на фюзеляже, наполовину зарывшийся в снег, немецкий транспортный самолет. В стороне валялись обледенелые куски крыльев, элеронов, целлулоидных колпаков. На рулях поворота сквозь прозрачную корку льда проступала свастика.

В уютных снеговых бастиончиках возле кустарника стояли наши легкие бомбардировщики. Сзади курилась голубоватым дымком большая землянка. Кругом открытое со всех сторон поле. Вдалеке темнели постройки железнодорожной станции. Еще дальше торчали фермы вздыбленного взрывами моста.

...В сумерках самолеты взлетели. Они пересекут линию фронта и, часто меня курс, разойдутся по своим

целям. Вернувшись ночью, они сядут на другую, неизвестную фашистам, площадку. Здесь, на ложном ночном аэродроме, осталось лишь несколько бойцов во главе с бойким, задорным лейтенантом да металлическая громада «Ю-52».

Ночь медленно наползает на площадку. В центре поля тусклым мерцающим светом теплятся несколько огоньков,— бойцы выкладывают из фонарей подобие посадочного знака. Правее, за границей рабочей площадки, время от времени вспыхивает светлый луч небольшого прожектора. Слева еще несколько фонарей.

— Декорация готова,— критически оглядывая аэродром, говорит лейтенант. Подумав, он отдает распоряжение — прибавить пару фонарей на северном углу площадки. С воздуха они будут казаться оградительными огнями.

Насулившееся тучами небо не пропускает ни луны, ни звезд. Тихо. Только километрах в трех от нас, пробивая трудный заснеженный путь, пыхтят грузовики с боеприпасами, продовольствием, табаком.

Спускаемся в землянку. В камельке вкучно потрескивают березовые поленья. Дышит паром большой медный чайник. На столике из смолистых горбылей — телефон, карта, книжка для записки распоряджений. Лейтенант отмечает время начала вахты, и мы начинаем ждать. Как рыбаки: не клонит ли хорошая, жирная щука на нашу удочку? Ключет! Вопрос лишь во времени.

Наверху остался наблюдатель. Связь с ним — голосом, по деревянной трубе.

— Семенчук! — зовет лейтенант.

— Семенчук здесь,— приглушенно отвечает боец.

— Тихо?

— Тихо, товарищ лейтенант. На юге прошел наш самолет.

Лейтенант прикуривает цыгарку от вылапшего из пещурки уголька. Его круглое, простенькое лицо слегка розовеет. Ему двадцать один год. Войну начал совсем необстрелянным командиром. А родом он с Мелитопольщины, из знаменитого фруктами села со странным названием Терпенье.

Мне довелось бывать в этом селе во время войны. Стоял сентябрь.

Немцы форсировали Днепр. Мы дрались с ними под Запорожьем. Их танки подходили к заповеднику Аскания-Нова. Мы ночевали в хате у одного колхозника. В пышном саду гнулись деревья от огромных лиловых слив. За ужином хозяйка потчевала нас черешневым компотом. До первых петухов шел душевный разговор о войне, о том, что наша в конце концов возьмет.

Теперь конец зимы. Фашистские орды захлестнули Мелитопольщину, порубили фруктовые деревья в Терпеньи, ворвались в Донбасс. Сейчас они постепенно откатываются отсюда. Мы гоним их и отсюда, от подступов к Москве.

Тихо беседуем с лейтенантом, раскуривая самокрутки. Его фамилия — Гарькавенко. Степан Гарькавенко. Когда въезжаешь в село из города, то на второй улице, сразу после поворота на ферму, можно видеть дом его отца. Обыкновенный украинский дом. Наличники окон выкрашены в голубой цвет. Дорога песчаная, и машины на улице постоянно буксуют. А напротив колодец...

— Как же помню,— говорю я, чтобы доставить лейтенанту приятное, и тут же рассказываю эпизод. Получается, что чуть ли не его сестра одолжила нам ведро, чтобы долить воды в радиатор. Оценив шутку, Гарькавенко залихватисто хохочет.

По другую сторону камелька расположились бойцы. Они поочередно выходят наружу, подменяя друг друга на наблюдательном посту. Ночь стоит морозная — лучше сменяться почаще. Среди них идет разговор о немцах. Приземистый сержант, на днях побывавший в соседнем селе, рассказывает.

— ...Звали ее Надеждой Федоровной. Фельдшерка. Ну, пришли они, стали располагаться в избах. Очистили все село. Поубивали, поранили кое-кого. Собрали она, значит, свое медицинское и пошла по овинам. Делает перевязки. Тут ее солдаты и поймали. Привели к офицеру...

— Слышу шум мотора! — прервал сержанта голос наблюдателя. Гарькавенко, нахлобучив шалку, выскочил наружу. Телефонист на всякий случай прикрутил лампу, хотя един-

ственное в землянке оконце было плотно занавешено мешком. Все замолчали, настороженно вслушиваясь в тишину.

— Свой ... «ТБ-3»... — шумно хлопнув дверь, успокоил Гарькавенко.

— ...Да, офицер посмотрел на нее, — продолжал сержант, — да как гаркнет: «Сдать медицинское!» А она, героиня-баба, ни в какую... «Не имеете, — говорит, — права... По всем, — говорит, — международным законам врачи и медицинское имущество неприкосновенны». Ну, тут пошел обыкновенный фашистский разговор. Надежду Федоровну эту, хоть она женщина, избили до бессознания и на снег выкинули. А утром dokonчили из автоматов...

Все молчали. Поджинув пару свежих поленьев в топку, курносый боец в сдвинутой набок ушанке спросил:

— Запутать они нас хотят этим, что ли?

Ему никто не ответил. А когда жарко вспыхнувшая березовая жора обуглилась, и огонь стал спокойно лизать древесину, чей-то голос произнес:

— Вот теперь они сызнова авиацией думают пугать. Поставили самолеты на салазки и лѣтают...

— Семенчук, не на салазки, а на лыжи, — укоризненно поправил Гарькавенко.

...Обыло полуночи наблюдатель бросил тревожное слово:

— Идут!

— Проектору подсветить, — на ходу приказал лейтенант.

Мы вместе выбежали навверх. В плотной темноте мелко светились фонари. С запада нарастал противный воющий звук немецкого мотора.

«Юнкерс», — решили мы. Справа пронзил небо острый луч прожектора. Рассеявшись по облакам, он упал на землю, несколько раз лизнул корпус застывшего «Ю-52». Мотор внезапно затих. Потом нытье его послышалось с другой стороны, но уже тихое, удаляющееся.

— Ключуло, — засмеялся Гарькавенко. — Теперь придут в гости.

Немецкий разведчик ушел. Тогда в нескольких километрах от нас мелькнули огоньки, показался молочный свет большого прожектора. На настоящем аэродроме сажались вер-

нувшиеся с боевого задания наши корабли.

Мы снова спускаемся в землянку. Лейтенант записывает посещение фашиста в журнал. Выкурили еще по одной цыгарке, плотно застегнулись, натянули на руки перчатки, вышли навверх. Как раз во-время! С прежнего направления, видимо, держась дороги,шло несколько самолетов. Характерный звук моторов нарастал все сильнее.

— Подсветить, — крикнул Гарькавенко, и в облака снова врезался луч прожектора.

— Погасить, — скомандовал лейтенант.

...Моторы немцев тудели над нашими головами.

— Сейчас пойдут, — прошептал Гарькавенко, отскакивая меня за рукав к щели.

Сверху засвистело. Это шли бомбы. Глухо ударив о землю и на мигновение вспыхнув красным пламенем, они легли одна за другой возле северного куста фонарей.

Опять засвистело. Теперь звук, казалось, шел прямо на нас. Мы плотнее прижались к снежным стенкам щели, глубоко вобрали головы в плечи. Серия легких осколочных бомб рвалась с острым визгом. Ближние фонари погасли.

Приглушив моторы, немцы ушли на запад. В чистом, морозном воздухе крепко пахло порохом, гарью и еще чувствовался тот особый запах, которым отдает металл, остывающий после большого накала.

— Сержант Манухин, — позвал лейтенант, — замените три фонаря возле кустов. Да быстрее обратно. Они снова придут.

Грея над камельком озябшие руки, Гарькавенко продиктовал донесение: «Два «Юнкерса» бомбили площадку. Оброшено шесть фугасных и десят осколочных. Жертв нет. Ожидаю второй эшелон».

...Через час налет повторился. Теперь в сериях были и зажигательные бомбы. Шипя и плавя снег, они озаряли площадку. Желтоватые блики пламени отражались на темном фюзеляже «Ю-52».

В третьем налете немцы юнаглили. Снизившись до полусотни метров, один самолет дважды прошелся над аэродромом, старательно строча из

пулеметов. Он метил по фонарям. Это был «МЕ-110» — многоцелевой фашистский самолет.

В перерывах между налетами немцев вдали вспыхивали огоньки, светил прожектор. Там спокойно взлетали и садились наши бомбардировщики, заканчивая начатую несколько дней назад большую воздушную операцию. Ложный ночной аэродром лейтенанта Гарькавенко, приняв на себя все плевки фашистов, обеспечивал наши боевые полеты.

...Утром мы пошли посмотреть на воронки. Ими был перерыв весь северный угол аэродрома. Несколько бомб упало подле «Ю-52». Четыре осколка пробили большие дыры в его покосившихся крыльях.

— Гады, семь фонарей испортили, — ворчал Семенчук, подбирая на снегу остатки разбитых «летучих мышей».

Февраль. Воскресенье

Далеко от линии фронта на западном листе карты выделялся жирный кружок. Касаясь причудливого изгиба реки, он охватил несколько деревьев, кусок коричневого шоссе и часть лесного массива.

— Здесь, — показал генерал и острый карандашом поставил в кружке красную точку.

Через час я подъехал к аэродрому. За дальний край взлетной площадки величаво закатывалось багровое, задернутое зимней дымкой солнце. На прозрачном, неопутимом небе зажглась первая звезда. Дым маслогреек тянулся к ней ровными, словно выточенными, столбиками. Стоял сухой морозный штиль.

Около массивных четырехмоторных кораблей сновали люди. Возле каждой машины — горки длинных грузовых мешков защитного цвета, ящики, столки газет и листовок. В воздухе ровный, уверенный гул прогретых моторов.

Сумерки быстро окружали аэродром. Уже стали видны рвущиеся из глушителей язычки голубоватого пламени. Стартовый наряд пробовал прожектор. С центра поля взвилась сигнальная ракета и, опавшая зеленым дождем, потухла в снегу. Люди готовились к длинной боевой ночи.

Экипажи, полностью готовые к вылету, собрались в тесной комнатке командного пункта. Ставлю задачу:

— Идем с боевыми грузами к конной группе генерала Белова. Гвардейцы рейдируют во вражеском тылу. Им нужны снаряды, патроны, гранаты и медикаменты. Сбрасывать грузы будем здесь...

Летчики склоняются над планшетами. Маршрут черной ломаной линией ложится на карты. Штурманы наизусть заучивают места световых маяков, сигналы.

По хрусткому снегу расходимся к кораблям. Я иду на ведущей машине отряда. Летчик, старший лейтенант Бобин, неторопливо, по-хозяйски устраивается на своем высоком сиденье. Мы с капитаном Петиним хлопочем в штурманской рубке.

— Экипаж на местах, — докладывает борттехник.

— К запуску!

Шипит сжатый воздух. Медленно, словно нехотя, проворачиваются винты. Потом с характерным чавканьем один за другим вступают в работу моторы Темно. Свет из патрубков дрожащими отблесками проникает в рубку. На ощупь раскладываю на полу планшеты, карты, ракеты. Петин, осторожно ступая, чтобы не нарушить порядка, перелезает через меня к турели. Ровный гул мотора прорезает пулеметные очереди — контрольная проба оружия.

— Готовы? — кричит Бобин.

— Готовы!

Тяжело нагруженная машина долго бежит по снегу в ночь. Отрываемся от земли и виснем в воздухе. Петин щелкает кнопкой секундомера. Полет начался.

Летим к генералу Белову! Я помню его команды на берегах Прута. Я помню его во весь рост стоящим на танке в дни тяжелого марша по бессарабскому бездорожью. Конники генерала шли бить наступавших румын и немцев. Я помню его на Буге, на Днепре, у Вознесенска и под Николаем. Помню, как в украинской хате на подступах к Штеповке генерал, собрав своих полковников, намечал мастерской план разгрома немецкой танковой группы. На другой день немцы, не выдержав стремительного кавалерийского удара, бежали на запад.

Конники-гвардейцы! Их слава загрела с первыми выстрелами личного коннобатарейца Ярандина; она родилась в атаках эскадронов Бычковского; ее воспевали метким огнем минометчики Химича; как грозный толк, ее понесли в руках саперы Бережного.

А позже генерал, сидя в косматой бурке на добром коне, повел своих гвардейцев под Сталиногорск и Тулу. На трех фронтах, от Бессарабии до подступов к Москве, испытывали немцы силу советского гвардейского клинка.

Мы летим к генералу Белову! Он там, впереди, за линией фронта. Его гвардейцы ждут от нас патронов и снарядов. Им нужны гранаты и мины. Может быть, сейчас, вот в эту минуту, сам генерал вышел на опушку леса и нетерпеливо вглядывается в звездное небо — не летят ли?

Монотонно гудят моторы. Серебристо светится крошечная лампочка на компасе. Бобин удивительно плавно ведет корабль — стрелка курса не шелохнется. Внизу темным, трудночитаемым планом лежит земля. Скоро фронт. Уже видны далекие всполохи артиллерийской стрельбы.

«Оденемся?» — жестом предлагает Петин. Мы набрасываем на плечи парашютные лямки, помогаем друг другу застегнуть карабины. Ложимся на пол рубки. Так удобнее ориентироваться. Петин заботливо прикрывает перчаткой компасную лампочку. В кабине совсем темно.

Фронт. Мы видим его по плывущим над снегом ракетам. Они выхватывают из темноты большие овалы полей, озаряя их дрожащим, неверным светом. С левого борта острыми языками вспыхивают батарейные очереди. Над черным квадратом леса протягивается пунктир трассирующих пуль.

Петин толкает меня ногой. Справа на одной высоте с нами повисли багровые расплывающиеся шары.

— Зенитка!

Бобин слегка отворачивает машину. Потом снова берет прежний курс. Теперь мы идем над немцами. Пробираюсь на открытый мостик пилотской кабины. Лицо обжигает тридцатиградусный ветер. За могучим

хвостом корабля в черном воздухе чуть поблескивают выхлопы моторов второй и третьей машин отряда. Они идут за нами, как привязанные. Бобин близко придвигает ко мне закрытое маской лицо:

— Скоро?..

Я показываю на светящийся циферблат часов, сняв перчатку, веду пальцем до нужной зарубки. Бобин, утвердительно качнув головой, застывает в напряженной позе. Вытянутые вперед руки легли на штурвал, голова чуть откинута на спинку сиденья, глаза косят на приборную доску.

Идем над немцами. В просветах облаков тускло мерцают далекие звезды. Под крылом стынет таинственная, молчаливая земля.

— Притаились!.. — кричит мне на ухо Петин, широким жестом показывая вниз.

Вчера наши разведчики перехватили немецкий приказ. Какой-то полковник фон Бугель или Кугель, обеспокоенный рейсами наших транспортных самолетов, приказывал: «Войскам стрельбы не открывать. Привлекать внимание советских экипажей световыми сигналами. Солдаты должны стремиться перехватить и использовать для себя сбрасываемые грузы». Хитрый полковник!

Слева, в стороне от горящей деревни, появились какие-то огоньки. Прильнув к целлулоидному фонарю рубки, пристально всматриваемся в них. Они расположены в виде квадрата.

— Подманивают, — озабоченно бубнит Петин.

Под кораблем едва видна тонкая, тонкая линия железной дороги. Бобин осторожно, чтобы не потерялись ведомые, разворачивает самолет. Последний излом маршрута. В конце его — наша цель.

Внизу все больше и больше огня. Тускло светятся костры, мелко вспыхивают какие-то сигналы, грудой, насыпанных на снег углей горят деревни. Чортовски трудно найти тут наших гвардейцев. Целлулоид мутен. Мы буквально тычемся в него носами, до боли в глазах всматриваясь в огни. Еще раз сверяемся с картой.

Вот и он, наш сигнал! На серой, круглой поляне тепло мерцают ма-

ленькие костры, разложенные определенной фигурой. Торопливо советуемся с Петиним — здесь ли? Снова высказываю на мостик. Бобин входит в круг. Мощное крыло, теряясь консолью в темноте, словно разрезает пополам выложенный на земле знак. Еще раз за карту. Еще раз оглядываем раскинутые до темного горизонта огни.

— Здесь!

Газ убрал. Спирали вниз. Все жарче и жарче горят костры. Серебристая стрелка высотомера движется к нулю.

— Приготовиться! — резким голо-
сом кричит Петин борттехнику.

В красноватых отблесках костров видны темные фигурки людей. И как назло, сомнение — а вдруг не наши? Быстрый, решающий все взгляд во-
круг.

— Пошел! — взмахиваю рукой.

— Пошел! — командует Петин. Борт-
техники освобождают крепление, и первая партия грузовых мешков от-
рывается от корабля.

Бобин дает газ. Ровно забрав, мо-
торы несут машину по прямой, мет-
рах в ста от земли. Спустия несколь-
ко минут, неслышно возникая в тем-
ноте, с опушки большого леса на-
встречу нам протягиваются пункти-
ры пулеметных очередей.

— Заговорили, гады! — взволнован-
но кричит Петин.

Машину нельзя разворачивать
круто — сзади нас идет целый от-
ряд. Бобин все же дает крен, чтобы
миновать опасное место. По нас
бьют теперь из четырех точек. Свет-
лые линии трассирующих нуль, пе-
рекрещиваясь, проходят совсем близ-
ко от крыла и, словно обессилев,
гаснут где-то в небе.

Второй заход. Снова огонь из ле-
са. Бобин, насколько можно, припод-
нял нос корабля — уходим с набо-
ром высоты.

— Все в порядке, — докладывает
борттехник. Его лица в темноте ли-
видно. Но по распахнутому комби-
незону и прерывистому тяжелому
дыханию чувствуется, что экипаж
здорово повозился с грузами.

Молчаливая прежде земля со всех
сторон шлет нам «подарки».

Озлобленные немцы горстями бро-
сают нам вслед голубые пули, раке-
ты, оранжевые шары зенитных
снарядов. До самого фронта сопро-

вождает корабли этот опасный
фейерверк.

...Поздней ночью весь отряд ужи-
нает в летной столовой. Как вкусно
хрустящая па зубах, хорошо поджа-
ренная картошка! Горячий чай об-
жигает горло. Проя у стаканов за-
бытые руки, делимся впечатлениями.
Круглолицый Бобин любит плот-
но поесть. Неторопливыми, как и на
корабле, движениями он расправ-
ляется со второй порцией котлет. Ко
мне подходит знакомый командир.

— Ну как, подполковник, — интере-
суется он, — наши?

— Наши!..

— Смотри, не было бы ошибки.

Подсев к нашему столику, он рас-
сказывает, как на-днях немцы задумали доставить гарнизону, осажде-
нному на соседнем участке, теплое
обмундирование. Транспортные «Юн-
керсы» сбросили на парашютах око-
ло двух тысяч пар эрзац-валенки.

— Войлочный верх на деревянной
подшве, — смеясь описывает коман-
дир.

К великому горю немцев, вся пар-
тия опустилась на нашу территорию.

— Валенки оставили для музея, а
парашюты бойцы разобрали на тор-
тынки.

Все засмеялись.

...Утром от гвардейской радиции бы-
ла принята кодграмма. Невольно
волнуясь, мы расшифровали трех-
значные цифровые группы. Из них
составилась короткая фраза:

«Боеприпасы получены. Благода-
рим. Генерал Белов».

Февраль. Четверг

Наши бомбардировщики должны
были ударить по вражеским комму-
никациям.

Полк истребителей, которому пред-
стояло сопровождать первую группу
бомбардировщиков, расположился
возле начисто выжженного немцами
села. В нем остались только два до-
ма да невероятная прямыми попа-
даниями снарядов большая камен-
ная церковь. В ней беспрестанно
дует на руки, мы обетали — другого
места для столовой здесь не было.

Уточнив с командиром полка за-
дачу, поздним вечером я спустился
в землянку к летчикам. В большом
котловане, обшитом изнутри доска-
ми и покрытом сверху толстым сло-
ем накатника, было сравнительно

тепло. В углу, подобно лампадке, мерцал небольшой фонарь. Большинство людей уже спало на двухэтажных нарах. В самом углу, закинув руки за голову, лежал командир второй эскадрильи Константин Суханов.

Мы знали друг друга с давних, довоенных лет. В ту пору комэск был младшим лётчиком, прекрасно летал на разведчике и всё время просил о переводе в истребительную авиацию. Его желание осуществилось, и я вскоре потерял его из виду. Встретились уже здесь, на этом аэродроме. Суханов показал мне, куда поставить машину, и я сразу подметил, что он чем-то подавлен. Я помнил его весёлым парнем, полным того внутреннего, сдержанного до поры до времени огня, которым обычно отличаются лётчики-истребители от тех, кто летает на тяжелых бомбардировщиках или дальних разведчиках. Последние выглядят спокойнее, уравновешеннее, даже, может быть, серьезнее.

Суханов молод, но уже командует эскадрилей, награжден орденом и медалью. Расстроенный вид его удивил меня. Командир полка, когда я спросил о Суханове, буркнул что-то неопределенное. Чувствовалось, что в жизни Суханова случилось нечто неладное, заставляющее и его самого и окружающих как-то по-новому оценивать все происходящее.

В этот вечер мы долго говорили с Сухановым, лежа на раскинутых по соломе комбинезонах и прикрывшись кожанками. То, что он мне поведал, как давнему своему товарищу, относилось и к автоташней задаче и ко всему, что еще многим придется испытать на войне.

* * *

...Девятка бомбардировщиков подошла к аэродрому и легли на левый круг. Когда машины еще только появились на горизонте, Суханов приказал запускать моторы. Ему нужно было сопроводить к цели бомбардировщиков. Ведущим у них шел его старый приятель во округу — капитан Алымов. Утром у них был телефонный разговор. Уточнив задание и всё время обращаясь к Суханову с подчеркнутой официальностью, Алымов в конце сказал:

— Смотри, Костя, надеюсь на тебя.

— Все будет, как часики, — весело заверил Суханов. Они пожелали друг другу полной удачи.

Все шло, как было намечено. Алымов не успел пройти и полукруга, как сухановские истребители нависли над его группой. Чуть выбравшись вперед, Суханов порванялся о самолетом Алымова, сделал несколько приветственных кренов и занял свое место — выше, сзади и чуть в стороне от девятки.

Бомбардировщики шли плотным, уверенным строем. Суханову были хорошо видны просвечивающие сквозь целлулоид кабин головы лётчиков и фигуры стрелков-радиостов. Штурманов в носовых рубках скрывали плоскости самолетов. Визу лежала по-зимнему скучная земля, вверху — серое, почти вплотную нависшее небо. Когда пересекли линию фронта, Алымов стал часто менять курс. Приходилось внимательно следить за ориентировкой. Фашисты любят прикрываться такой облачностью перед нападением на наши машины.

Время от времени Суханов оглядывался назад. Его истребители, словно привязанные, строго соблюдали интервалы и дистанции. Они шли, как на параде. И от всего этого Суханову стало даже как-то не по себе. Он елозил в кабине, нетерпеливо поглядывая на бортовые часы, на землю, на облака. Хотелось не просто лететь, а действовать. Но маршрут подходил к концу, а воздух был чист и спокоен, как и в момент вылета.

«Вернемся домой пустые, — думалось Суханову. — День пройдет без толку. Ни одного немца не собьем...»

В глубине души он тайл недовольство этой работой, часто выпавшей на долю его эскадрильи.

— Все люди как люди, — нередко говаривал он приятелям, — летают на штурмовку, воздушные бои ведут. А мы все одно и то же — либо в патруль, либо на сопровождение...

Приятели сочувственно подлакивали Суханову, и он, сокрушаясь, перечеислял знакомых комэсков:

— У Гришина — двадцать семь... Сереженко тянет к двадцати пяти... Этот увален Митин и то нащелкал восемнадцать... А мы рыжие, что ли?

Прятели лукаво улыбались, потому что Суханов действительно был несколько рыжеват. Все они знали, что вовсе не по его вине эскадрилья имеет на боевом счету всего только двенадцать сбитых «Мессершмиттов». Просто как-то случилось, что во время дежурства его эскадрильи фашисты редко перелетали линию фронта. А в остальные дни приходилось или баражировать над железной дорогой, или сопровождать бомбардировщиков. Все его летчики жили одной мыслью — скорее бы записать на боевой счет пятнадцатую фашистскую машину. Эта цифра мелькала не только в разговорах, но и в официальном органе эскадрильи — в стенной газете. Там прямо так и говорилось: «К концу месяца довести счет до пятнадцати». А было уже двадцать восьмое число. Может быть, это и вызвало нетерпеливость Суханова.

Когда цель сегодняшнего налета была уже близка, и Алымов сделал предпоследний доворот по курсу, звено комэска обогнал чей-то самолет. По хвостовому знаку Суханов узнал машину лейтенанта Супруненко. Чуть повернув машину вправо, Супруненко резко качнул крыльями и потом занял свое место в строю.

Суханов встрепенулся. Впереди справа виделось несколько далеких точек. Они тускло темнели на сером фоне облаков. Надо было пристально взглядеться, чтобы распознать в них самолеты, идущие параллельно встречным курсом.

— Три, пять, восемь, одиннадцать, — машинально сосчитал Суханов. — «Хейнкель» или «Юнкерс»? — Он прикинул на глаз расстояние до этих точек справа. Оно было, пожалуй, не больше пяти-шести километров. Посмотрел налево. Там плотным, хорошо сохраняемым строем шли свои бомбардировщики.

Опять чуть ли не перед носом его самолета проскочил истребитель, переверстил крылья в глубоких кренах, указывая на цель, и пропал внизу. Суханов оглянулся назад. Эскадрилья явно выражала нетерпение. Она попрежнему держалась в строю, но ряд неудовимых, понятных только ему, командиру, признаков показывал, что летчики все до одного смотрят на фашистские

самолеты, и только вера в него, комэска, заставляет их лететь на старых местах.

Знакомый холодок предбоевого волнения охватил Суханова. В считанные секунды надо было принять решение. Сопровождать дальше девятку Алымова или, оставив ее, ринуться на вражескую эскадрилью? Фашисты шли бомбить. Может быть, их целью служила та крупная станция, где так много стояло эшелонов с боеприпасами и имуществом? Правда, там есть наши патрульные самолеты. Но все-таки... А как дойдет Алымов? Ничего, дойдет! До цели ему оставалось совсем мало. Упустить такой случай нельзя...

«Атаковать!.. атаковать!.. атаковать!» — неудержимо засверлило в мозгу. Казалось, это же слово выпевает и мощный мотор истребителя. Почти не думая, Суханов резко отвалил в сторону и, дав полный газ, пошел наперерез фашистским самолетам.

Шестерка «мигов» открыла огонь сразу по головному и замыкающему звеньям «Юнкерсов». Суханов избрал себе целью флагмана. Уже на второй минуте боя, яростно отстреливаясь, ведущий «Юнкерс» круто пошел вниз. Оглянувшись, Суханов понял, что ребята справятся здесь, и без него. Потеряв из виду вожака, фашисты бестолково разбрелись по небу. Кто-то из них уже начал сбрасывать бомбы, чтобы облегчить машину. Вон там двое наших из второго звена вплотную надели на немца. Вот Супруненко, оставив за собой пылающий факел вражеского самолета, гонится за другим. Вот еще двое подходят под хвост «Юнкерсу»...

— Справятся!

И Суханов, круто пикируя, погнался за флагманом. Тот, спасаясь от преследования, прижался к земле. Сверху была видна согнувшаяся в кабине фигура летчика. Стрелок-радист беспрестанно выпускал, почти не целясь, длинные пулеметные очереди.

Суханов изготавился, и в тот же момент его машину слегка толкнуло. На правой плоскости, как раз в том месте, где краснела пятиконечная звезда, появилась серия мелких пробоев.

— Ах ты, гаи!

Сжав зубы, Суханов прицелился еще раз и дал несколько коротких очередей. Он проскочил над «Юнкерсом» и посмотрел вниз, изогнувшись в боевом развороте. Бразеская машина, беспомощно вздернув хвост, зарылась носом в снег. Вокруг нее возникли вспышки голубоватого огня, и вдруг сразу полыхнуло багровым пламенем, густо смешанным с плотным черным дымом.

«Четырнадцать», — подумал Суханов, вспомнив о машине, сбитой Супруненко. Он выбрал ручку на себя и пошел вверх. Там уже все было кончено. Его пятерка, собравшись вместе, ходила широким кругом. Летчики поджидали своего командира. На снежной белизне виднелось пять дымок. Там валялись обломки врезавшихся в землю фашистских самолетов.

Ни с одного боевого вылета не возвращался Суханов таким возбужденным. Пролетая линию фронта, он нарочно снизился. Было видно, как его эскадрильи приветственно махали руками бойцы — пехотинцы, расчет артиллерийской батареи, танкисты... От этого стало еще радостнее. Хотелось крикнуть, чтобы они услышали:

— Истребили шестерых!

Перестроив свою группу в пеленг, Суханов сел первым. Аэродром удивил его необычайной пустотой.

— Где машины? — почувствовав недоброе, нервно спросил Суханов подбежавшего адъютанта.

— Ушли в патруль на станцию и выручать Алымова, товарищ старший лейтенант, — прикрываясь рукой от ветра, сказал адъютант.

Суханов быстро прошел в землянку командира полка. Тот молча протянул радиogramму:

«...возвращении цели атакован восемнадцатью истребителями отбиваюсь один встречайте Алымов».

Спустя десять минут на горизонте появились самолеты. Они шли бесформенной стайей. Сверху и снизу — маленькие; в середине — несколько двухмоторных. Прямо с хода, взвихривая снег, они садились неподалеку от землянки.

— ...три... четыре... — считал Суханов. Больше бомбардировщиков не было. Уже пошла на посадку «мити».

От первого бомбардировщика отъехала санитарная машина. Суханов, неловко цепляясь унтами за снег, побежал к ней навстречу. Поравнявшись с ним, машина остановилась. В распахнутой двери виднелась высокая фигура Алымова. Он сидел, устало прислонив голову к заиндевевшему оконцу. По щеке текла кровь. Напротив, тридерживаемый врачом, лежал человек в комбинезоне. Его правая нога в золотистом лосевом унте безжизненно сползала с сиденья на пол.

Увидев Суханова, капитан отвернулся. Потом с горечью, тяжело вбирая в себя воздух, сказал:

— Штурмана-то моего убили, Костя... И другие там остались... Он немного помолчал и потом укоризненно добавил, поморщившись от боли:

— Эх ты, истребитель!..

* * *

...Едва рассвело, летчики ушли в машинах. Проследив за первым вылетом, я направился на соседнюю площадку и в полдень вернулся обратно. Через несколько минут на горизонте возникли очертания самолетов. Они прошли над нашими головами, строго соблюдая строй. По увеличившейся привычке мы сосчитали количество самолетов.

— Все целы, — удовлетворенно сказал командир полка.

Это был идущий от цели очередной эшелон бомбардировщиков. Проводив его еще немного на восток, «мити» круто пошли вниз и, перестроившись в пеленг, стали заходить на посадку. По хвостовым номерам я узнал эскадрилю Суханова. Над станцией, которую бомбили в этот день наши бомбардировщики, эскадрилья сбита трех «Мессершмиттов». Боевой счет ее вырос до двадцати трех уничтоженных самолетов. Допущенную однажды ошибку Суханов исправлял в боях.

Февраль. Суббота

Всякий раз, когда приходится лететь в полк ночных бомбардировщиков майора Агеева, я знаю, что встречу на его аэродроме что-нибудь новое. Неделей раньше это была своеобразная маскировка самолетов. Потом вокруг машин появились оригинально задуманные высокие снежные ниши. Техники, усерд-

но полив их водой, почти полностью обеспечили самолеты от поражения случайными осколками или пулями. В каждой мелочи здесь чувствуется хозяйский глаз командира.

Когда Агеев заметил, что немцы стали активнее в воздухе, он тут же выслал на соседнее поле специальную команду, которая оборудовала там еще один ложный аэродром. Он пересмотрел систему входных ворот, назначил новый контрольно-пропускной пункт, провел поверочную тревогу и после нее усилил противовоздушную оборону аэродрома.

...Как обычно, площадка днем безжизненна. Летчики и техники спят. Возле замаскированных самолетов маячат заиндевевшие фигуры часовых. В первой эскадрилье копошатся два механика. Я задерживаюсь в палатке командного пункта. Оперативное дежурство сегодня несет лейтенант Акмаев. Обветренное, смуглое лицо, порывистые движения. Он — татарянин, крымчак. В прошлый мой прилет я любовался его точной ночной посадкой. Это был у него семьдесят шестой боевой вылет.

— Акмаев! Что за машину ремонтируют в первой?

Лейтенант оживляется. Отложив в сторону сигнальные флажки, он говорит быстро, с заметным акцентом:

— Вчера ночью была сильная дымка. В разведку пошли Дорошенко и штурман Бокаленко. Они долетели до этого шоссе. Посмотрите сюда, товарищ подполковник.

Акмаев водит пальцем по карте, находит нужное место и торопливо продолжает:

— Там были две колонны автомашин. Бокаленко говорит: «Заходи с хвоста на большую». Дорошенко развернул машину, и они сбросили бомбы. А тут ударили зенитки. Бокаленко подал команду: «Влево» — и вдруг почувствовал жар в голове. Ранено его пулей. Очнулся и видит: машина накренилась, идет вниз. А Дорошенко голову склонил на борт кабины. Тогда Бокаленко включил ручку и попробовал вести самолет. Слушается! Набрал тысячу метров, обошел немцев стороной и посадил машину здесь, на аэродроме. Геройский штурман, товарищ подполковник!

— А что с летчиком?

— Они оба в госпитале. Доктор говорит, долго лечиться не будут.

Потом Акмаев показывает мне очередную новинку. В палатке под аэродромом сколочены нарами вырыта щель. В промерзшем грунте сделать это трудно. А здесь воздух теплый — от печурки, сделанной из старой бензиновой бочки, так и пышет жаром. Земля отогрелась и позволила оборудовать на всякий случай простейшее убежище.

— Никакой осколок сюда не попадет, — говорит лейтенант, для убедительности прыгивая вниз. Щель глубокая, добротная, по-хозяйски выложена изнутри ельником. Агеев — заботливый командир!

...Как всегда, радостная встреча с майором. Отложив приятельские разговоры на более позднее время, мы сразу развернули карты. Полку предстояло нынешней ночью разрушить несколько объектов в крупном опорном пункте немецкой обороны.

Наморщив высокий лоб и хитро прищурив глаза, Агеев изучал обстановку. Временами он что-то бурчал про себя, глухо, неразборчиво. Он прикидывал линейкой расстояния; загибая большие, энергичные пальцы, считал количество самолетов; словно страдая близорукостью, вплотную подносил к глазам карту и разглядывал горизонтали; быстро набрасывая цифры, рассчитывал бомбовую нагрузку. Наконец все соображения были закончены.

Имейте в виду, — предупредил я, — генерал приказал сообщить: утром на этом участке пехота идет в атаку.

— Сделаем, — коротко ответил Агеев. Его большая рука плотно накрыла карту, как раз в том месте, где красным кружком была обведена цель сегодняшней ночи.

Когда сумерки напоззли на аэродром, и летчики собрались, чтобы получить предполетные указания, приехал старший лейтенант артиллерист из дивизии, готовящейся к наступлению. Он привез последние данные о положении дел на фронте, рассказал, как будет действовать артиллерия, чередуя свои огневые налеты с заходами бомбардировщиков. Летчики, тесно струдившись вокруг стола, внимательно слушали старшего лейтенанта. У каждого из

них за плечами десятки подобных ночей.

Вот крайний справа — низкорослый Пепеляев. На его счету около ста ночных бомбардировок. Почти столько же у молодого, остроносого Кобякова. Вот штурман Киров, комэски Нестеров и Афонин, командир «голубой девятки» Халиулин... Все они за полтора месяца летной работы вписали в журнал полка тысячу ночных боевых вылетов. Сейчас цифра близится ко второй тысяче. Каждый вылет — это точный расчет, меткость серий, высокий боевой эффект. В ползу не принято говорить: бомбили. Здесь привыкли определять точно: цель разрушена, или серия накрыла объект, на нем вспыхнул пожар.

С артиллеристом на командный пункт наземных войск уезжает один лейтенант. Агеев назначил его для наблюдения за результатами удара. Сегодня экипажи для большей точности бомбят своеобразным методом. С земли будет удобнее проследить, насколько он хорош.

...Первые машины, гулко прозвенев моторами, ушли в сторону фронта. Вызвездило. Узкий месяц недвижно повис над лесом. Далеко к северу, на соседнем аэродроме беспрестанно вспыхивает прожектор.

— Разыщут их немцы с такой иллюминацией, — с укоризной в голосе признает Агеев.

Осторожно ступая по снегу, чтобы не провалиться, мы пошли проверять старт. Культура ночной работы сказывалась здесь во всем. Аккуратно разложенные сигнальные пистолеты с ракетами. Деревянная выколотка для застрявших гильз. Плотный прикрытый брезентом посадочный знак. Дежурный с фонариком на груди. Телефон, связывающий старт с контрольно-пропускным пунктом.

— Взлет второй очереди, — приказал Агеев.

Дежурный, встав лицом в сторону леса, несколько раз мигнул зеленым цветом фонарика. Ответное мигание. Через две минуты очередная группа бомбардировщиков по одному ушла в воздух. Снова все стихло на аэродроме.

С юга стало потягивать сырым ветром. Он пригнал клочковатые,

низкие облака. Мы ожидали их, ибо по метеорологической сводке предполагался снегопад. Выдохиваясь в воздух, Агеев отдавал короткие распоряжения. Второму прожектору быть настороже. Подготовить огрядительные огни. Подтащить жаровни на центр поля — может быть, придется зажечь костры. Принести еще десяток больших ракет. Запросить погоду на запасном аэродроме...

Пошел снег. Сначала падали мелкие, редкие снежинки, потом повалили крупные хлопья. С ракетницами в руках мы молча стояли в центре аэродрома, чутко вслушиваясь в тишину. Наконец ухо уловило вдалеке знакомый звук микулинского мотора.

— Прожектор, — командовал Агеев. В низкое небо уперся сноп света. В нем были видны косые линии густо падающего снега. Звук мотора затих. Потом послышался где-то справа. Снова затих. Экипаж бродил рядом с аэродромом, нащупывал родную площадку.

— Ракеты! — приказал майор. Мы дали несколько выстрелов. Прорезав сетку снегопада, огни ракет зажглись над головами. Звук мотора словно откликнулся на наш призыв, стал лютвейше.

— Осветить старт! — распорядился майор. Дежурный рывком сбросил брезент с фонарей. С двух сторон аэродрома протянулись к центру поля лучи прожекторов и световым крестом обозначили место посадки. Первая пара бомбардировщиков приземлилась точно у «Т». Третий и четвертый сели с небольшим промахом.

...Доклад экипажей. Над целью погода сносная. Поочередно освещали объекты специальными ракетами, и каждый экипаж бомбил самостоятельно. Сделали по несколько заходов. Фугасные бомбы легли точно. Уходя от цели, наблюдали пожар.

Пришли в свое время, пробив снегопад, и самолеты второй очереди. С третьим эшелонем, завершающим удар, полетел сам Агеев. Мы принимали командира на посадку уже под утро, когда снегопад значительно ослаб. Агеев сел с хода, ориентируясь только по мелко светящимся фонарям.

— По-моему, сделали, — добродушно

но улыбаясь, сказал он, направляясь к командному пункту подписать боевое донесение.

...Через два дня я снова прилетел к Агееву. Счет второй тысячи вырос еще на добрых полсотни вылетов. А за работу той ночи поле благодарили и пехотинцы и артиллеристы.

Февраль. Понедельник

Вчера встретил Щукина. Он прилетел из Дорогобужа. Рассказывает, как наши взяли этот город, говорит о встречах со смоленскими партизанами. Привез целый мешок писем — свернутых углом конвертов и помятых открыток. Адреса во все концы страны — на Урал, в Казахстан, в Москву, во Владивосток и Мурманск. Бодро, волнуящие слова на открытках. Вот Степан Порфирьев шлет на Волгу привет жене и детям. Косо вдавленными в бумагу буквами выведено несколько елов. Среди них такие: «Жив и здоров. Был ранен в грудь, но теперь все в порядке». Фраза, о ранении несколько раз зачеркнута. Побоялся, видно, Порфирьев волновать семью, да поторопился и не вымарал эти слова совсем. Мы бережно перевязали партизанские письма бечевками и отправили на почту.

Взят Дорогобуж! Очередь за Юхновым и другими нашими городами. Мы упорно двигаемся вперед, немцы цепляются за каждый спусной для обороны рубеж. Вслед за пехотой движется и наша авиация. Генерал распорядился подготовить новые аэродромы.

На рассвете, забко пряча подборки в меховые воротники комбинезонов, мы полетели к тому месту, которое обозначено на карте аккуратным красным кружочком. Внизу обычная для глаза картина разрушений, учиненных немцами. Слева высятся насквозь продырявленные артиллерийскими снарядами трубы завода. Щукин проводит машину между ними. Змейками вьются на снегу окопы, едва заметными бугорками вспыхивают блиндажи и землянки. По выкопанном в снегу дорогам медленно ползут грузовики, проходят группы бойцов. С правого борта, за лесом, вспыхивают орудинные выстрелы.

Вокруг места, отмеченного на кар-

те, чернеют три крупных села. По расчету времени мы должны быть около них. Ищу глазами основной населенный пункт с церковью и разветвлением дорог. Вместо домов и улиц вижу сиротливо торчат печные трубы, темнеют остатки усадебных заборов. Села сожжены немцами.

Пройдя широким кругом, готовимся к посадке. Мы оба знаем, что поле минировано. Не могли же немцы оставить свой аэродром без какой-либо каверзы! Наш расчет — приземлиться не на укатанном участке летного поля, а рядом, вдоль проложенной кем-то лыжни. Боковым ветром нас сносит в сторону. Сожающе гудя мотором, Щукин ведет машину на второй круг и разворачивается над самой землей. Из сугробов высовываются концы крыльев с желтыми крестами на консолях, обломки, разный самолетный хлам.

Наконец садимся с легким замедлением сердца. Машина, утопая лыжами в пухлом снегу, мягко скользит несколько секунд и останавливается. Пронесло!

Вылезаем из кабин, оглядываемся. С опушки леса кто-то машет руками.

— Надо рулить правее, — определяет сигналы Щукин. Теперь мы оба видим узенькую полоску, обозначенную воткнутыми в снег веточками ельника. Здесь уже пропались саперы с миноискателями, они поставили свои вехи.

Рулим к лесу и сразу заводим самолет под деревья. Около небольшого кюстра несколько бойцов. Облокотившись на пустую бочку изпод бензина, греем руки. Дым поднимается к небу заметной струйкой. Это нехорошо. Площадку надо занять так, чтобы немцы не знали об этом. Попутный разведчик ненадолго посмотрит вниз, увидит дымок и движение, сразу определит, что мы хотим освоить эту площадку.

— Загасить костер! — приказывает батальонный комиссар Рогозников. Он приехал двумя часами раньше. Его полк перелетит завтра утром с ледового аэродрома на Кривом озере.

Вместе отправляемся осматривать местность. В кустах валяются про-

рубленные и простреленные фашистами бочки для горючего. На них марки самых различных фирм — немецких, бельгийских, французских, австрийских.

— Доят отовсюду, — говорит Rogoznikov и ударяет ногой по измазанному краской днищу. Гулко разносится звук в молчаливом лесу. С ближней елки мелкой пылью осыплются снежинки.

Идем дальше. Штабеля ящиков с бомбами стального цвета. На стабилизаторах бомб немецкие буквы и непременная, выбитая специальным клеймом, свастика. Их много, разных калибров и веса. Сначала считаем ящики. Потом это надоедает, переходим на десятки ящиков. Чем дальше в лес, тем больше этих аккуратно выложенных штабелей. Коегде предупредительной рукой неизвестного сапера сделаны предостерегающие, лаконичные надписи: «мины».

Все это было припасено для бомбежки Москвы. Здесь у фашистов в иные дни сосредоточивалось до полутораста самолетов. Rogoznikovu уже рассказали об этом несколько местных жителей, уцелевших от расстрела и увода в немецкий тыл. Они, вернувшись из лесов, ютятся сейчас по несколько семей в двух-трех чудом сохранившихся избах.

На опушке леса обломки самолетов. По кускам крыльев и обгорелым, исковерканным фюзеляжам определяем их типы. Перед нами остатки двуххвостового, горбатого, с квадратной пилотской рубкой «Фокке-Вульфа». Один хвост его отбросило метров на двадцать пять в сторону. Куски металла остро впились в седую кору многолетних елей, порывавших от старости. Вот множество одномоторных «Юнкерсов-87». Оставляя аэродром, немцы в каждый пикировщик заложили по mine. Взрывом отбрасывало мотор вперед, фюзеляж разламывался пополам, отскакивали крылья.

Слева «Хе-111» — универсальный немецкий бомбардировщик. Один мотор почти цел. Другой с изуродованным картером и цилиндрами вывалился из своего гнезда. Влестит гладко выточенная поверхность обнаженных поршней. Это «Даймлер-Бенц», немцы устанавливают его и на истребителях. Даль-

ше, на самом краю леса, нелепо подогнув левое крыло, лежит «горбатый чорт». Так на всех фронтах зовут фашистский разведчик «Хш-126». Постукиваем по бронированной спинке кабины, осматриваем приборы. Нет ничего особенного в этом «горбаче». Машина, как машина. Вдали — запыленные снегом лохмотья нескольких «Мессершмиттов». Они, видимо, подбиты при нашем ударе с воздуха по этому аэродрому.

Немцы страшно любят символику. На остатках фюзеляжей, рядом с буквами и цифрами условных обозначений, — яркие эмблемы. На «Хе-111» начертан огненный всадник, скачущий на крылатом коне, — символ огня и быстроты. Им отмечена 100-я бомбардировочная группа. Искалеченный отряд «Ю-87» носил на фюзеляжах черную кошку, бегущую по желтому фону. Что бы это значило? Почему 77-я эскадра пикирующих бомбардировщиков в своем гербе должна иметь кошку? Непонятна сия немецкая премудрость. А на «Мессершмиттах», принадлежавших когда-то 51-й истребительной эскадре, эмблема еще оригинальнее — черный ворон в больших роговых очках, с белым зонтиком.

— Ишь, разрисовали! — смеется Rogoznikov. Мы оба устали, бродя по лесу в тяжелых, мешковатых комбинезонах. Садимся на хвост «Хеншеля», закуриваем.

— Нет у них настоящей радости, настоящего смысла в жизни, вот и отыгрываются на захудалой романтике, — задумчиво говорит Rogoznikov. — Ворон с зонтиком! Как это можно летать на таком балаганном самолете!

...Местные старики правы. Здесь действительно когда-то была крупная авиабаза фашистов. Обломки принадлежат трем разным эскадрам. А по штату у немцев в каждой эскадре около сотни самолетов. Даже если эскадры были укомплектованы наполовину, и то здесь скапливалось около полутора сотен машин.

Вдали монотонно погромыхивают орудия. Фронт близко, но завтра он может отодвинуться еще на несколько километров к западу. Надо спешить с переброской истребительного полка. За оставшиеся светлые

часы дня и за ночь нужно сделать многое: окончательно разминировать летное поле, прогладить его катками, оборудовать стоянки самолетов, выбрать место для хранения запасов горючего и боевых комплектов, устроить жилище для летчиков, кухню, лазарет...

Утверждаю план комиссара по размещению материальной части. Говорим с ним о принципах маскировки, противовоздушной и наземной обороны. Собираюсь лететь. Вдали уже видны подходящие к площадке автомашины с грузом, тракторы и огромный обшитый деревом каток. Перебазирование начинается.

Мы с Щукиным запускаем мотор в ручную. Он застыл. Приходится подолгу ставить винт на компрессию и сильным рывком приводить поршни в движение. Возле самолета неведомо откуда появляются двое мальчонков. В зипунах, в заткнутых соломою валенках. Подзываю одного поближе.

— Как зовут?
— Виктор.
— Откуда?
— С той деревни.
— Родные здесь?
— Папаня на фронте. Мамку немцы убили...
— Один, значит?
— Один.
— Когда маму убили?
— А как уходить им, так и убили.
— А ты где был?
— В сарае... Они меня палками пороли.

— За что?
— А я ихних лошадей не поил...
— Работал у них?
— Не... Они хотели, чтоб работал, а я не работал.
— Сколько тебе годков-то? В школу ходил?
— Одиннадцать... А школу немцы сожгли...

— Где же ты теперь живешь?
— В деревне, у тетки...
Виктор угрюм. В тесно сжатых губах видна недетская решимость. Серые глаза смотрят серьезно. Но сквозь затаенное горе в них нет-нет да и мелькнет свойственная возрасту непосредственность. Он трогает рукой крыло самолета и гордо смотрит на товарища:
— Петька, какая гладкая!..

Потом Виктор снимает дырявое пальтишко и, задирая рубашонку, показывает следы побоев. На худеньком, истощенном теле паренька синие и багровые рубцы. Исполосована вся спина и грудь.

Щукин молча смотрит на Виктора и, хмыкнув что-то непонятное, медленно снимает с шеи широкий летный шарф. Больше у него нет ничего подходящего, чтобы пожертвовать этому милому деревенскому пареньку, вдосталь нагтерпевшемуся горя. Виктор не хочет брать подарок. Чуть ли не силой мы закутываем его в этот шарф. Щукин, будучи отец, заботливо запахивает концы шарфа под пальтишко. С грубоватой нежностью похлопав Виктора по плечу, он лезет в свою кабину.

Мотор запущен. Прощаясь, ребята важно подают мне руки. Я показываю им, как дернуть за крыло, чтобы помочь стронуть машину с места — лыжи немного примерзли к снегу. Забираюсь в самолет.

Взлетели. На развороте смотрим вниз. Выбежав на опушку леса, ребята машут нам руками. Отсалютовав им глубокими кренами, Щукин берет курс южнее, на вторую назначенную генералом площадку.

Март. Среда

Морозы еще не кончились. Сильный утренник инеем оседает на речницах. Мы идем краем площадки к самолетам. В молодом ельнике слышится таратающий звук нехотя прогревающихся моторов. Рассвет только начинается, — еще заметно синее пламя, острыми язычками рвущееся из глушителей. Но пока мы подходим к машине, оно успевает раствориться в воздухе, уступая место кольцам темного, промасленного дыма.

Нас четверо. Майор Сажнев, инженер Гаевский, майор Барташ и я. Первый летит на ту сторону фронта, мы трое — на разные аэроузлы. Сегодня ночью военный совет решил организовать воздушную операцию, чтобы обеспечить действия одной подвижной группы, вклинившейся глубоко в тыл противника. Сажнев летит туда. Он на месте расскажет командиру группы о решении военного совета и поможет согласовать одновременные действия

земли и воздуха. Мы трое должны поднять части и руководить боевыми вылетами вплоть до окончательного решения задачи.

Один за другим уходят ввысь самолеты. На взлете каждый из нас приветственно машет рукой товарищам, а потом, привычным жестом поправляя очки, берется за карту, следит за приборами и ориентировкой.

На моем аэроузле начинается операция подлета легких самолетов капитана Меняева. Части, вооруженные этими компактными маневренными полугораланами, фронтовики в шутку называют «двухэтажной авиацией». Глубоко под землей, в искусно вырытой землянке собрались летчики. Задача поставлена, экипажи готовы к карте, рассчитывают курс полета, заучивают наизусть характерные ориентиры в районе цели. По напряженным лицам летчиков чувствуется, что они хорошо понимают, сколь труден будет перелет линии фронта в дневное время, поиск назначенного района во вражеском тылу и все другие действия.

Идем на телеграф. Утомленный ночным дежурством, морзист выстучивает донесение. Потом осипшим голосом он переводит точки и тире ответа. Генерал приказывает начинать.

Мартовская дымка недвижно нависла над аэродромом. Первый вылет. Пятнадцать самолетов звеньями поднимаются в воздух и на брезющем скрываются за лесом. На площадке сразу становится тихо. Только снежинки, поднятые вихревыми потоками от винтов, пыльной оседают на шлемы и кожанки. Шуккин уже суетится около нашей машины. Здешний механик, закинув за спину карбин, помогает ему запустить мотор. До возвращения группы мы должны слетать на другую площадку и проверить, как идет дело в соседнем полку такой же «двухэтажной авиации».

Эта площадка носит странное название — Трясь, хотя аэродром расположен не на болоте, а на высокоом, сухом подъеме, густо поросшем березовым молодняком. Две эскадрильи этого полка уже взлетели, вернутся через два — два с половиной часа. Погревшись на командном пункте, оборудованном в старом самолетном ящике, мы с Щукиным

летим обратно. Снова донесение генералу. Новые, уточняющие распоряжения.

В воздухе слышится шум моторов. По времени — нашим самолетам возвращаться рано. Однако четко заходит в круг и садится. По поведению летчиков чувствуется, что площадка им знакома хорошо, они сели на свой родной аэродром.

Звено привел лейтенант Брехов. Острое, слегка веснушчатое лицо, медленные движения.

— Шел замыкающим звеном, — докладывает лейтенант. — При подлете к линии фронта заметил, как один самолет впереди накренился и, дымя, пошел на лес. Немцы открыли очень сильную стрельбу.

Лейтенант, собираясь с мыслями, несколько секунд молчит. Потом, сдерживая волнение, продолжает:

— Решил приземлиться и выяснить обстановку. Сели вот здесь, возле деревни. Пехотный командир, узнав, куда мы летим, удивился. Говорит, не пройти вам здесь... Бот мы и вернулись...

— Значит, задание не выполнено? Брехов молчит. На остро выдающихся скулах его лица подергивается желвачок. Потом, тяжело вздохнув, он с трудом выдавливает из себя:

— Не выполнено...

Я смотрю на лица окружавших нас техников и летчиков. Они серьезные, замкнуты. Наступает неловкая тишина.

— Звену быть готовым к повторному вылету, — отдаю я распоряжение и отхожу в сторону.

В чем дело? При выборе ведущих экипажей имя лейтенанта было названо командиром полка без всяких оговорок. Наоборот, он подчеркнул, что Брехов — опытный и смелый летчик. Лично я хорошо знаю младшего брата Брехова — Константина. Тот летает на «Илах». Прекрасный, умелый штурмовик. На своем самолете он уже уничтожил несколько десятков фашистских танков. Неужели старший брат попросту испугался?

Через сорок минут приходит шесть самолетов. Их ведет лейтенант Ермолов. Смуглое, южное лицо, обрамленное белым шелковым подшлемником. Энергичные, выразительные глаза. Он докладывает:

— Маневрируя под сильным обстрелом с земли, пересек линию фронта. Отклонился на эти леса, затем бредущим дошел до назначенного района. По сигналу с земли произвел посадку.

— Кто вас там встретил?

— Майор Сажнев... Вот его записка, товарищ подполковник...

Сажнев торопливым почерком пишет, что положение серьезное, надо форсировать вылеты. Указывает сигналы на ночь и новый район посадки самолетов. Просит с очередным рейсом прислать самый необходимый груз и одного-двух механиков для помощи в запуске моторов.— Есть, товарищ Сажнев! Будет исполнено!— На какой высоте шли?

— Туда — бредущим, как было указано. На обратном пути решил подняться за облака и пройти выше.

— Истребители были?

— Нет. Вдали заметил около этой реки двух «Мессершмиттов». Ввел звенья в облачность, потом через несколько минут вышел — противника уже не было.

— Повторно лететь можете?

— Так точно, товарищ подполковник.

Но где же еще шесть машин? Проходит час. Из Тряси сообщили — не вернулись три. Мы с командиром полка ждем еще тридцать минут — двух звеньев все нет и нет. На мое донесение генералу пришло радио: «Вылет повторить».

В калупу, на край аэродрома, привезли в термосах обед. Легчики, сняв шлемы, едят дымящийся борщ. Брехов сидит рядом с Ермоловым. Они о чем-то говорят. Видно, что Ермолов оспаривает какое-то утверждение Брехова.

— Товарищ подполковник, — тихо сказал мне командир полка, — народ просит перенести вылеты на ночь... Очень сильный...

В словах капитана слышатся нотки неуверенности.

— Ведь шестерых уже нет, — говорит он. — Днем трудно на наших машинах перейти линию фронта.

В самом деле, положение становится серьезным. Поведение Брехова, вернувшегося с маршрута, поколебало уверенность летчиков. Да еще два звена не вернулись. Где они? Может быть, погибли, а может, сидят где-нибудь на вынужденной или их задержал у себя Сажнев? Я

отхожу в сторону. Командир полка издали следит за мной. Надо решать. Генерал направил меня сюда не как наблюдателя, а как ответственного командира, способного принять на месте правильное решение.

— Товарищ Меняев, — зову я капитана, — готовьте повторный вылет. Ведущим назначить Ермолова. Он поведет группу по измененному маршруту, на другой высоте. В пути будет маскироваться облачностью. Отрабатывать задание с летчиками я буду сам.

Через час Ермолов взлетает. В первом вылете он переходил линию фронта бредущим. Сейчас его группа наберет высоту до облаков, перед фронтом войдет в них, потом через семьдесят минут вынырнет для уточнения ориентировки и снова спрячется в нижней кромке облаков. Подойдя вплотную к назначенному району, она круто потеряет высоту пикированием или скольжением и сядет на площадке, устроенной Сажневым. Этими приемами она избежит и огня немцев и неожиданных атак истребителей.

Снова на аэродроме наступает тишина. Мы с Щукиным еще раз летим к соседям, в Трясь. У них повторный вылет удался на славу. Все самолеты вернулись, четко выполнив задание. Сейчас экипажи отдыхают перед тяжелыми ночными полетами. За ночь надо успеть сделать не меньше трех рейсов. Оперативный дежурный зовет меня к телефону. Докладывает Меняев: группа Ермолова без потерь и повреждений только что произвела посадку. Два звена, не вернувшихся из первого рейса, нашлись. Они посланы Сажневым на бомбометание, вернутся завтра утром. Сразу отлегло на сердце. Все, оказывается, идет хорошо, операция разворачивается нормально.

— Готовьтесь к ночным, — приказываю капитану, а сам спешу на радиостанцию. Надо снестись с генералом, доложить о прошедших событиях, получить распоряжения на ночь.

Пока радист торопливо выстукивает кодовые фразы донесения, набрасываю на клочке бумаги план ночной работы. Синоптик приходит с докладом о предстоящей погоде.

Будет ясно, но в середине ночи возможен небольшой снегопад. Ну, это не страшно. Экипажи хорошо владеют слепым полетом.

...Перед наступлением темноты на аэродром Меняева приходят два «Юнкерса». Это разведчики. Покрутившись на двух виражах и не сбросив бомб, они уходят на север. Немцы проверяют, есть ли самолеты. Наши «двухэтажные» машины хорошо замаскированы. В сумерках да еще с высоты в 2 000 метров вражеским летчикам вряд ли удалось разглядеть стоянку самолетов. Но на всякий случай мы выставляем две дополнительные опневые точки. Прорезают воздух короткие очереди трассирующих пуль. Часто вспыхивая белыми и красными точками, трассы протягиваются к звездам и гаснут где-то на большой высоте.

Взлет, как и днем, происходит по звеньям. Первым опять идет Ермолов. За несколько часов я уже успел полюбить смуглолицего лейтенанта. Это его третий рейс. Замыкающим идет Брехов. Он сам попросился лететь. Пораздумав, я разрешил полет: пусть человек загладит свою дневную ошибку.

Ласково мигнув навигационными огнями, самолеты один за другим скрываются в темноте. Вдали, там, где Трясь, время от времени вспыхивает прожектор. Это световой маяк. Подняв луч к звездам, он под определенным градусом ложится на землю, снова поднимается, тухнет, вспыхивает. Где-то в стороне вращают моторы тяжелых кораблей. Мощные ночные бомбардировщики идут бомбить глубокие тылы немцев. Слева далеко-далеко глухо прогромыхало несколько разрывов. Наверно, какой-нибудь одиночный немец прокрался к городу и пытается напугать наших бомбами.

Снова еду на телеграф. Морзист переводит точки и тире с быстро бегущей ленты. Из штаба сообщают, что на соседних узлах, там, где Гавевский и Барташ, работа идет успешно. На площадку к Сажневу уже садилось около пятидесяти самолетов. Хорошо!

...На третий день был дан отбой. «Двухэтажная авиация» отлично справилась с заданием военного совета. Командиры частей представили в наградам особо отличившихся

летчиков. Среди них значилось имя лейтенанта Ермолова, смелого и находчивого командира звена.

Март. Суббота

В маленькой комнатке приангарного дома, склонившись над сколоченным из досок столом, сидит молодой парень с замкнутым, серьезным лицом. Его русые волосы пережаты ремешком от радионаушников. Перед ним маленькая, портативная рация. Он вслушивается в звуки, понятные только ему, что-то быстро отмечает на клочке бумаги, потом, мелко-мелко работая кистью руки, выстукивает ответ. Это — радист Присуха. Я смотрю, как он ловко укладывает рацию в брезентовый ранец, похожий на сумку противогаза, как он свертывает крошечную антенку и провода, и спрашиваю:

— На какое расстояние берет эта машинка?

Присуха, осуждающе поджимая губы, молчит. Потом говорит извиняющимся тоном:

— В прошлом году я у одного майора, товарищ подполковник, видел рацию размером с портсигар. Я хотел узнать ее устройство. Но майор научил меня помалкивать об этих вещах...

Хороший ответ на мой непродуманный вопрос. Правильно, Присуха! Не следует делиться секретом. Тем более, что ты идешь сегодня на трудное, опасное дело. Молчание там иной раз будет стоить гораздо дороже, чем самая шумная отвага.

Окно, выходящее на площадку, постепенно синеет. Наступает вечер. Ночью мы будем за сотни километров отсюда — в Смоленщине. Там действует партизанский отряд имени Лазо. Генерал приказал мне слезать в тот район, найти партизан, сбросить им боевой груз и еще четырех командиров для связи и руководства. Вот они все четверо: радист Присуха; старший политрук Осташев — небольшого роста, подвижный, с заломившимся пухлым лицом; лейтенант Семкин — высокий, молчаливый командир; лейтенант Соколов — самый молодой из всех. Товарищи называют Соколова запростом — Игорь. У него большая рсдинка на щеке, фигура заправско-

го спортсмена. Он все время что-то напевает, расхаживая по комнате.

Корабль поведет шплот Алексеевко. Примостившись к столу на оперативном пункте, мы выбираем маршрут. Он жирной чертой ложится на карту, значительно углубляясь за линию фронта. Больше всего обсуждаем, где пересекать фронт. Надо пройти незаметно для немцев. Тем более, что у них в ряде пунктов установлены теперь зенитные батареи и прожекторы. И еще недавно получены сведения, что на этот участок фронта прилетело несколько десятков ночных истребителей чуть ли не из берлинской противовоздушной зоны. Нашему самолету надо их опасаться.

Наконец все вопросы решены. Мы помогаем парашютистам одеться и идем к кораблю. Уже вылезло. Снег мягко поскрипывает под ногами. Ребята шагают медленно. Каждый поверх теплого обмундирования надел белый маскировочный костюм. На плечах, под парашютными ляжками, — полевые сумки, ранцы с запасом продовольствия; на поясах — пистолеты, гранаты, кинжалы; сверху — неизменный автомат.

При свете нагрудного фонарика размещаю людей в кабине корабля. Он сплошь загружен продолговатыми мешками с боеприпасами, винтовками, продовольствием. Мягко пугают моторы. Светящийся циферблат часов показывает нужное время.

— Пошли!

До линии фронта стараемся набрать как можно больше высоты. Земля все глубже и глубже уходит вниз, а звезды будто приближаются. Становится немного трудно дышать. Еще бы! Высотомер уже перевалил за пятерку — пять с лишним тысяч метров от земли. Время от времени выхожу из пилотской рубки в общий отсек, гляжу, как ведут себя ребята. Осташев сидит у окна справа, молчаливый, сосредоточенный. Рядом маячит фигура Присухи. Оба лейтенанта у левого борта. Игорь попрежнему мурлычет песенки.

Вот и фронт. Знакомо мельтешат внизу трассы светящихся пуль, вспыхивают зарницы орудийных выстрелов, всплывают далекие, дрожащие ракеты. Внезапно прямо в кабину ударяет ослепительный свет прожектора. Алексеевко круто сва-

ливает машину набок. Скользим скользим и выходим из опасного обнажающего объятия, берем прежний курс.

Впереди, справа, на фоне звезд мелькают две тени.

— К пулеметам!

Это «Мессершмитты». Мы с бортмехаником припадаем к бортовым пулеметам, «стрелок-радист» — в верхней спарке. Алексеевко, приглушив моторы, чтобы уменьшить рвущееся из патрубков пламя, уходит вниз, несколько изменяя направление полета. «Мессершмитты» остаются где-то сзади. Проскочили!

Снова ориентируемся. Внизу тускло поблескивают костры — это немцы греются возле них. Чорт с ними, нам надо дальше. Горит, вытянувшись большой головешкой, какая-то деревня. За ней видна едва прощупываемая глазом линия железной дороги. Меняем курс и идем по расчету времени, точно засекая его секундомером.

Слева, как падающие звезды, прорезают темноту два устремившихся к земле светящихся комка. Это что-то подоженные самолеты. Чьи? Наши или немецкие? Но рассмотреть некогда, надо ориентироваться — мы приближаемся к назначенному району.

— Где мы? Уже в Смоленской? — спрашивает Осташев.

Вполне понятно его волнение. Им скоро прыгать. Неизвестно, выложат ли партизаны условный знак. Если его не будет, — все равно ребята пойдут вниз. Наша задача — как можно точнее привести машину и на месте принять решение.

Вдалеке, на краю лесного массива, какие-то огни. Может быть, это партизанский сигнал? Нет! Мы должны выйти южнее, по времени еще несколько минут лета. Вместе с Алексеевко напряженно всматриваемся вперед. Берем за карту. Так и есть, находим. Вот этот фигурный лес, узкая лента реки, несколько деревушек. Здесь, именно здесь.

И как бы в ответ на наше решение внизу еле заметно начинают возникать мелкие огоньки. Сигнал! Рассматриваем его, осторожно положив машину в вираж. Наш сигнал, наш! Ясно видны очертания условной фигуры.

— Приготовиться!

Алексеевко переводит машину в крутую спираль.

— Пришли! Партизаны ждут! Сигнал есть! — громко, перебивая моторы, подбадриваю парашютистов. Направляю им ляжки, советую что-либо петь или кричать. Мы круто теряем высоту, и от перемены давления у парашютиста с непривычки может сильно заломить в ушах.

Двести метров. Через дверь кабины видны фигуры людей возле костров, несколько подвод. В воздух взлетают ракеты. Их число и цвет соответствуют указаниям. Пришли точно.

— Начинаем!

Алексеевко положил самолет в неглубокий вираж. Вдвоем с бортмехаником Гайворонским начинаем сбрасывать мешки. Они тяжелы, вращать их на вираже чертовски трудно. Сбрасываю с себя шлем и перчатки, рывком расстегиваю комбинезон. Один мешок, второй, пятый, десятый... Еще и еще... Мы оба запыхались, устали... Но надо торопиться. На свет ракет могут слететься немцы, и тогда нам всем будет несладко. Наконец с мешками покончено.

Теперь очередь за парашютистами. Они выстраиваются возле двери, протягивая нам концы ремней от своих полуавтоматических парашю-

тов. Мы закрепляем ремни на специальной скобе. Остаев, близко придвигая ко мне лицо, снимает перчатку и жмет руку.

Идет вниз Игорь. Это первый в его жизни прыжок с парашютом. Не на учебном аэродроме, а ночью, в настоящей боевой обстановке начинает парень свою парашютную жизнь. Потом Семкин. Потом Присуха. Последним, мастерски пригнувшись, прыгает Остаев.

— Все! Давай высоту!

Мы так устали с Гайворонским, что, не сходя с места, тут же растягиваемся на полу опустевшей кабины и, тяжело дыша, лежим несколько минут. В квадратный вырез открытой дверцы видны удаляющиеся огни сигнальных костров.

— К пулеметам!

В воздухе опять истребитель. Он дает издали длинную очередь. Пули проходят впереди нас и затухают где-то у Большой Медведицы. Мы не отвечаем. Дистанция велика, и лучше себя не обнаруживать.

...Было далеко за полночь, когда мы приземлились на своем аэродроме. А наутро в штабе мне показали отстуканную Присухой радиограмму: «Прибыли точно. Благодарим подполковника».

Западный фронт.

Февраль—март, 1942 г.

А. ГОЛУБЕВ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРВОГО ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1942 года исполнился год со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Развитие военных событий за этот год на образовавшихся в ходе войны огромных фронтах можно разбить на два периода: первый — от вероломного, разбойничьего вторжения германских войск на советские территории до великого сражения под Москвой; второй — от сражения под Москвой до конца первого года войны.

Первый период отличался бурным наступлением германских войск и оборонительными боями советских армий, связанными с потерей части советской территории; второй — переходом инициативы наступательных действий в руки советских войск, обороной германских армий и началом освобождения советских земель от немецко-фашистских захватчиков.

Каждый из этих периодов имеет свое значение и свою поучительность.

* * *

Начиная войну против Советского Союза, гитлеровская Германия рассчитывала превратить ее в «крестовый поход» против большевиков, в котором ей удастся добиться если не прямого участия, то во всяком случае благожелательного нейтралитета таких стран, как Англия и Соединенные Штаты Америки.

Для того чтобы убедить английских политиков примкнуть к этому походу, почти накануне открытия военных действий на советско-германских границах в Англию был

послан заместитель Гитлера по руководству партией — небезызвестный Гесс.

Английское правительство, возглавляемое Черчиллем, отклонило это предложение. Гесс был интернирован в Англии. И через некоторое время, когда боевые действия на советско-германском фронте шли полным ходом, германские войска продвигались вперед, гитлеровская печать и официальные германские круги не сочли уже более необходимым скрывать те действительные цели, которые преследовала Германия, нападая на Советский Союз.

Известный германский военный публицист, военный эксперт германского информационного бюро и редактор основного германского военно-политического журнала «Дейтше Вер», подполковник Зольдан в своей статье «Характеристика Восточного похода», помещенной в «Фелькишер Beobachter», 17 декабря 1941 года по этому поводу писал так:

«Восточный поход имеет три цели. Первая — уничтожение советской армии; вторая — разрушение военно-промышленных центров; третья — обеспечение за европейским континентом областей, необходимых для успешного сопротивления внешней блокаде». «Обеспечение за европейским континентом, находящимся в руках Германии, областей, необходимых для успешного сопротивления внешней блокаде», означало на деле не что иное,

как использование захваченных богатств и ресурсов Советского Союза для борьбы против Англии и Соединенных штатов Америки с целью обеспечения мирового господства гитлеровской Германии.

Эту же мысль, несколько ранее подполковника Зольдана с истощающей полнотой развил министр иностранных дел Германии фон Риббентроп. В конце ноября прошлого года, на конференции вассальных Германии европейских стран этот «дипломат», считая Советский Союз уже побежденным, говорил о том, что Германия и ее союзники «приобрели независимость от заокеанских стран. Европа еще раз и навсегда освободилась от угрозы блокады. Зерно и сырье Европейской России могут полностью удовлетворить потребности Европы. Ее военная промышленность будет служить военному хозяйству Германии и ее союзников. Таким образом созданы две решающих предпосылки для конечной победы «оси» и ее союзников над Англией».

И далее Риббентроп говорил:

«В дальнейшем в войне... будут противостоять друг другу островная Англия с ее североамериканским помощником за океаном, с одной стороны, и мощный европейский блок, с другой. Германия и Италия в состоянии сосредоточить всю решающую силу своих армий, флотов и авиации для разгрома основного противника — Англии».

Таким образом вторжение на территорию Советского Союза для Гитлера являлось лишь только частью его плана завоевания всего мира. За разгромом Советского Союза должен был последовать разгром Англии и Соединенных штатов Америки. Существенной частью этого плана являлось стремление Гитлера к разгрому этих стран порознь — сначала Советский Союз, затем Англия и, наконец, Соединенные штаты Америки.

Чтобы выполнить этот план, Гитлер в борьбе против Советского Союза избрал тот же метод «молниеносной» войны, который он применял до этого в борьбе против других европейских стран. По расчетам германского военного командования, вся война против Советско-

го Союза должна была занять полтора-два месяца. Быстрый разгром Советского Союза, по мнению германского военного командования, должен был потребовать от германской армии небольших жертв и сохранить основные силы этой армии для борьбы с Англией и Соединенными Штатами.

В коротких сроках войны германское командование и правительство нуждались и по другой причине. Фашистская Германия начала войну против Советского Союза, не окончив войны с Англией. Несмотря на потерю почти всех бывших союзников, английский народ не признал Гитлера победителем. Все атаки фашистской Германии на Англию были отбиты, война приняла затяжные формы, а в процессе ее истощались ресурсы Германии и крепились вооруженные силы англичан.

Затяжной характер войны Германии против СССР мог дать Англии время на организацию и усовершенствование своих вооруженных сил и всей системы обороны. Поэтому Гитлер хотел молниеносным ударом покончить с Советским Союзом, с тем, чтобы затем так же быстро покончить с Англией, а в последующем с Соединенными Штатами Америки.

К методам «молниеносной войны» Гитлера толкала и внутренняя обстановка в Германии. Гитлеру нужны были короткие, быстрые успехи, с тем чтобы, поддерживая миф «о непобедимости» германской армии, удерживать этим в повиновении как поработанные германским фашизмом европейские народы, так и собственное население внутри Германии. Метод «молниеносной войны» был единственно приемлемым для гитлеровской Германии; только при этом условии она могла рассчитывать на победу. Всякий иной метод, ведущий к затяжным формам войны, должен был кончиться ее поражением.

* * *

Разрабатывая в начале войны конкретные планы операций, гитлеровское командование исходило прежде всего из различной степени готовности своих вооруженных сил и вооруженных сил Советского Союза.

К началу войны наземные войска

фашистской Германии составляли около 250 дивизий. (Такой численности армии в первую мировую войну 1914—1918 годов Германия смогла достичь только в 1917 и в начале 1918 годов.) В боевой авиации в строю имелось 9—10 тысяч самолетов.

В первом эшелоне для вторжения в пределы советских территорий германское командование развернуло около 170 дивизий, из которых до одной трети составляли механизированные войска. Все дивизии, предназначенные для удара, прошли большую практическую школу в боях: в Польше, Норвегии, во Франции и на Балканском полуострове.

Советский Союз считался с возможностями вероломного нападения со стороны фашистской Германии, но, строго соблюдая договор о ненападении, он не имел своей армии на положении военного времени. Части Красной Армии, расположенные в пограничных районах, в несколько раз уступали по численности развернувшимся для удара германским войскам. В отношении же людских резервов и материальных средств борьбы Советская страна располагала огромными возможностями. В конечном итоге она могла выставить армию, во всех отношениях превосходящую армию фашистской Германии. Но для того чтобы сделать это, то есть мобилизовать и сосредоточить на театрах военных действий новые массы вооруженных сил на помощь находившимся в пограничных областях кадровым частям, советскому командованию нужно было время, измеряемое в сроках по крайней мере неделями.

Таким образом, в начальный период войны обстановка ставила в неравные в военном отношении условия вооруженные силы Германии и Советского Союза.

На этой основе и были построены конкретные оперативные и стратегические планы высшего германского командования. Сущность этих планов в стратегическом отношении сводилась к тому, чтобы первым же воязпным ударом смять советские войска в пограничных областях, а затем безудержным движением вперед, с предельным использованием крупных масс подвижных войск,

поддержанных мощной авиацией, захватить решающие центры Советского Союза раньше, чем он сможет привести в движение все свои возможные силы.

Таковыми центрами, в представлении гитлеровских военных кругов, должны были являться Ленинград на северо-западе, Москва в центре, промышленный донецкий бассейн и район Ростова-на-Дону на юге. Спадением этих центров и районов германское командование связывало полную ликвидацию боеспособности советского государства, дезорганизацию всей его внутренней, политической, экономической и военной деятельности.

Захваченные впоследствии оперативные приказы, отданные германским войскам, требовали от этих войск исключительно высоких темпов операции. Достаточно сказать, что 2-я танковая группа генерала Гудериана, наступавшая первоначально в Брестском направлении, нацеливалась непосредственно с исходного положения, через Минск, в район Смоленска. Далее от группы требовалось стремительное движение по автострате Смоленск — Москва.

Овладение Московской германское командование намечало на третьей неделе войны. Полтора-два месяца операций должны были вывести германские войска на линию Урала.

Сейчас всем видно, что это был сумасбродный оперативный план, совершенно не учитывавший ни силы сопротивления Советской страны, ни возможностей германской армии. Но тогда германское командование всех степеней, привыкшее к легким победам на Западе, воспитанное на пренебрежении к противнику и на легендах о непобедимости новой германской армии, было убеждено в реальности и осуществимости этого плана.

* * *

В ночь на 22 июня прошлого года началось вторжение германских войск в пределы нашей родины.

Для наступления немцы развернули три группы армий: группу генерала Лееба в Восточной Пруссии — для захвата Ленинграда; группу генерала Бока на границах с Западной Белоруссией — для захвата

Белоруссии и движения на Москву, группу генерала Рундштедта на юге — для захвата Украины и Днепского бассейна.

Первый удар германских войск был ударом огромной силы. Никогда до этого история не видела одновременного введения в дело такой массы войск и особенно такого количества танков и боевой авиации.

Преимущества начального периода войны — превосходство в силах на поле сражения и внезапность удара — обеспечили германским войскам перенос войны на советские территории. Однако уже первые этапы операций показали, что планы «молниеносной войны» против такой страны, как Советский Союз, не имеют под собой реальных оснований.

В июне и в июле прошлого года германские войска продвигались на всем фронте. Но уже июль показал, с одной стороны, резкое снижение темпов продвижения германских войск, а с другой — неравномерность этого продвижения.

Центр тяжести первоначального удара лежал на московском направлении. Здесь была сосредоточена основная масса германских войск. Между тем, в августе и сентябре активные операции германских вооруженных сил развивались главным образом на Ленинградском и Украинском направлениях. Что касается центра германского фронта, то после захвата района Смоленска немцы надолго прекратили свое продвижение.

К началу октября германским войскам удалось выйти на подступы к Ленинграду, но взять его они не смогли. На южном направлении германские части пересекли линию Днепра. Центр германского фронта оставался в районе Смоленска, а до Москвы от районов Смоленска оставались еще сотни километров.

Таков был итог первого стратегического этапа германских операций. Этот этап занял больше трех месяцев, то есть срок значительно больший, чем срок первоначально намеченный на все ведение войны в целом. На этом этапе германские войска не разбили главных сил советских армий, не деворганизовали

советский тыл, не захватили жизненно важные центры страны.

Жестокое сопротивление, оказанное Красной Армией, резко снизило темпы наступления германских армий, увеличило их тяжелые потери. В глубине Советской страны развернулась огромная работа по созданию новых частей и резервов и по перестройке всей жизни страны на военный лад.

В июле и августе германское информационное бюро от имени верховного германского командования не раз оповещало весь мир о том, что вооруженных сил Советского Союза больше не существует, что на полях сражений израсходованы все его людские и технические резервы. Между тем в начале октября германская армия оказалась перед необходимостью проведения нового стратегического этапа своих операций, ставя перед собой все те же старые цели — поражение основных сил Красной Армии и овладение тремя решающими районами — Ленинградом, Москвой и Днепским бассейном, с примыкающим к нему районом Ростова-на-Дону.

В октябре, выполняя задачи данного этапа военных операций, германские войска снова перешли в наступление по всему фронту. Гитлеровское командование не скрывало того, что этому наступлению на этот раз оно придает действительно решающее значение, что для его подготовки сделано все, что «возможно в человеческих силах». В приказе Гитлера, опубликованном в день наступления, говорилось: «За несколько недель три самых основных промышленных района большевиков будут полностью в наших руках. Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Все приготовления, насколько это возможно для людских усилий, уже окончены. На этот раз планомерно, шаг за шагом, шли приготовления, чтобы привести противника в такое положение, в котором мы можем теперь нанести ему смертельный удар. Сегодня начинается последнее большое, решаю-

щее сражение этого года». Через 48 часов после начала наступления германское командование официально сообщило: «Враг уже разбит и никогда больше не восстановит своих сил».

В действительности германским войскам снова удалось продвинуться вперед, но силы их уже были подорваны. И в конце октября германское наступление было остановлено под Москвой, Калинин и Тулой. В ноябре германским армиям потребовалась новая операция под Москвой, связанная с подтягиванием сюда всех лучших сил германской армии. В этом наступлении гитлеровцы задавались уже одной целью — занять Москву до наступления зимы, во что бы то ни стало.

В приказе своим генералам, действующим на восточном фронте, Гитлер в этот период писал:

«Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделиться со столицей Москвой».

В дни, когда Красная Армия нанесла первый удар, разбив под Ростовом-на-Дону механизированную армию генерала Клейста, германское информационное бюро, стремясь смягчить впечатление от этой неудачи, сообщало, что германские военные круги «рассматривают Москву, как свою основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести центр тяжести военных операций в другое место».

В борьбе под Москвой в ноябрьские и декабрьские дни 1941 года обозначился и оформился перелом в ходе войны.

В битве за Москву гитлеровская армия потерпела поражение. В этой битве германские войска оказались истощенными, без резервов, с громадным растянутым и плохо устроенным тылом. Красная Армия, истощив лучшие силы германских войск в борьбе на подмосковных рубежах, ввела в дело новые резервы, созданные внутри страны, и отбросила врага далеко от подступов к столице. Германские «плечи», которыми с севера и с юга предполагалось охва-

тить Москву, оказались в свою очередь под концентрическими охватывающими ударами резервных группировок советских войск, бесцельно разжались и, изуродованные, обескровленные, были отброшены обратно».

В ходе боев за Москву совершенно отчетливо выступила вся стратегия Красной Армии. Советские войска первоначально оказались вынужденными отступать. Но отступая, они изматывали и обескровливали силы своего противника, подготавливая тем самым перелом во всем ходе войны. В глубине страны создавались новые многочисленные резервы. Эти два обстоятельства и повернули ход операций в пользу советских войск.

Германская армия, как зарвавшийся игрок, почти все поставила на первоначальный удар и последующее безудержное движение вперед. В решительную минуту она оказалась обесцельной, без резервов и вынуждена была уступить инициативу Красной Армии.

В этом повороте событий оказались, с одной стороны, хвастливое и авантюристическое руководство германского командования, не обеспечившего действий своих войск; с другой стороны — мудрое, дальновидное руководство ходом борьбы, шедшее со стороны верховного командования Красной Армии, возглавляемого великим полководцем нашего времени, вождем народов Советского Союза товарищем Сталиным.

Этот поворот событий товарищ Сталин предвидел и подготовлял его шаг за шагом с первых дней войны. В речи 3 июля 1941 года товарищ Сталин указывал на то, что своим внезапным разбойничьим нападением фашистская Германия «добилась некоторого выигранного положения для своих войск в течение короткого срока». Однако, тут же товарищ Сталин предупреждал, что, получив эти выгоды, Германия зато «проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора». «Не может быть сомнения, — говорил товарищ Сталин, — что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР

является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией».

Это гениальное предвидение товарищем Сталиным дальнейшего развития войны полностью сбылось в декабрьских боях под Москвой.

Операции первого периода войны показали, что страна с большой территорией, располагающая большими ресурсами для борьбы и неиссякаемой волей к сопротивлению, способна выдержать удар самой мощной современной армии и в ходе войны повернуть ход событий в свою пользу.

В этот период войны выступили со всей силой отрицательные стороны германской системы ведения операций. Стремительные глубокие удары — с полным пренебрежением к сопротивляемости своего противника — вели к выигрышу германскими войсками территорий, но зато сопровождалась жесточайшими потерями Германии в живой силе и технике.

За первые четыре месяца войны потери советских армий составили около одного миллиона семисот пятидесяти тысяч человек, — потери германской армии превышали четыре с половиной миллиона человек. В свете этих цифр военное искусство германского командования выглядит весьма посредственным. Потери не оправдывают достигнутых результатов. Такие победы в истории известны под названием «пирровых побед».

В малых войнах и краткосрочных кампаниях, проведенных германской армией против других государств, не проявились еще отрицательные стороны ее системы ведения войны, но они отчетливо выступили в большой войне против Советского Союза. Авантюра в области политики вызвала авантюризм в области стратегии и тактики ведения войны.

Перелом в войне, наступивший в битве под Москвой и закрепленный почти одновременными успехами советских войск под Ростовом, Ельцом, Тихвином и на других участках фронта, не был ни делом случайности, ни тем более каким-либо

«чудом». Он вырос из самой системы ведения войны Советской страной, из системы руководства операциями со стороны Верховного командования Красной Армии. Он был последовательно подготовлен всем предшествующим ходом событий.

Не было случайностью и неожиданностью и развитие событий в первом периоде советско-германской войны, связанное с тяжелыми оборонительными боями советских войск. Этот характер событий вытекал из всех объективных условий, которые сложились для советской и германской армий летом прошлого года. Удар германских войск был внезапным. Наносящие этот удар войска численно превосходили те силы, какие Красная Армия имела в пограничных районах.

Однако условия, давшие Германии возможность нанести удар внезапно и достигнуть временного численного превосходства на полях сражений, не были подготовлены только обстановкой лета прошлого года. Эти возможности для Германии были созданы ее легкими победами в прошлых кампаниях и мобилизацией в процессе этих кампаний всех вооруженных сил Германии, всей ее военной и невоенной промышленности с использованием для борьбы против СССР не только ресурсов оккупированных стран, но и армий гитлеровских вассалов.

К началу войны с Советским Союзом Германия была агрессивным воюющим государством с уже отмобилизованной и готовой для удара армией. Советский же Союз вел политику мира, и численность его армии определялась потребностями государства, находящегося в мире со своими соседями. — Поэтому в начале войны Советский Союз нуждался во времени, чтобы привести в движение все свои силы. В этих условиях оборонительный этап борьбы для Советской страны был неизбежен, но он ни в какой мере, конечно, не мог предопределять исхода этой борьбы.

* * *

То обстоятельство, что война вступила во второй период, что инициатива была вырвана из рук германской

армии, не сразу дошло до сознания германского командования. Неудачу под Ростовом германское командование хотело компенсировать достижением победы под Москвой. А когда и под Москвой германские армии вынуждены были покатиться назад, германские войска не смогли ответить каким-либо крупным маневром.

В приказе от 3 января Гитлер писал:

«Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты — вот чего требует текущий момент. Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в опорный пункт, сдачу его не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником».

Этот приказ должен был знаменовать собой упорство обороны германской армии, под прикрытием которой германские войска должны были привести себя в порядок зимой, пополниться, чтобы, по расчетам Гитлера, начать новые решающие операции «весной».

Но на деле эти расчеты германского командования не оправдались.

После начала отхода германских частей от Москвы, Калинина, Тулы, Ростова задачей советских войск стало: отжать врага возможно дальше на запад, не дать ему закрепиться на оборонительных рубежах, снова изматывать его и заставлять непрерывно вводить в дело те резервы, которые предназначались для «весеннего наступления».

События показали, что эта задача успешно решена советскими войсками. Германские войска оказались отброшенными в период зимней кампании и весной 1942 года на четыреста и более километров по сравнению с той линией фронта, какой они достигли к декабрю прошлого года.

Цепляние за каждый населенный пункт не принесло ожидаемых результатов. Гарнизоны в окруженных населенных пунктах истреблялись советскими войсками. Упорствующие в обороне, иногда без всякой нужды, крупные германские соединения при последующем запоздалом отходе несли жестокие потери. Выведенные в резерв войска

снова вводились в бой для затыкания разрывов, образованных ударами советских армий.

В итоге к весне фронт германской армии оказался причудливо изломанным, трудным для обороны и неудобным для крупных наступательных действий. Но самое главное и основное — потери германских войск снова достигли ужасающих размеров.

Выполняя приказ «фюрера» об упорстве в обороне, германские армии расплатились за это миллионы новых жизней: за последние восемь месяцев первого года войны потери германской армии составили свыше пяти с половиной миллионов человек, потери советских войск — около двух миллионов восьмисот тысяч человек.

Советские войска несли почти вдвое меньшие потери при оборонительных боях, благодаря авантюризму германского наступления. В наступательных операциях их потери снова оказались почти вдвое меньше потерь германской армии, благодаря авантюризму и упорству германской обороны. Таким оказалось военное искусство германского командования во второй период войны.

* * *

Во втором периоде войны германская армия уже выглядит не той, какой она была раньше. Изменился состав рядовых солдат, унтер-офицеров, офицеров и генералов германской армии. Ее кадры все более исполнялись малообученным составом. Одновременно изменилось и качество советских войск: они увеличивались численно, приобрели боевой опыт, практические навыки войны. В этом закон всякой войны, в которой действуют постоянные факторы и которую нападающей стороне не удается выиграть одним ударом, опираясь на внезапность этого удара и большую готовность своей армии.

О Красной Армии в речи 6 ноября прошлого года товарищ Сталин говорил: «Конечно, наша армия и наш флот еще молоды, они воюют всего четыре месяца, они еще не успели стать вполне кадровыми, тогда как они имеют перед собой кадровый

флот и кадровую армию немцев, ведущих войну уже два года». Говорил о перспективах войны, товарищ Сталин тогда уже указал, что «в огне отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу немецкой армии». Прошло еще полгода войны, и товарищ Сталин в приказе от 1 мая констатировал:

«Красная Армия стала организованнее и сильнее, ее офицерские кадры закалялись в боях, а ее генералы стали опытнее и прозорливее. Произошел перелом так же в рядовом составе Красной Армии. Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы отечественной войны... Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души».

Когда германские войска откатывались под ударами Красной Армии под Москвой, Ростовом-на-Дону, под Калинин, Тихвином и на ряде других важнейших участков, Гитлер, успокаивая население Германии, обещал начать новое решающее наступление на советско-германском фронте весной 1942 года.

Весна прошла, этого наступления не последовало. В мае германская армия начала наступление в Крыму под Севастополем и Керчью. На узком Керченском полуострове германским войскам удалось сосредоточить подавляющие численно силы. В результате последовавших ожесточенных боев части Красной Армии были потеснены. Но за этот выигранный небольшой территории германские армии снова расплатились жестокими потерями. Под Севастополем бои приняли длительный характер. Несмотря на то, что сюда германское командование стянуло весьма крупные силы и ввело в дело многочисленные технические средства борьбы, наступление немецких войск натолкнулось на подготовленную, хорошо организованную оборону.

Подступы к Севастополю оказались усеянными трупами герман-

ских солдат и офицеров и изломанной, исковерканной техникой германских частей. Только благодаря подходу новых сил, давших германским войскам подавляющий численный перевес, и ценой огромных потерь, понесенных в многодневных жесточайших боях, германской армии удалось овладеть Севастополем.

Оборона Севастополя составила блестящую страницу Великой отечественной войны. Ее значение не только в беззаветном героизме защитников этого города и тех потерях, которые они нанесли фашистским войскам. Борьба за Севастополь надолго связала крупные силы германских войск, и этим отсрочила выполнение летних операций германской армии.

* * *

Лето 1942 года в развитии Великой отечественной войны оказалось характерным тем, что германская армия открыла крупные наступательные операции на южных направлениях советско-германского фронта. К этому наступлению руководящая клика фашистской Германии провела большую подготовку. Первые два периода войны жестоко обескровили германскую армию. Восполнимые потери за эти периоды в германских войсках составили не менее пяти-шести миллионов человек. Если брать данные иностранной печати о том, что к началу войны с Советским Союзом численность полевых сил германской армии определялась в семь-восемь миллионов человек, то следует прийти к выводу, что прежняя германская армия безвозвратно потеряла почти три четверти своего состава. К этому следует прибавить, что эти потери относятся, главным образом, к боевому составу германских войск, к их лучшим кадрам.

В зимний период фашистское правительство Германии для пополнения потерь и образования некоторого резерва живой силы в армии собрало, что называется, «под метелку», все остатки людских ресурсов германского народа. Из всех отраслей хозяйства, в том числе и из военной промышленности и транспорта, было изъято большое количество рабочих и служащих. В армию бы-

ли призваны полуинвалиды прошлой мировой войны. В промышленность были влиты сотни тысяч иностранных рабочих, насильно привезенных в Германию из оккупированных германскими войсками европейских стран. Ценой таких «маневров» к лету 1942 года германское командование снова увеличило численность своих вооруженных сил.

Осень и зима 1941—1942 года были связаны с огромными потерями германской армии. Только в битвах «за Москву» германская армия потеряла около трех тысяч танков. На пополнение этих потерь была мобилизована вся промышленность Германии и оккупированных ею стран. На военное производство были брошены все ресурсы, какими гитлеровская клика могла располагать как в самой Германии, так и в захваченных ею странах. В итоге германскому командованию удалось «реставрировать» свои танковые дивизии, часть авиации, артиллерию, послать в войска новые партии автоматов, минометов, пулеметов. «Под метелку» оказались собранными все запасы горючего.

Благодаря всем этим мероприятиям, обескровившим население и экономику Германии, германская армия накопила запас сил для новых наступательных операций.

В июне германские войска начали эти операции сначала на Харьковском, затем на Курско-Воронежском, Белгородском и Волчанском направлениях.

Как внутреннее положение Германии, так и вся международная обстановка требовали от фашистских правителей сдержать свое «обещание» о новых «решающих» операциях летом 1942 года.

Однако наступление на Курско-Воронежском направлении и южное, начатое в июне и июле, сразу же показали, что планы 1942 года у германского командования являются иными, чем это было в 1941 году. Планы новых операций исходили из явного признания затяжного характера войны. В результате упорного сопротивления советских войск на предшествующих этапах германское командование вынуждено было отказаться от мысли вывести из строя Красную Армию одним новым, «решающим» ударом. Вместо прошло-

годних одновременных наступлений по всему фронту, германское командование оказалось вынужденным организовать наступление лишь на части этого фронта и поставить новые стратегические задачи перед наступающими войсками.

Сущность этих задач сводится к тому, чтобы улучшить стратегическое положение Германии для дальнейшего ведения войны и резко ухудшить в этом отношении положение Советского Союза. Немецко-фашистские захватчики нацелились на южные и юго-восточные районы, чтобы захватить здесь хлебные запасы и получить доступ к различным видам сырья, которыми не располагает фашистская Германия. Новые захваченные районы фашистской клики Германии нужны и для того, чтобы поддержать падающий дух германской армии, вселить в население Германии надежды на возможность успешного окончания войны. Они нужны им и для того, чтобы обескровить Советскую страну, лишить ее хлебных запасов, топлива, оторвать от нее важные в военном и экономическом отношениях обширные области.

В июньско-июльских боях немецко-фашистским войскам благодаря сосредоточенной массе сил и средств вновь удалось потеснить части Красной Армии. Они подошли к району Воронежа, овладели Ростовом, переправились через Дон, создали угрозу Сталинграду, вторглись на Северный Кавказ. Дальнейшее продвижение германских войск на этих направлениях представляет новые опасности для нашей страны. Продвижение германских частей на этих направлениях говорит о том, что германская армия еще не потеряла боеспособности, что ее кадры истреблены еще не полностью, что фашистские правители еще держат в повиновении солдатские массы, в том числе и новые пополнения, прибывшие из Германии. Германское командование еще имеет возможность маневрировать своими войсками, собирая их крупными массами на направлениях намеченных ударов.

Новые успехи фашистских войск говорят о том, что без самой беспощадной, самой жестокой борьбы, без полного напряжения всех сил и средств, какими располагает наша

страна, победа над врагом не может быть достигнута.

Однако продвижение германских войск в сторону Дона говорит не только о том, что германская армия способна еще на сильные удары. Оно подтверждает, прежде всего, вывод о том, что, по сравнению с летом 1941 года, война идет в новых условиях. Несмотря на полученные новые успехи, быстрота продвижения германских войск несравнима с начальным периодом войны. Сопротивление Красной Армии неизмеримо организованнее и упорнее, чем летом прошлого года. Поэтому германское командование каждый километр нового продвижения оплачивает жесточайшими потерями, превышающими потери прошлых годов боев.

Фашистская Германия создала мощную военную машину, эта машина была разболтана и расшатана героическим сопротивлением Красной Армии на первых этапах войны, но и сейчас еще она представляет собой большую силу.

Германский империализм ведет захватнические войны. Чем тяжелее будет положение фашистской Германии, чем бесперспективнее будет для нее дальнейшее продолжение войны, тем отчаяннее будут попытки германских войск наступать дальше. Выхода из создавшейся обстановки фашистская Германия может искать только в новых авантюрах. Для этого германское командование не пожалеет сил своей армии.

Эти попытки прекратятся только тогда, когда будут полностью обескровлены вооруженные силы Германии. Чем упорнее будет наше сопротивление, чем больше потерь будут нести наступающие германские войска, тем скорее наступит момент, когда, выдохнувшись в своем наступательном порыве, орды немецко-фашистских захватчиков покатытся обратно.

Германская армия летом 1942 г. не располагает силами для одновременного наступления на всем фронте. Она маневрирует резервами, собирая их в ударные группы на отдельных участках фронта, добываясь здесь частичного превосходства в силах. Формирование этих групп поглощает сколоченные ценой огромных усилий и напряжения германские резервы. Истребление этих групп будет озна-

чать лишение германских войск возможности вести крупные наступательные действия и на отдельных участках фронта.

Ход и продолжительность войны зависят от успешности решения именно этой задачи.

Германское командование, собрав все запасы людской силы и технических средств, бросило их для наступления на советский юг, чтоб захватом наших южных районов облегчить внутреннее положение Германии и поддержать свой пошатнувшийся престиж. Крушение этих планов будет означать крушение всех перспектив германской армии на дальнейшее ведение войны. Напрягая последние силы, враг ворвался в жизненно важные районы юга и юго-востока нашей страны. Он будет рваться дальше, чтобы добиться поставленных в этом году целей. Свои тяжелые потери он хочет окупить тем ущербом, который его наступление должно причинить нашей стране. Борьба на юге вступила в такой период, когда чрезвычайное значение приобрело удержание каждой занятой позиции, каждого населенного пункта. Враг должен быть задержан и обескровлен раньше, чем он сможет еще продвинуться вперед. Эта задача весьма важна для Красной Армии. Она, во всяком случае, менее трудна, чем задача, стоявшая перед Красной Армией летом прошлого года, — остановить натиск внезапно напавшей на всем фронте свежей кадровой армии Германии.

Необходимо, чтобы упорство борьбы Красной Армии на линии фронта росло изо дня в день и чтобы в тылу продолжалась неослабевающая работа по подготовке новых людских и материальных резервов для окончательного разгрома зарвавшихся немецко-фашистских орд.

В этом — путь к полной победе над страшным и коварным врагом.

Победа будет за нашей страной, но она не может быть достигнута без самой жестокой, самой упорной борьбы. Только прямое физическое истребление немецко-фашистских войск даст эту победу. На юге действуют лучшие части германской армии. Задержать, обескровить, а затем и отбросить их — это значит обречь на катастрофу всю германскую армию.

М. ЗАМЕНГОФ

РАСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ БЕНИТО МУССОЛИНИ

«Предоставьте мне возможность действовать в течение пяти или десяти лет, и Италия будет богатой и процветающей», — заявлял Муссолини в октябре 1924 г. Это было на заре фашистского господства на Аппенинском полуострове: исполнилось два года «похода на Рим». Муссолини тогда опирался не только на поддержку крупнейших монопольных трестов. Безудержной демагогией ему удалось увлечь за собой и некоторую часть молодежи, выбитой из нормальной колеи войной, экономическим военным кризисом и безработицей, увлечь известное число рабочих, потерявших связь с рабочим классом, остававшихся без дела и развращенных соблазнами больших городов. «Дуче» обещал крестьянству землю, армии — славу. Муссолини подкупал горячие головы романтикой далеких авантур. Ореол пророка «великой Италии» витал над руководителем итальянской фашистской партии. Эти лозунги не остались без влияния и на некоторые круги итальянской, в особенности служилой, интеллигенции.

Началась безудержная милитаристическая пропаганда. «Мы должны стать нацией военной, милитаристической, более того — воинственной!» — кричал Муссолини. «Дуче» создавал отряды чернорубашечников, которые должны были явиться ферментом военизации итальянского народа. Он не упускал случая заявлять об «исторических» задачах Италии, о «наследии Рима», о «Новой римской империи». Муссолини искал случаев проявить «военную мощь фашистской Италии» — разумеется, в отно-

шении неизмеримо слабейших противников. Муссолини провоцирует столкновения на абиссинской границе, чтобы создать хотя бы видимость повода для нападения на небольшую миролюбивую страну. Он «побеждает» Албанию, государство с населением в сорок пять раз меньшим, чем население Италии. И каждый раз он становится в воинственную позу, каждый раз он угрожает, каждый раз он стремится стать главным актером на мировой сцене.

Когда Муссолини готовил нападение на Абиссинию, он был настроен весьма «решительно»: ведь воевать придется всего лишь против маленького государства, не имеющего по существу ни регулярной армии, ни современного вооружения. Казалось бы, хвастать особенно нечем. Но «дуче» пыжится: «Если Абиссиния посмеет сопротивляться нашей страшной силе, то мы ее предадим огню и мечу. У вас будет, — заявляет Муссолини, обращаясь к чернорубашечникам, — ужасное оружие, чего никто в мире не подозревает. Не много времени пройдет, и пять континентов, содрогнувшись, преклонятся перед фашистской силой». Известно, с каким трудом, лишь применив газовую войну, удалось Муссолини, после девятилетней войны, временно захватить некоторые жизненные центры Абиссинии.

Проходит три года. Муссолини вновь ищет слабейшего противника. Фашистская Германия разжигает пожар мировой войны. Удар по Франции выводит ее из строя. Французские армии отступают на юг; за ку-

лисами французского правительства разыгрывается трагический фарс, приведший к тому, что правители Франции, «дав себя запугать призраком революции, с перепугу положили под ноги Гитлера свою родину, отказавшись от сопротивления» (Сталин).

Муссолини кажется, что он удачно выбрал момент, чтобы без риска — во всяком случае без мало-мальски большого риска — вступить в войну. И за семь дней до капитуляции Петэна «луче» выступает на стороне гитлеровской Германии.

Конечно, теперь Муссолини может сколько угодно говорить, что «история взяла Италию за горло», что фашистская Италия ведет «оборонительную» войну. Но, выступая 10 июля 1940 года, в день объявления войны Франции и Англии, Муссолини был настроен более решительно. «Италия берет в свои руки оружие для того, чтобы разрешить проблему континентальной и морской грани», — заявлял он. Ему мерещились новые территории в Европе, новые приобретения в Африке, быть может — в Азии.

Муссолини рассчитывал на легкую и молниеносную войну. «Истина состоит в том, — писала год тому назад швейцарская газета «Журналь де Женев», — что Италия вступила в войну потому, что она рассчитывала на ее быстрое окончание. Итальянское правительство пошло на разрыв с Францией лишь тогда, когда итальянский посол в Париже, проникнув о характере пессимистического доклада, который генерал Вейган направил Рейно, сообщил об этом в Рим. После разгрома Франции полагают, что и Англия будет в кратчайший срок выведена из строя». И дуче решает свести счеты с Великобританией. Счеты на Средиземном море, счеты в Африке.

Минуло два месяца со дня вступления Италии в войну. Наступил сентябрь 1940 года. На ливийско-египетской границе — необычайное оживление. Фашистский Мальбрук собрался в поход. Рим выступает против Британской империи. Он собирается нанести ей смертельный удар, поразить ее в самое сердце, парализовать ее жизненный нерв, захватить великую имперскую дорогу с запада на восток.

Муссолини казалось, что он все рассчитал. Франция была выдана предателями Гитлеру на поток и разграбление. Англия потеряла во Франции почти все вооружение. Британские острова, приютившие спасенные из Дюнкерка лучшие дивизии, — под угрозой вторжения. Германская авиация все усиливает свои удары. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч килограммов огня и металла, сброшенных на города Англии. Имперская армия Великобритании только начинает формироваться. Муссолини ее не принимает во внимание.

Бенито Муссолини как-то состряпал пьесу «Наполеон». Она была даже поставлена услужливыми друзьями на одной из второстепенных парижских сцен. Расходы по постановке были отнесены на счет итальянского казначейства. Дуче вспоминает, что сто сорок пять лет тому назад молодой французский генерал писал правительству Директории: «Для того, чтобы нанести настоящее поражение Англии, нам надо захватить Египет». Шакал хочет осуществить то, что не удалось завершить льву. К сорока векам, которые смотрели на grenадеров Бонапарта, Муссолини хочет прибавить еще пару столетий. Муссолини мерещатся чернорубашечники у подножья сфинкса. Дуче, диктующий в Гизехе условия мира англичанам. Лавровый венюк на голове новоявленного цезаря. Фанфары и литавры. И в те дни, когда над Англией, ее портами и промышленными центрами появляются две тысячи самолетов Геринга, трехсоттысячная армия маршала Грациани, сосредоточенная в Ливии, начинает с благословения Гитлера свой победный марш на восток.

Но Муссолини — Гитлер просчитались. «Все переопенивали, — пишет «Журналь де Женев», — способность Франции к сопротивлению, но в то же время недооценили британского упорства. Некоторые германские круги считали, что английский народ не устоит перед массированными и непрестанными воздушными бомбардировками. Италия разделяла эту иллюзию. Италия полагала, что на ее долю выпало вести войну против государства, находящегося накануне распада; сегодня она увидела, что натолкнулась на державу, которая,

согласно своим дурным обычаям, приступает к подготовке войны лишь после ее объявления, но, оправившись от первого удара, в состоянии вести ее долго и при помощи непрестанно возрастающих средств».

В первый момент передовые части англичан подаются под численным превосходством врага. В пять дней итальянцы проходят сто километров. Захвачены Соллум и Сиди-Баррани. Рим рассылает победные релиции. Всем, всем, всем. Впереди — Александрия и Порт-Саид, Суэц и Красное море, плодородная долина Нила. Фашистские генералы грезят об отдыхе в тени пирамид.

Но молодые и еще плохо обученные войска Британской империи сумели сдержать натиск моторизованных частей Грациани. И не только отбить их атаки, но и превратить борьбу за Египет в борьбу за Ливию. Муссолини от нападения очень быстро пришлось перейти к обороне. В результате контрнаступления англичан армия Грациани перестала существовать. Вместо пирамид пленные итальянцы увидели трюм парохода, перевозившего их в далекую Индию.

Муссолини проиграл ливийскую кампанию 1940 года, как он проиграл и войну в Восточной Африке, потеряв Абиссинию, Эритрею и Сомали, как он проиграл и войну в Греции. Лишь помощь танковых дивизий генерала Роммеля помогла превратить битву за Ливию в затяжную войну; лишь вторжение германских войск в Югославию и Грецию спасло итальянскую армию от полного разгрома в горах Албании.

Вначале Муссолини рассчитывал на слабость своих противников — на слабость разгромленной в непродолжительной войне Франции, на недостаточные ресурсы и резервы Греции, на неподготовленность Великобритании. Но затем «исходная точка» римского диктатора под влиянием событий на фронтах и тяжелых потерь итальянцев изменилась. Он стал ставить ставку на мощь немецко-фашистской армии. В речи, произнесенной им 23 февраля 1941 года на собрании чернорубашечников, когда, оправдываясь, Муссолини перечислял огромное количество оружия, посланного в Африку, он особый раздал отвел восхвалению Гитлера и

гитлеровских сил. В десяти пунктах — десяти новых заповедях фашистской военной политики — он восхвалял заслуги Гитлера, воспеивал непобедимость «гитлеровской армии», «высокую мораль» войск и тыла государств «оси» и т. д.

Лакей хвалил своего хозяина. Чувствуя, что почва колеблется у него под ногами, Муссолини козырял «непобедимостью германской армии», стремясь подкрепить свои позиции на внутреннем итальянском фронте «дружбой» между Италией и Германией. А через четыре месяца, продолжая ставить на ту же крапленую карту, Муссолини по приказу своего берлинского хозяина объявил войну Советскому Союзу.

«Дуче» пришлось убедиться в том, что его ставка на мощь германской армии, на слабость нашей страны оказалась битой. То обстоятельство, что бывшие в числе наступающих на юг армий «оси» итальянские дивизии были с уроном отброшены от Ростова, было, конечно, неприятно Муссолини, но не очень его удивило: он привык, что его бьют. Но разгром гитлеровских армий под Москвой, растущие удары, которые Красная Армия наносит немецко-фашистским войскам на всем советско-германском фронте, явились тяжелым ударом и по планам и расчетам дуче. Муссолини пришлось убедиться в том, что он вновь просчитался. Так один просчет следовал за другим.

«В основе итальянских испытаний, — писала «Журнал де Женев», — лежит неправильный политический расчет». А за неправильные расчеты платятся не только отдельные люди, — расплачиваются режимы, расплачиваются страны, расплачиваются государства. И уже сейчас и Муссолини, и фашистский режим дорого заплатили — а расплата лишь только начинается — за просчеты фашистских заправил и в особенности за «помощь» со стороны немцев. Ллейланд Стоу, один из известных американских иностранных обозревателей, писал в журнале «Каррент хистори», что «для Муссолини и итальянского фашизма положение решающим образом изменилось с октября 1940 года. Муссолини проиграл две войны. Он потерял свое «лицо»... исключая выдвинутый вперед подбородок. Итальянский народ и итальян-

ский солдат поняли, что «дуче» совершил много грубых ошибок. Многие итальянцы впервые увидели, что Муссолини — это соломенное чучело, осужденное впредь делать то, что ему приплет Гитлер. Череда военных авантюр и просчеты «дуче» превратили фашистскую Италию в полного вассала и данника гитлеровской Германии. Превратили ее экономически, превратили в военном отношении, превратили ее в отношении внешнеполитическом.

Корреспондент газеты «Чикаго дейли ньюс», недавно вернувшийся из Центральной Европы, пишет, что положение Италии мало чем отличается сейчас от положения оккупированной страны. А Италия оккупирована немцами в подлинном смысле слова.

В Италию постепенно прибывают немецкие войска. Через тот самый Бреннер, который до мировой войны притягивал к себе жадные взоры итальянских ревизионистов, через тот самый Бреннер, который стал излюбленным местом для свиданий «фюрера» и «дуче», стали спускаться в Ломбардию гитлеровские отряды и, как чума, распространяться по всей Италии. В крае, где сладостный ветер под небом лазоревым веет, где скромная мирта и лавр горделивый растут, расположились в походном порядке эсэсовцы. Их много, быть может триста — четыреста тысяч. Достаточно указать, что в одном лишь Риме находится восемьдесят пять тысяч немцев. Они расположились на постой во всех промышленных центрах, оккупировали Сицилию, захватили в свои руки Милан и Неаполь; чувствуют себя, как в завоеванном крае. Английская газета «Ньюс кроникл» пишет, что «Италия управляется уже не Муссолини, а германским послом в Риме фон Макензеном, который посещает Муссолини каждый день в 11 часов утра. Затем личный секретарь Муссолини передает итальянским министрам требования Макензена. Немецкие фашисты взяли в свои руки все железнодорожные узлы на Аппенинском полуострове. 8000 немецких специалистов управляют всеми крупными рудниками и заводами» и т. д.

Гитлер выжимает из Италии квалифицированную рабочую силу: пятьсот тысяч итальянцев отправлено на фабрично-заводскую работу в фа-

шистскую Германию. Гитлер выжимает из Италии пушечное мясо: он требует отправки на советско-германский фронт все новых итальянских подкреплений. Гитлер захватывает итальянский флот (вернее, ту его половину, которая осталась на поверхности моря после тяжелых уронов, понесенных им в столкновениях с англичанами): он требует, чтобы итальянские военные корабли были переданы в распоряжение германских морских офицеров; в район Средиземного моря направлены германские штабные, артиллерийские офицеры и офицеры других служб, которые должны находиться на всех итальянских кораблях, вплоть до эсминцев и подводных лодок.

Выступая в сентябре прошлого года в палате представителей США, лидер демократов Мак Кормак заявил, что «Италия в настоящее время превратилась в обыкновенную германскую провинцию». Под видом «координации германской и итальянской экономики» фактически осуществляется гитлеровский контроль над всей экономической жизнью Италии. Это Берлин устанавливает размеры площадей для отдельных сельскохозяйственных культур. Это Берлин предписывает цены на продовольствие и сырье. Это Берлин определяет, какие товары должна вырабатывать итальянская промышленность. Это Берлин решает, куда Италия должна вывозить свой товар.

Впрочем, вывозит она их в ту же гитлеровскую Германию, куда Муссолини вывозит итальянскую молодежь и квалифицированных рабочих. Немцы, — пишет «Чикаго дейли ньюс» — реквизируют в Италии продовольственные и другие товары. Страна оказалась в крайне тяжелом экономическом положении. Промышленность чрезвычайно страдает от недостатка угля, так как немцы не выполняют своих обязательств по его поставке.

Население Италии голодает. Весной этого года суточный хлебный паек, составлявший 200 граммов, был снижен до 150 граммов.

Весьма осведомленная американская газета «Крисчен Сейенс Монитор» пишет, что «Италия переживает ныне состояние экономического банкротства. Она испытывает нехватку во всех важнейших видах сырья.

Жажда славы привела к тому, что Муссолини растратил значительную часть золотых запасов итальянского казначейства... Муссолини так разрушил экономику фашистской империи, что он даже не способен оплачивать военные материалы, присылаемые из Германии». Таковы, по словам автора, итоги хозяйничанья Муссолини и итало-германской «дружбы».

О том же говорил и английский «Таймс» в статье, подводившей итоги полуторагодичного участия фашистской Италии в войне. В результате полугода лет войны, — пишет газета, — Италия потеряла 250 тысяч пленными, полмиллиона итальянцев отправлено на работы в Германию, а еще 500 тысяч человек занимаются отвратительным делом подавления греческих и югославских патриотов.

На родине итальянский народ переживает голодную и холодную зиму. Товары широкого потребления невозможно достать, и все они отличаются негодным качеством. Произвольные нормы сокращены до минимума. Даже военная промышленность вынуждена свертывать свою работу вследствие острого недостатка сырья и рабочей силы. Государственные расходы возросли вчетверо. Очень многим семьям приходится оплакивать убитых и раненых, причем подлинное число их властями тщательно скрывается.

Все эти страдания и лишения, — пишет «Таймс», — ни в какой степени не были компенсированы военными успехами. Италия требовала пересмотра границ колониальных владений; этот пересмотр действительно состоялся, но далеко не в пользу Италии.

Итальянский народ неоднократно выражал свое недовольство и протесты против фашистского режима. То тут, то там вспыхивают волнения. Объявляют забастовку горняки Аосты, рабочие Милана и Турина; демонстрируют женщины Неаполя и Генуи. Но Муссолини рассчитывал, что, опираясь на армию и фашистскую милицию, ему удастся подавить эти знаменательные, но разрозненные выступления. Ныне «дуче» приходится убеждаться в том, что его подлика, и в особенности передача страны в полное распоряжение Гитлера, вызвала оппозицию и в ря-

дах самой фашистской партии и в рядах армии.

Ему приходится сменять секретарей фашистской партии, увольнять в отставку генералов и маршалов, сменять начальников генерального штаба. С тревогой прислушивается Муссолини к вестям, идущим из Сицилии, захваченной немцами, из Сардинии, из Южной Италии. Муссолини собрал недавно столичных и провинциальных главварей организации фашистской партии. В зачитанных на этом собрании инструкциях говорится, что перед всеми членами фашистской партии поставлена задача «подготовить итальянский народ к любым испытаниям» и «вселить в него решимость поддерживать неразрывный союз с союзником по оси». Вновь назначенный секретарь фашистской партии Видуссоли заклинал присутствующих «остаться верными Муссолини».

Все это сегодня уже не может спасти итальянский фашизм от неминуемого краха. В Италии, — как пишет бернский корреспондент шведской газеты «Стокгольме экстраблат», — «нарастает резкая оппозиция против фашистских правителей. Поражения в Абиссинии и Ливии резко отразились на настроении народа. Особенно сильны антигерманские настроения в Неаполе, который чаще других городов подвергается английским воздушным налетам. Военные круги довольно открыто высказываются против Муссолини».

Эрнеста Писко пишет в «Крисчен Сайенс Монитор», что «итальянский народ никогда еще так решительно не выражал свое настроение против войны. Он считает, что фашизм является главным виновником участия Италии в войне. Итальянские власти постоянно убеждаются в том, что эти антивоенные настроения могут вылиться в открытый бунт против фашизма». Приближается час, когда Муссолини придется держать ответ перед итальянским народом, перед итальянскими рабочими и крестьянами, перед матерями и женами итальянских солдат, брошенных на поля сражений в угоду военным авантюрам итальянского фашизма. Придется держать ответ за огромные потери последних шести лет, за неудачную политику, за полное подчинение страны Гитлеру.

С. Маршак

НАШ ГОРЬКИЙ

От Байдарских ворот, где на ровной площадке над крутизной стоит церковь, которая издали кажется игрушечной, автомобиль наш спускается, почти обрушивается вниз по извилистой дороге, ведущей к приморским садам и дачам.

Там, на одной из тропинок парка, подходящего к самому морю, или в старинном каменном доме встречается сейчас раннее солнечное утро Горький. В это время он готовится к работе. Может быть, вышел на минуту в парк и, обдумывая что-то, деловито сгребает палкой прошлогодние листья у дома, а может быть, уже садится в кабинете за широкий стол, разбирая хозяйской рукой стопы исписанной и чистой бумаги.

Скоро мы увидим его — высокого, рыжеусого, в знакомом сером костюме, который всегда сидит на нем просторно и ладно. Услышим его тихий, мягкий голос, глуховатое покашливание. Он выйдет к нам своей почти неслышной походкой и встретит нас так, будто мы расстались только вчера.

— Вот тут мне человек один пишет из Сибири...

Или:

— Есть у меня для вас одна неплохая тема.

Теперь это морское побережье, на котором провел последнюю свою зиму и весну Алексей Максимович Горький, захвачено фашистами. Нестерпимо больно думать о том, что они хозяйничают в комнатах, где жил такой умной, такой сосредоточенной жизнью наш Горький, великий друг человечества, непримиримый враг фашизма.

Этот дом должен быть и будет скоро освобожден, как освобождена Ясная Поляна и домик в Клину...

Здесь я видел Горького в последний раз.

Автомобиль наш замедлил ход, шины его уже шуршат по гравию горьковского сада. Мы приехали. Услышав гудки автомобиля, Алексей Максимович выходит нам навстречу. Улыбающийся, оживленный, как будто даже помолодевший.

— Вот и отлично, отлично, что приехали!

Для каждого, кто приезжает сюда, у Горького отдельный разговор, особая тема. С историком Минцем он — историк гражданской войны, со Всеволодом Ивановым он — беллетрист, внимательно следящий за каждой новой страницей прозы в последнем номере журнала, со мной он — собиратель и ревнитель детской литературы, знаток сказок и присказок, педагог, неустанно думающий о том, что можно и должно сделать для воспитания детей нашей страны.

Разнообразными и широкими были интересы этого человека, и, однако, в нем не было ничего любительского, дилетантского. То, о чем он говорил, он знал досконально, подробно, из настоящих, проверенных источников.

Но лучше всего он знал свою страну. Годами, десятилетиями своим личным и книжным опытом углублял он и расширял это удивительное поэтическое знание родины.

Нужно было очень горячо любить ее, чтобы так бережно хранить в памяти особенности говора разных областей и краев, разные варианты

народных песен и сказок, для того чтобы помнить, где какие кружева плетут, где какие сыры варят или «бьют баклуши», то есть делают заготовки для деревянных ложек. Он знал, где растет у нас та или иная порода дерева, где какая водится птица, где из чего и на какой лад строят дома.

Он знал, что слово «культура» имеет, кроме общего смысла, еще какой-то простой конкретный, частный, но очень важный смысл.

Он уважал всех тех, кто заботился о развитии, улучшении, культуре своего дела. Среди его постоянных корреспондентов и старых приятелей были и библиотекари-коллекционеры, и тонкие мастера-кустари, и врачи, заведующие в глуши больницами, и областные архитекторы, и опытные-самоучки, занимающиеся в одиночку, где-нибудь в захолустье, научными изысканиями и изобретениями. Он знал и любил провинциальных, областных писателей — прежних и нынешних — и до конца своих дней оставался как бы полномочным представителем их в столице.

Он чудесно рассказывал о характерных, своеобразных местных людях, незаслуженно забытых. С каким-то особым удовольствием цитировал он никому неизвестные стихи нижегородского поэта Граве, который себя не пожалел, чтобы только уколоть каких-то своих принципиальных противников, насколько мне помнится, — Авилова и Обтяжнова.

Привожу стихи Граве по памяти:

Даже в сонме дураков
Первым быть не в праве:
Есть Авилон, Обтяжнов,
А потом уж Граве.

Жаль, что целые галереи портретов, возникавших в устных рассказах Горького, пропали. Горький не любил, когда во время его рассказа кто-нибудь брался за карандаш и принимался записывать.

Если бы эти литературные портреты сохранились, они составили бы еще несколько замечательных томов в Горьковском собрании сочинений. Устные рассказы Горького, так же как и написанные, посвящены человеку в самом патетическом значении этого слова и в самом бытовом.

Горький много и часто жил за границей, но трудно было найти человека более русского и по характеру, и по привычкам, и по складу дарования, и даже по тому огромному интересу к чужим странам, к чужой культуре, который всегда был присущ ему, как и всем передовым русским людям.

Еще задолго до первого своего выезда в чужие края, в те времена, когда он еще и мечтать не мог о заграничном путешествии, он уже имел основательное представление о Франции, Англии, Италии, Америке, насколько можно было с ними познакомиться по книжным запасам хорошей провинциальной библиотеки.

А потом, когда ему привелось увидеть страны, о которых он столько читал с юности, он ознакомился с ними не как турист, не как временный посетитель чужестранец.

В Неаполе он мог бы быть одним из лучших проводников по музею, по городу, по окрестностям. Немногие из коренных неаполитанцев так хорошо знали историю своего города, воплощенную в старинных стенах, в маленьких площадях и узких, точно щель, улочках, как знал все это синьор «Массим Горжи».

И так же, как по чужому городу, свободно странствовал он по чужим литературам. Он смуглил поэта Рильке, назвав ему нескольких немецких поэтов, о которых тот и не слышал, удивил и растрогал Роллана знакомством со старой провансальской поэзией.

И все, что знал Горький, он знал не только про себя и для себя.

Ему хотелось, чтобы просторный мир, который открылся ему, был открыт миллионам.

Когда-то еще совсем молодым человеком, он со своими домочадцами вырезывал из журналов интересные картинки — портреты людей, разнообразные пейзажи, виды городов, изображения редкостных зверей — и наклеивал все это на страницы самодельных альбомов. Эти альбомы предназначались для школьников. Пусть, мол, хоть по этим альбому ребята узнают, как широк и разнообразен мир.

Это было много лет тому назад.

Горький дожил до тех дней, когда все дети его страны получили пра-

во на огромное наследство — наследство мировой культуры.

Он дожил до победы Великой социалистической революции.

На его глазах Россия, которую он знал так глубоко, начала жить новой жизнью, на основах той социальной справедливости, за которую он боролся всю жизнь как революционер и как писатель.

Горький стал деятельнейшим участником этой кипучей жизни. Он не хотел терять ни минуты. Все разнообразные силы, таланты, способности народа, которые он хорошо изучил во время своих бесконечных странствований по Руси, ему хотелось мобилизовать, привести в действие, использовать самым лучшим образом. Он брал на свой особый учет каждого живого одаренного человека, который мог пригодиться литературе, педагогике, науке.

Узнав о каком-нибудь техническом изобретении, о новом эксперименте в области биологии или медицины, он звал к себе экспериментаторов и изобретателей, расспрашивал их, помогал им, как умел помогать Горький, — крутно и решительно, вдохновляя их своим интересом, участием и поддерживая практически.

Он любил знакомить между собой людей самых отдаленных профессий, полагая, что такое общение плодотворно.

Помню, я много раз получал письма то от какого-нибудь краеведа, то от незнакомого гидрографа или геолога. Потом выяснилось, что вступить со мной в переписку им посоветовал Горький.

Как-то ему случилось узнать, что одна из наших научных экспедиций много дней странствовала на блуждающей льдине по Каспийскому морю. Алексей Максимович разыскал участников этого дрейфа и направил ко мне, в надежде, что история такого путешествия может лечь в основу хорошей детской книги.

И книга в самом деле родилась.

Так же возникла и детская книга о Мичурине, написанная одним из друзей замечательного садовода, Вячеславом Лебедевым.

Если собрать воедино все книги, созданные по мысли, по инициативе, по плану, по теме Алексея Максимовича Горького, они составили бы целую библиотеку — обширней-

ший круг разнообразного чтения. Это разнообразие интересов Горького, эта широта его кругозора роднят его с самыми замечательными гуманистами-просветителями различных времен и народов.

Жадный ко всему новому, деятельный, полный волевого и трезвого оптимизма, Горький жил и работал до последних дней своей жизни так, будто ему предстояло прожить еще целую вечность.

Он работал для будущего, твердо уверенный в том, что оно должно быть лучше, умнее, справедливее, чище прошлого.

Но в оптимизме Горького не было ничего идиллического. Он знал, что его народу и всему человечеству еще придется встретиться на своем пути с темными силами.

В последние годы мысль его то и дело обращалась к неизбежной и близкой войне. Фашизм был ненавистен ему еще в своей колыбели.

— Что они сделали с Италией! — говорил он о чернорубашечниках. — Ее и узнать нельзя. Вы подумайте, Неаполь перестал петь.

А когда итальянские войска вторглись в Абиссинию, он слушал весть о первом наступлении агрессивного фашизма так, будто этот дальний фронт был совсем близко.

— Как можно оставлять этого разбойника на свободе? Чего только он еще ни натворит! Его ладо связать, связать по рукам и по ногам!

Так говорил нам Алексей Максимович в один из поздних вечеров в Крыму, дослушав «последние известия» до последнего слова.

Разбойником называл он мировой фашизм, который с первых дней своего существования угрожал всему, что было дорого Горькому, — его стране, народу, мировой культуре, человеческому достоинству.

И сейчас, когда мы встретились с фашистскими полчищами лицом к лицу, когда мы напрягаем все свои силы, чтобы победить, «связать по рукам и по ногам» врагов свободы, культуры, человечности, мы словно видим Горького среди нас. Он — наш постоянный советчик, он — участник нашей борьбы и нашего труда, он — один из великих знаменосцев освободительной отечественной войны.

Николай Тихонов. «Огненный год». «Советский писатель», М., 1942, ч. 1 р. 25 к. «Черты советского человека». Ленинградские рассказы. Изд. «Правда», М., 1942, ч. 25 коп.

Еще за пять лет до войны в сборнике «Тень друга» поэтическое описание своих странствий по столицам Европы Ник. Тихонов закончил трогательным обращением к любимому городу:

Но куда б по свету ни бросался,
Не найти среди других громад
Лучшего приморского красавца,
Чем гранитный город Ленинград!

И в «огненный год», когда фашистские полчища, как наводнение, хлынули на подступы к «приморскому красавцу» и война подошла к самому дому поэта-ленинградца, Н. Тихонов «всю свою звонкую силу поэта» отдал на защиту гранитного несокрушимого города. О легендарной героической борьбе Ленинграда и ленинградцев, пошедших, «как двадцать два года назад, в смертельном сражении сражаться за свой боевой Ленинград», говорит красноречиво каждая строка стихов и прозы поэта. «Огненный год» — это поэтический дневник, военный блокнот поэта, где отражены все этапы героической борьбы великого города, начиная с первых дней войны, когда «ленинградцы стояли на посту, смотря в ночную высоту» и «ополченцы, услышав речь Сталина, брали оружие», и кончая днями беспремерной обороны, когда враг ломился, чтоб «отнять Ленинград у России, и когда великий город, «сотворенный петровой волей» с «закалкой ленинской черты», со «сталинской статью» обрубил врагу руку:

И под немецких пушек вой
Таким, каким его мы знаем,
Он принял бой, как часовой,
Чей пост веками несменяем.

Центральное место в сборнике занимает небольшая поэма «Киров с нами». В ней Тихонов мастерски использовал старую тему романтических баллад Жуковского и Лермонтова о «ночном смотре» и вдохнул в нее новое большое современное содержание. Поэма дает реалистическое описание «железных ночей Ленинграда» и образа Кирова. Как выражение несокрушимой воли ленинской партии —

Под грохот полночных снарядов
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
В шинели армейской, походной,
Как будто полком впереди,
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сраженьях ходил.

И дальше разворачивается героическая панорама обороны «затемненных домов», мостов, краснофлотца-часового с победным названьем «Киров» на бескозырке, сурового, как крепость, завода, танков, идущих в бой. «Киров с нами» — лучшее из всего, что написано в стихах до сих пор о героической обороне Ленинграда. К поэме этой примыкают другие ленинградские стихи, каждое по своему дополняющее новыми штрихами картину обороны Ленинграда («1919—1941 г.», «Ленинградские танки», «Наш город», «Ленинское знамя» и др.).

Вторая часть сборника составлена из стихов об отечественной войне. Открывается эта часть застольной песней «Три кубка», в которой Тихонову удалось достичь простоты и выразительности известной пушкинской вакхической песни:

Любви поднимем кубок пенный
 За счастье всей страны родной,
 За всю красу земель бесценных,
 За счастье бури боевой!
 За то, чтоб, долбестью хранимо,
 Ее окрепло бытие,
 За то, чтоб вождь ее любимый
 Все к новой славе вел ее.

Сжато и выразительно дана поэтом характеристика Красной Армии в стихотворении под тем же названием. Бодро звучат стихи о весенней грозе («В разгаре ярая зима»). В новом для Тихонова, сатирическом, жанре написаны «Партизаны и танки». Сильно звучит местами «Слово о 28 гвардейцах» — наиболее крупная по размеру поэма сборника; однако по художественной силе она уступает более сжатой поэме «Киров с нами». Некоторые строфы и стихи сборника написаны, видимо, наспех. Тем не менее стихи Тихонова остаются историческим поэтическим документом великих событий.

Ленинградские рассказы Ник. Тихонова дополняют и иллюстрируют его стихи. То, что не могло быть выражено в стихах, рассказано по-

этом в прозе. Проза Тихонова намеренно простая, деловая, без излишних поэтических прикрас, почти очерковая. В каждом коротком рассказе описывается какой-нибудь рядовой случай из жизни рядовых ленинградских жителей во время осады. Все это люди не военные, — фотограф с лейкой, дежурная в родильном доме, мать, любящая своего единственного сына-студента, режиссер, учитель истории, девушка Поля и т. д. Но в тяжелые дни испытаний все они оказываются способными на героические поступки. Каждый мелкий факт рассказа новым штрихом рисует героические «черты советского человека». Из них, как из камешков мозаики, Тихонов хочет сложить большую картину героизма светских людей. Однако ленинградские рассказы Тихонова не исчерпывают его большой темы, — чувствуется, что Тихонов знает о Ленинграде гораздо больше, чем рассказал, и что он расскажет об этом потом, когда придет время, более подробно и более углубленно.

М. Зенкевич

С. Кирсанов. «Поэма фронта». Издание красноармейской газеты «Вперед на врага», Калининский фронт, 1942, 43 стр.

От формалистических упражнений «Опытов» сквозь сухой схематизм «Пятилетки», «Строк стройки» и бряцающую машинерию «Поэмы о роботе», непрерывно ища, трудно пробивался Кирсанов к живому человеческому чувству. Подлинная лирическая струна звучала и в ранних его книгах, заглушенная бубенцами словесных трюков, либо барабанами голых лозунгов, пока не прорвалась криком обнаженной боли в «Твоей поэме». Но еще искусственными, картонажными оставались герои его поэм. Война столкнула его с героями не книжными, а живыми. Стремлением изобразить их продиктовано последнее произведение Кирсанова — «Поэма фронта».

Сюжет этой поэмы очень несложен. Родной город комиссара Озаренка занимают гитлеровцы, раят его жену. Во время нашего контраступления коммисар героически гибнет в бою.

Неся его тело как знамя, бойцы отбивают оккупированный город и там торжественно хоронят комиссара, а сын его, ставший лейтенантом, берет отцовское оружие и клянется отомстить.

Но беда не в том, что сюжет этой поэмы несложен, а в том, что замысел остался невоплощенным: образы не приобрели плоть и кровь, — они одноплоскостны и недостаточно индивидуализированы. Много ли мы узнаем о главном герое? А ему посвящены сотни строк. В потоке восторженных восклицаний тонут два-три живых штриха; не говоря уже о глубоком, интимном знакомстве, даже внешний облик Озаренка остается неизвестным. Ведь при знакомстве с этим образом (будь он развернут) каждый должен был сказать себе: «Хочу быть, как он!» Пока это заявляет от себя автор, сами же образы его поэмы

слишком мало убедительны, чтобы вызвать у читателя стремление к подражанию. Декларативный элемент вообще довольно силен в поэзии Кирсанова. К сожалению, не свободна от этой декларативности и «Поэма фронта».

Пожалуй, выпуклей даны враги: скупые характеристики танкиста, летчика-асса, двух оккупантов в доме Озаренка красочны и метки, но это в поэме ведь только эпизодические фигуры.

Автор очень явственно в своей поэме подражает размеру и построению пушкинской «Полтавы». Может быть, ему и удалось кое-где имитировать пушкинские enjambement или даже композицию отступлений, но в главном — в лепке человеческих фигур — образец остался недоступен.

Основной костяк поэмы изложен прозаично. Это не тот дерзкий прозаизм, который завоевывает поэзии новые области, до того считавшиеся «не поэтическими». Это — протокольный прозаизм репортажа (например, в сцене экзамена молодого лейтенанта или отчете о похоронах комиссара). Это — не победа поэзии над прозой, а капитуляция перед прозой. Есть и длинноты, провалы в вялое многословье.

Слаб и язык поэмы — угловатые прозаизмы попеременно с риторической напыщенностью. «Термическая смесь», «сектор», «объектив», «литр» могли бы обогатить поэтический словарь, входя в него органически. Иное впечатление производят они, будучи хаотически смешаны с неожиданными и ничем не оправданными архаизмами: «сего», «не я — он мыслит — так другой», у оркестра «медь, прижатая к устам», «и в стае сосен, озаренных голубизною неземной». Эти чуждые повседневной речи выраженья давно перестали придавать стихам торжественность и употребляются уж иронически. Странно, что такой чуткий к слову поэт не ощутил книжности подобных выражений, как и бесчисленных одических «о!» («о, сколько вытянулось рук...», «о, как взволнован Озаренок!», «о, комиссар, назад нельзя!», «о, много думал Озаренок», «о, сорок первый грозный год!», «о, любят наши наступать» и т. д.).

Вся поэма — мучительный поединок автора с четырехстопным ямбом. Кирсанов с редким упорством стремится выдержать всю поэму в этом классическом размере, но ломает его чуть не на каждой строке, то наращивая слог, то глотая, то — чаще всего — перенося ударение на первый слог:

члены Военного Совета...
складками бархатных пожариц...
башен бесцветные горбы...
русских таинственных степей...

В этом есть свой умысел: нарушить спокойное течение традиционного ямба, придать ему динамичность, приспособить к восклицательной интонации. («Мой скоростной, горящий ямб — модель сорок второго года».) Ритмический ход этот не нов, его знали еще до Пушкина, нередко он и у Брюсова. Новшество Кирсанова — возведение его в норму. Но примененный в таких размерах, часто необоснованный, назойливый прием вносит искусственность и затрудняет стих.

Неудачны иные метафоры, подчас вычурные и странные: «над городом встает рассвет оратором зари с подмостков» (рассвет — оратор зари?); порой изломан синтаксис. Всем этим без нужды замутнена поэма, которая по содержанию должна быть эпически ясной.

Удачны — содержательны и ярки — отдельные описания («да, отступленья от сюжета люблю я в пушкинской строке»), как изображение карты страны и панорама боевой ночи над столицей:

...Это фронт,
пробитый копытами прорывов
от хмурых мурманских ворот
до Киркинитского залива.
И три стрелы устремлены
в три важных сектора страны.
Изрыта градусная сетка,
вонзились армии в тылы,
в три наши сердца — три стрелы
по плану Гофмана и Сетта.
Ежи, эскарпы, мины, ров,
тьма все черней, свет —
непривычной;
скрещения прожекторов,
ночь над Москвою фантастичней
уэльсовской «Борьбы миров».

овладению своим делом, которые поставлены великим стратегом отечественной войны перед каждым бойцом Красной Армии.

Работая над созданием «Библиотечки бойца всевобуча», издательство стремится к тому, чтобы дать в руки молодежи, готовящей себя к вступлению в ряды Красной Армии, обобщенный фронтовой опыт бойцов отечественной войны в виде живого, занимательного рассказа, основанного в то же время на точном и квалифицированном знании боевой техники.

Стремление к наилучшему решению этой сложной задачи, естественно, натолкнуло издательство на необходимость отыскания соответствующей литературной формы. Если в этом направлении издательство и не достигло еще полного успеха, то, во всяком случае, оно стоит на правильном пути к достижению его.

Большинство брошюр, вышедших в серии «Библиотечка бойца всевобуча», дает обширный познавательный материал, большое количество сведений и навыков прикладного, технического порядка. Из них мы узнаем об устройстве и о боевых качествах грозы фашистских танков — противотанкового ружья ПТР, о его бронбойной мощи, о том, какие места вражеских танков наиболее уязвимы для сокрушительной силы его пуль. Мы узнаем, по каким признакам найти брод через реку, как переправиться через водный рубеж, набив плащ-палатку сеном или используя вещевые мешки в качестве плавательных пузырей, или, наконец, как пройти по дну реки, подняв над ее поверхностью хобот противогАЗа. Мы узнаем, что собой представляет вражеский ДЗОТ, как вести разведку его боевых средств; как уничтожить вражеские ДЗОТы бутылками с горючей смесью, минами; как закладывать амбразуры ДЗОТа мешочками с песком или даже залеплять их глиной; как «ослеплять» ДЗОТ, применяя дымовые пашки. Мы узнаем, как метко стрелять из советского автомата ППШ, любовно называемого бойцами «папашей», при любом положении — стоя, сидя, лежа, с колена; какое снаряжение должен иметь автоматчик, отправляясь в разведку в тыл

к врагу; как пользоваться немецкими гранатами; как выслеживать и уничтожать вражеских «скукушек».

Изложение всех этих как будто сугубо технических сведений вместе с тем ничем не напоминает устав или инструкцию. Брошюры читаются легко, с интересом. Скорее всего их можно отнести к тому довольно редкому в нашей литературе жанру, который несколько условно называется беллетризованным техническим очерком. Близкими к нему являются такие книги, как, например, книга «Артиллеристы», изданная в 1939 году издательством же «Молодая гвардия», а также отчасти также книги Э. Сэтон-Томпсона, как «Маленькие дикари», «Рольф в лесах», и некоторые другие, представляющие собою удачное сочетание художественной формы с содержанием прикладного, утилитарного порядка.

Несомненным достоинством брошюр серии «Библиотечка бойца всевобуча» является также и то, что, помимо ознакомления читателя с рядом практических сведений, необходимых будущему бойцу, они воспитывают в читателе высокие моральные качества советского воина.

Две из числа вышедших брошюр — С. Любимова «Ни шагу назад» и Ю. Нейман «Боевая дружба» — ставят своей прямой целью воспитание в молодом бойце выдержки и чувства товарищества.

Славные боевые традиции русского народа: кутузовское «Стоять на смерти!» и суворовское «Сам погибай, а товарища выручай!» — нашли свое выражение в доблестных подвигах носителей этих традиций — бойцов Красной Армии, о которых рассказано на страницах названных брошюр.

Издательство «Молодая гвардия» своевременно проявило прекрасную инициативу, приступив к изданию «Библиотечки бойца всевобуча».

Остается только пожелать издательству, чтобы оно более быстрыми темпами продолжало успешно начатую работу, расширяя круг тем и добиваясь еще более высокого качественного уровня этой нужной и полезной «Библиотечки».

Следует отметить оформление брошюр серии. Обилие иллюстраций дополняет текст и помогает его усвоению

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А. Хамадан. «Тебе, родина!». Фронтовые очерки. Изд. «Советский писатель», М., 1942, 51 стр., тираж 20 000 экз., ц. 90 коп.

Книжка А. Хамадана посвящена людям советского фронта. В очерках говорится о героизме советских людей: летчика Павла Деменчука, погибшего в неравном бою с тремя немецкими бомбардировщиками («Тебе, родина!»), командира танка Петра Новикова, который, несмотря на ранение, оставшись один, доблестно выдержал бой с немецкими танками («Танковое побоище»), двух советских

врачей — старого хирурга и его случайного заместителя, оперировавшего раненых под обстрелом фашистских самолетов («Иван Семенович»). Особняком стоит очерк «Дневник фашистского асса» — дневник убитого немецкого солдата Германа Кейльвитца с записями, полными зверского ужаса перед смертью, в конце концов постигшей автора.

Раиса Азарх. «Сыны народа». Огиз, Государственное издательство художественной литературы, 1942, 45 стр., тираж 50 000 экз., ц. 60 коп.

В книжке три очерка. В одном из них, «Генерал народа», автор рассказывает о своих встречах в Испании с героем испанской войны, генералом Лукачем — писателем Матэ Залка. В двух других — «Сталин-

ские соколы» и «Василий Новиков» — рассказано о подвигах Героя Советского Союза, командира танка Василия Новикова и советских летчиков Совганенко и Жукова.

Лев Кассиль. «Московские записи». Издательство «Правда», Москва, 1942 («Библиотека «Огонек», № 5—6). 94 стр., тираж 150 000 экз., ц. 40 коп.

«Московские записи» сборник коротеньких зарисовок московского быта первых месяцев войны. Изображены московские улицы 22 июня 1941 года, сборный пункт в первые

дни войны, первые воздушные тревоги, поимка сбитых фашистских летчиков, и т. д. Всего в книжке двадцать семь очерков.

Лев Кассиль. «Семь рассказов». Огиз, Свердловгиз, 1942, 38 стр., тираж 25 000 экз., ц. 60 коп.

Содержание книжки «Семь рассказов» в значительной степени поглощено «Московскими записями» (Пять

из семи рассказов вошло в «Московские записи» (некоторые с измененными заглавиями).

Мариэтта Шагинян. «Дневник москвича». Прогиздат, М., 1942, 31 стр., тираж 30 000 экз., ц. 60 коп.

Тематически примыкая к книжкам Л. Кассиля и содержа, как и они, зарисовки Москвы первых месяцев войны, книжка М. Шагинян, однако, по замыслу значительно отличается от книжек Л. Кассиля. Если

у Кассиля основное в фиксации скоропроходящих бытовых особенностей, характеризующих Москву в первые военные месяцы, то М. Шагинян стремится раскрыть внутренний смысл каждого явления быта.

Шагинян интересует не факт сам по себе, а те, зачастую очень далекие, обобщения и ассоциации, которые она связывает с ним. «За каждым отдельным фактом обороны,— пишет она,— вставала вся наша система, открывались те преимущества, которые она доставляет нам и которые мы должны научиться полностью

использовать». И на примерах оборонной работы в жилых домах, охраны дома-усадыбы Л. Толстого от зажигательных бомб, комсомольского воскресника на заводе и других М. Шагинян пытается вскрыть то, что характеризует советскую систему и то новое, что внесено в московскую жизнь войной.

Демьян Бедный. «Военный урожай». Весенняя повесть. Гослитиздат, 1942, 11 стр., тираж 100 000 экз., ц. 15 коп.

В написанной размером Некрасовского «Кому на Руси жить хорошо» поэме повествуется о том, как под влиянием передававшегося по радио выступления товарища Калинина раненный на фронте сержант

Буренышев, механик из МТС Василий Ячменный и колхозница-ударница Настенька решают посвятить все свои силы борьбе за высокий урожай в 1942 году.

Акри Барбюс. «Палачи». Правда о белом терроре в Румынии и Болгарии. Сокращенный перевод с французского. ОГИЗ, Государственное издательство художественной литературы, 1942, 27 стр., тираж 50 000 экз., ц. 50 коп.

Пятнадцать лет тому назад Акри Барбюс посетил Румынию и Болгарию и собрал там уничтожающий обвинительный материал о чудовищном режиме, установленном фашистами в этих странах. Пытки, массовые убийства, сожжение целых деревень, зверские истязания — та-

кова картина фашистского террора в Болгарии, Румынии и оккупированной румынами Бессарабии. Настоящая книжка является сокращенным переизданием полного русского перевода книги «Палачи», вышедшего в 1927 году.

Виктор Финк. «Воспитание зверя», Профиздат, М., 1942, 45 стр., тираж 20 000 экз., ц. 50 коп.

«Воспитание зверя» — публицистический очерк, подробно изображающий ту «тренировку» зверских инстинктов, которую проводят фашисты среди немецкого народа. Здесь и задачи из школьного учебника арифметики («Эскадрилья из 40 бомбардировщиков сбрасывает зажигательные бомбы на вражеский город... Сколько пожаров возникнет, если в цель попадет 30 процентов бомб и только от 20 процентов попаданий возникнут пожары?»), и высказывания Гитлера, и вопли га-

зелных передовиц («Мы не хотим быть страной Гете и Эйнштейна»), и кошмарные приказы немецкого командования, вменяющие в обязанность солдатам беспощадную жестокость. В брошюре рассказывается и о результатах такого воспитания: приводятся чудовищные записи в дневниках немецких солдат, испытывающих «комическое впечатление» при виде повешенных мирных жителей и признающих, что «проклятая гуманность нам чужда».

Л. Борисова, М. Никольская. «Камский найденный» Издательство «Правда», М., 1942 (Библиотека «Огонек», № 2), 63 стр., тираж 150 000 экз., ц. 30 коп.

Два очерка о Надежде Дуровой — знаменитой «кавалерист-девице». В одном из них («Камский найденный») Л. Борисовой и М. Никольской говорится о жизни Дуровой с

1806 года до начала отечественной войны. О деятельности Дуровой во время войны 1812 года рассказывает в очерке Л. Борисовой «Ординарец Кутузова — Надежда Дурова».